

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А. И. Герцена
Факультет иностранных языков

*Заслуженному деятелю науки РФ,
доктору филологических наук,
профессору кафедры английской филологии
РГПУ им. А. И. Герцена
Ирине Владимировне Арнольд
посвящается*

STUDIA LINGUISTICA

ЯЗЫК И ТЕКСТ В ПРОБЛЕМНОМ ПОЛЕ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

XVII

Санкт-Петербург
Борей Арт
2008

Печатается по рекомендации
Ученого совета иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена

Рецензенты:

Ответственные редакторы: д. филол. наук, проф. **И. А. Щирова**; канд. филол. наук, доц. **Ю. В. Сергаева**

Члены редколлегии: канд. филол. наук, доц. **К. И. Масленникова**; канд. филол. наук, проф. **И. П. Шишкина**

Технический редактор: **В. С. Федякова**

STUDIA LINGUISTICA XVII. Язык и текст в проблемном поле гуманитарных наук: Сборник. — СПб.: Борея Арт, 2008. — 000 с.

Сборник научных трудов — XVII в серии *STUDIA LINGUISTICA* — традиционно посвящен широкому спектру филологических проблем. Вопросы слова и значения, языка и культуры, текста и дискурса, интертекстуальности и диалогизма решаются в нём, исходя из полипарадигмальности науки и взаимодействия разных научных позиций, характерных для современной интеллектуальной ситуации. Отличительными чертами сборника следует назвать его междисциплинарность как следствие общей гуманизации развития современного общества, в котором точкой отсчёта анализа любых процессов выступает человек, а также закономерный акцент на значимости самого носителя научного мышления — субъекта.

Сборник посвящён учёному с мировым именем, профессору кафедры английской филологии факультета иностранных языков РГПУ им. А. И. Герцена Ирине Владимировне Арнольд, чьи идеи послужили теоретическим стимулом для размышлений и выводов, представленных в статьях авторов сборника.

STUDIA LINGUISTICA XVII рассчитан не только на специалистов в области филологического знания, но и на более широкую аудиторию, интересующуюся вопросами языка, текста и современной гуманитаристики.



И. В. Арнольд

Межвузовский сборник научных трудов *STUDIA LINGUISTICA XVII* сложно назвать «очередным». Скорее, он является событием, выходящим из ряда, как и личность ученого, которому он посвящается. Многие из считающих себя преданными научной истине могут с гордостью сказать, что они учились у Ирины Владимировны Арнольд, чей славный 100-летний юбилей мы отмечаем в этом году. Аспиранты и докторанты Ирины Владимировны продолжают ее научные традиции в самых разных уголках нашей необъятной страны, книги, написанные профессором Арнольд, по праву принадлежат «Классике науки», а мудрых советов Учителя мы по-прежнему ждём с благоговейным почтением. Спасибо Вам за всё это, дорогая Ирина Владимировна!

От редакторов

ОБ ИРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ АРНОЛЬД

Ирина Владимировна Арнольд, профессор кафедры английской филологии, заслуженный деятель науки РФ, родилась 7 августа 1908 г. в замечательной семье, многие поколения которой оставили заметный след в истории культуры России, и является истинным представителем петербургской интеллигенции.

Ирина Владимировна окончила Герценовский институт (ныне — РГПУ им. А. И. Герцена) в 1928 г., затем работала переводчицей в институте Гражданской Авиации, где в 1941–1947 гг. заведовала кафедрой иностранных языков. В 1948 г. защитила кандидатскую диссертацию по авиационной терминологии. С 1952 г. заведовала кафедрой лексики во II Ленинградском институте иностранных языков. В 1967 г. защитила докторскую диссертацию на тему «Семантическая структура слова в современном английском языке и методика её исследования» (на материале имени существительного). С 1966 по 1975 гг. заведовала кафедрой английской филологии РГПУ им. А. И. Герцена.

И. В. Арнольд — выдающийся лингвист, специалист в области семасиологии и стилистики, автор общеизвестных трудов по истории значения и семантической структуре слова, системной организации лексики, интерпретации художественного текста, герменевтике и риторике. Её вузовские учебники по лексикологии, стилистике и аналитическому чтению неоднократно переиздавались. В общей сложности учёным опубликовано свыше 160 научных работ. Назовём лишь некоторые из них:

1. Лексикология современного английского языка (The English Word). — М., Высшая школа, 1986.

2. Стилистика. Современный английский язык. Учебник для вузов (7-ое издание). М., Флинта — Наука. 2007.

3. Основы научных исследований в лингвистике: Учебное пособие. — М.: Высшая школа, 1991.

4. Проблемы диалогизма, интертекстуальности и герменевтики (В интерпретации художественного текста). — СПб., Образование, 1997.

5. Семантика, стилистика, интертекстуальность. — СПб., СПбГУ, 1999.

Многочисленные труды Ирины Владимировны по различным проблемам филологии объединены единой научной концепцией, базирующейся на системном подходе к лингвистическим объек-

там, использовании элементов теории информации и трактовки языка как адаптивной системы. Предложив ещё в 60 гг. XX в. стилистику декодирования, принципиально отличную от традиционной стилистики и направленную не на механическую инвентаризацию стилистических приёмов, а на активное восприятие и усвоение кода (языка) читателем, впоследствии И. В. Арнольд посвятила годы научной деятельности изучению проблем интертекстуальности и герменевтики.

Под руководством профессора Арнольд, продолжая традиции созданной ею научной школы, защитили диссертации 68 аспирантов и докторантов.

СЛОВО ЮБИЛЯРУ

В этом разделе читатель может ознакомиться с фрагментами рукописи Ирины Владимировны Арнольд «Моя семья — XX век в Петербурге, Петрограде, Ленинграде, Петербурге». Начатая автором ещё в 2003 году, она раскрывает тесные связи судьбы самой Ирины Владимировны и членов её семьи, с судьбами русской культуры и просвещенной интеллигенции нашего города.

В разделе представлены также две статьи И.В. Арнольд. Они убеждают читателя в том, сколь тонко ощущает их автор связь времён и культур, сколь принципиален он в вопросах этики и истинности в науке, и какой широтой отличается его взгляд на мир.

И. В. Арнольд¹

МОЯ СЕМЬЯ — XX ВЕК В ПЕТЕРБУРГЕ, ПЕТРОГРАДЕ, ЛЕНИНГРАДЕ, ПЕТЕРБУРГЕ

В XIX веке старшее поколение моей семьи активно участвовало в развитии русской культуры, а в XX веке стало жертвою трагедий, постигших нашу страну.

Почти все они родились не в Петербурге, но всю сознательную жизнь провели в нем, работая, главным образом, в области просвещения или на службе в армии.

Хочется с самого начала подчеркнуть их связь с высшими учебными заведениями Петербурга, которые они окончили, или в которых преподавали. Начну с Академий.

Мой прадед Михаил Федорович Раевский окончил Петербургскую Духовную Академию. Дед Александр Евсеевич Куршаков — Медико-Хирургическую Академию (теперь она называется Военно-Медицинской). Его сын — мой дядя, Николай Александрович

¹ Факультет иностранных языков и редакторы сборника выражают искреннюю благодарность Музею истории РГПУ и его директору Е. М. Колосовой за любезно предоставленную им возможность опубликовать эту рукопись

Куршаков не только закончил ее, но и был в ней профессором. Мой отец Владимир Александрович Куршаков закончил Артиллерийскую Академию. Моя мама Екатерина Ильинична Куршакова (девичья фамилия Шестакова) и ее старшая сестра Анна Ильинична (по мужу Хоментовская) закончили первые открывшиеся в Петербурге высшие школы для женщин: Женский Педагогический Институт и Бестужевские курсы. Тетя, Анна Ильинична, не удовольствовалась одним физико-математическим факультетом, который окончила в 1907 г., но и дополнила свои знания занятиями в Геттингене, и через несколько лет, в 1912 г., поступила на историко-филологический факультет тех же Бестужевских курсов. Окончив его, она сдала магистерские экзамены в Петроградском Университете. С 1919 по 1923 г. она была доцентом этого университета по кафедре новой истории. А позже преподавала в зубовском институте истории искусств.

Представители следующего поколения были выпускниками Политехнического, Горного и Педагогического институтов. Так система вузов Северной столицы, ее просвещение довольно основательно представлены в истории семьи и составляют ее неотъемлемую часть, а после 1917 года наша семья разделила горькую судьбу просвещенной интеллигенции Санкт-Петербурга. <...>

Теперь коротко остановлюсь на каждом в отдельности. Начну с самого старшего из тех, о ком я что-нибудь знаю.

М. Ф. Раевский (1811–1884) — мой прадед по женской линии. <...> Окончив Духовную Академию в Петербурге со званием кандидата богословия, получил назначение священником посольской церкви в Стокгольме, и с тех пор находился в сфере двух ведомств: Синода и Министерства Иностранных Дел.

Выдающийся лингвист, он уже тогда владел не только церковно-славянским, латинским, греческим (как положено духовенству), но и немецким, французским. За короткое пребывание в Стокгольме он овладел шведским и ознакомился с другими скандинавскими языками. В 1842 г. он был переведен настоятелем в посольскую церковь в Вене, и оставался там больше 40 лет, вплоть до своей кончины в 1884 г. О нем в разных странах и на разных языках существует немало литературы. <...>

<...> В числе корреспондентов прадеда был и его ближайший друг, наш знаменитый филолог П. А. Бодуэн де Куртене

и композитор М. А. Балакирев. ..Он был активным членом множества научных обществ и организаций в России и в Западной Европе. Помимо своих обязанностей настоятеля, он вел огромную работу просветителя-славянофила, связывая зарубежных славян с Россией. При этом еще должен был выполнять поручения Министерства Иностранных Дел России. Все годы жизни в Вене он оказывал конкретную помощь множеству молодых людей, желавших учиться в Петербурге, а также людям или библиотекам, нуждавшимся в каких-либо книгах. Он вел большую разноязычную переписку, и успевал еще быть радушным хозяином и принимать интересных и выдающихся людей из разных стран <...>.

<...>Его младшая дочь, моя бабушка **Людмила Михайловна** выросла в Вене, получила домашнее воспитание, говорила на четырех иностранных языках, знала литературу и музыку. <...>

Благодаря редкой красоты меццо-сопрано, она почти девочкой стала действительным членом Филармонического общества в Вене. Потом один или два сезона пела в лучшем оперном театре мира — Ла Скала в Милане. П. И. Чайковский в одном из своих писем писал, что слышал молодую Раевскую, голос которой ему очень понравился. То же мнение высказывали позднее Лист и Рубинштейн. Она, вероятно, могла бы стать знаменитой певицей, но ради любви пожертвовала своим артистическим будущим.<...>

<...> Жена офицера в те годы не могла выступать в театре, и она ради него <мужа>оставила сцену. В Петербурге она преподавала пение в консерватории и у нее в доме постоянно бывали музыканты, в том числе Антон Рубинштейн<...>.

<...> В Петербурге <ее муж — И. И. Шестаков>Илья Иванович до 1912 г. служит в Артиллерийском Управлении и в других учреждениях, а в чине генерал-майора назначается генерал-губернатором Вильны, но ненадолго. По болезни переводится в Петербург, где становится директором военного завода «Арсенал». В 1914 г. он перед самой войной умирает от диабета.

У Ильи Ивановича и Людмилы Михайловны было четверо детей: Анна, Иван, Екатерина (моя мама) и Любовь.

<...> Мой дед со стороны отца **А. Е. Куршаков** — был, насколько мне известно, родом из Пензы.<...>

<...> Александр Евсеевич блестяще окончил Медико-Хирургическую Академию и получил за это потомственное дворянство. По

окончании стал военно-морским врачом и много плавал в морях и океанах. <...>

<...> После нескольких лет плавания он был оставлен в Кронштадте и принимал участие в создании военно-морского госпиталя. Там он женился на дочери сотрудника того же госпиталя Серафиме Александровне Терентьевой. У них было два сына — Владимир, мой отец, и Николай. Оба учились в Кронштадской гимназии. <...>

Выйдя в отставку, Александр Евсеевич с семьей переехал в Петербург, где продолжал работать врачом. <...>

<...> Вся семья была очень музыкальна. Дед с бабушкой часто играли в четыре руки на фортепиано, старший сын играл на виолончели, а у Николая Александровича был баритон, и он серьезно учился пению у солиста Мариинского театра Боссэ. Каждый год у них был абонемент в ложу Мариинского театра.

Счастливая жизнь закончилась с началом Первой Мировой войны. Оба сына были на фронте. В гражданскую умер старший сын от сыпного тифа. От горя, холода и недоедания скончалась в почти блокадном в те годы Петрограде Серафима Александровна. Александр Евсеевич, оставаясь в Петрограде, пережил свою жену не многим более года и умер в 1920 году. Точной даты его смерти я не знаю.<...>

<...> Биографию моего папы мне придется писать без дат — никаких документов или писем мы не сохранили, их пришлось уничтожить при сталинском режиме, так как при обыске они могли стать поводом для репрессий. Как ликвидировали ордена и мундиры, я не знаю. В те времена бросали такие «компрометирующие» предметы в Неву. Придется писать только по памяти.

Владимир Александрович родился в Кронштадте в 1883 или в 1882 году. Окончил кронштадскую гимназию и поступил в Михайловское Артиллерийское юнкерское училище. Оттуда его выпустили офицером Второй гвардейской артиллерийской бригады.

Папа был высокообразованным человеком, хорошо знал языки: кроме латинского и греческого, которому учили в гимназии, владел немецким и французским! Любил музыку, хорошо играл на виолончели, часто бывал в опере.

<...> Однажды его послали командовать солдатами, которые должны были что-то сделать в Арсенале. Там его приняли в семье руководившего Арсеналом генерала Шестакова, где он познакомил-

ся с дочерью генерала — Екатериной Ильиничной. Они полюбили друг друга и поженились.

В то же время, или несколько позже он поступил в Артиллерийскую Академию, которая тогда давала очень высокий уровень подготовки не только военной, но и математической.

Некоторое время молодые жили в квартире Шестаковых на Петроградской стороне. Там появилась на свет я (1908 г.), моя сестра Таня (1909 г.) и братик Дима. Потом папа получил квартиру на Измайловском проспекте в офицерском доме напротив Измайловского собора, который в шутку называли Замком Гарновского (Шато Гарно), по имени того предпринимателя, который его построил.

<...> С первых дней Первой Мировой войны его бригада была на фронте, и он все годы был на передовой. К концу войны он, уже в чине полковника, верный воинской присяге, уехал в тыл последним. Солдаты его любили и слушались, и он мог удержать их от распространенных тогда бесчинств по отношению к другим офицерам, и таким образом дал тем благополучно уехать.

Он приехал к семье в Ессентуки. Тогда, в 1917 году, многие уезжали из Петрограда на юг от голода и разрухи. Некоторое время он жил в Ессентуках и преподавал там в школе, организовал группу из нескольких человек нашего возраста и мы проходили с ним и мамой школьную программу. Он удивительно понятно все объяснял и был к нам требователен.

Началась Гражданская война. Долг офицерской чести привел его в Белую армию. Однажды, вернувшись домой из поездки за продуктами, он сказал, что встретил фронтовых товарищей и не может не присоединиться к ним. Так он взял семью сначала в Екатеринодар, потом в Ростов-на-Дону, где ему пришлось заниматься артиллерийскими делами в штабе Деникина. Потом все переехали со штабом в Харьков и мы жили там в гостинице.

Хотя я была еще маленькой, но помню, что когда его кто-то спросил, хочет ли он восстановления монархии, он сказал, что сначала надо прогнать большевиков, а уж тогда будем разбираться.

Но Белая армия потерпела поражение. Владимир Александрович отправил семью с каким-то воинским поездом, отступавшим на юг, а сам остался в Ростове, где заболел свирепствовавшим тогда сыпным тифом и умер в 1919 г. Мама оставалась с ним, потом приехала к нам, уже больная. Вскоре и дети заболели тифом и

нас сняли с поезда в станице Старо-Нижне-Стеблиевской. Что пришлось перенести бывшей солистке Ла Скала и вдове губернатора Людмиле Михайловне перед кончиной — даже трудно себе представить. Она оказалась в кубанской станице с больной дочерью и тремя детьми 11, 10 и 4-х лет. Вещи пропали. Вокруг только чужие. Екатерина Ильинична умерла первой. ...Потом заболела и она, но еще как-то ухаживала за больными внучками. Дети выздоровели, а бабушка — нет. Ее похоронили в той же станице.

После смерти бабушки осиротевших детей приютила вдова станичного пономаря. Потом сестру Таню взял к себе местный священник, а меня и Люлю взяла семья Федоренко. Но это я забежала вперед. Сначала надо рассказать о маме.

Екатерину Ильиничну (в замужестве **Куршакову**), мою маму, можно, мне кажется, без преувеличения назвать идеалом русской образованной женщины начала XX века. Она окончила Аннен Шуле и незадолго до того открытый Женский Педагогический Институт и преподавала историю, язык и литературу в немецкой школе Ekatherinen Schule. Она была очень разносторонним человеком. Любящая дочь, жена и мать четырех детей, она любила свою профессию и была любима учениками. Красивая и элегантная, она часто бывала в театре, хорошо сама пела (ее учила мать Людмила Михайловна), знала языки, европейскую литературу и искусство, играла в теннис.

Ее первой тяжелой утратой была смерть четырехлетнего сына Димочки. <...>

<...> Для характеристики благородства натуры мамы и бабушки приведу запомнившийся мне эпизод. В начале войны с Германией собирались средства в какой-то государственный фонд обороны, и они пожертвовали свои драгоценности. Но бабушка не хотела отдавать кольцо, подаренное ей царем, слушавшим ее пение на каком-то концерте. Патриотический порыв, как мне помнится, победил.

В августе 1917 г., как я уже говорила, Екатерина Ильинична с матерью и тремя дочками уехала из Петрограда в Ессентуки. О дальнейших хождениях по мукам я уже рассказала.

Когда восстановилась почтовая связь между Югом и Севером, я написала письмо обо всем случившемся тете Нюте. Она откуда-то узнала, что дама по фамилии Ханевская или Каневская, точно не помню, организовала нечто вроде экспедиции по возвращению

в Петроград детей, которые, как и мы, остались в разных южных городах без родителей. Так мы с Кубани вернулись в Петроград, и тетю Нюта взяла нас к себе.<...>.

Анна Ильинична (по мужу **Хоментовская**) (1881–1942), старшая сестра моей мамы — выдающийся историк, мужественно переносившая удары своей трагической судьбы. Потери близких, тяжелые болезни, репрессии и материальные трудности — все это она выдержала с поразительной стойкостью. Свои воспоминания она кончает словами: «Колесо фортуны совершило таким образом не один поворот, но меня не истоптало» (А. И. Хоментовская. Пройденный путь. В кн.: А. И. Хоментовская. Итальянская гуманистическая эпитафия: ее судьба и проблематика. Изд. СПбГУ, СПб, 1995). Эту книгу она сама считала главным трудом своей жизни, но опубликована она была больше чем через полвека после ее кончины и то ничтожным тиражом 460 экземпляров.

Ее судьба воплощает трагическую и одновременно героическую судьбу петербургской интеллигенции ее эпохи, осложненную многими личными трудностями. Большой талант и редкое мужество позволили ей выполнить свою творческую цель несмотря ни на что.<...>

<...>После Октябрьского переворота Анна Ильинична терпела и холод, и голод, жила на восьмушку хлеба в день, но продолжала научную работу по истории итальянской культуры, отрываясь от нее на ломку деревянных домов для отопления, при этом много и тяжело болела.

Начались хождения по мукам. В 1923 г. ее как немарксиста уволили из Университета вместе с шестью другими учеными, в том числе И. М. Гревсом и Карсавиным. Профессор Л. П. Карсавин, которого она тоже хорошо знала, был выслан за границу на знаменитом пароходе в 1922 г. Тетя Нюта взяла меня с собой на прощальный вечер в квартире Карсавина. Об этом интересно вспомнить. В следующее десятилетие даже подумать о подобных проводах было опасно. Все, кто признавал свое знакомство с репрессированными, немедленно платил за это дорогой ценой.

Я немного забежала вперед, надо сказать, что в это время и без того нелегкая жизнь Анны Ильиничны осложнилась тем, что она взяла к себе меня и сестру Таню, осиротевших в 1919 г. после смерти наших родителей и бабушки Милы. Выброшенная из Уни-

верситета, она полтора года перебивалась уроками и случайной литературной работой. Жили мы впроголодь.

На помощь ученым пришел М. Горький. Была организована Центральная Комиссия Улучшения Быта Ученых (ЦКУБУ). Дворец великого князя Владимира Александровича был превращен в Дом Ученых и там выдавались продуктовые пайки. Стоять в очереди за ними было даже интересно — можно было встретить знакомых. Продукты оттуда мы везли на саночках на 17 линию Васильевского острова. <...>

<...> В апреле 1925 г. профессор А. А. Фридман, выдающийся физик и метеоролог, с которым ее связывал интерес к истории точных наук, помог ей получить место заведующей библиотекой Главной Геофизической обсерватории (см. Е. С. Селезнева. Первые женщины геофизики и метеорологи. Л., Гидрометеиздат, 1989, стр. 93–96). Здесь ей пришлось одновременно вести большую справочно-библиографическую и издательскую работу, особенно по истории точных наук, так как Обсерватория была ведущим учреждением всей страны.

Одновременно она продолжала исследовательскую работу по итальянской истории во многих библиотеках Ленинграда и Москвы, то есть вела подлинно творческую работу в двух разных областях: точных наук и гуманитарных. Кроме того, еще успевала создавать в разных библиотеках студенческие группы, в которых учила молодых грамотной работе с источниками, составлению картотек и многому другому. Тут проявляются многие черты петербургских ученых: способность творчески работать в очень разных областях одновременно и привычка, или даже потребность, привлекать молодежь к самостоятельной научной работе.

В 1927 г. наступил ее звездный час. Она получила от Геофизической обсерватории командировку в Италию на три месяца за свой счет для изучения в итальянских библиотеках истории геофизики. <...> Эта поездка дала толчок целому ряду исследовательских работ по итальянской культуре, часть которых была опубликована при ее жизни, некоторые за рубежом, а часть уже посмертно.

Эти годы были годами успешного творчества, высоко оцененного такими компетентными судьями как С. А. Жебелев, Н. П. Лихачев, Бендетто Кроче.

В 1935 г. после убийства С. М. Кирова (1.XII. 1934 г.) началась новая волна террора. Ночью в феврале к нам пришли арестовывать

мужа тети Нюты и, узнав, что он умер еще до войны 1914 года, потребовали, чтобы она, когда выздоровеет (она лежала в постели с межреберной невралгией), явилась на Шпалерную. Анна Ильинична туда пошла и 2 марта 1935 г. была арестована и заключена в тюрьму на месяц. Обвинения ей предъявлялись фантастические. Через месяц она была выслана в Саратов без всякой мотивировки.

В 1937 г., в период массовых арестов среди ссыльных, ее снова арестовывают и держат в тюрьме несколько месяцев. Здесь обострилась бронхиальная астма, которой она страдала с 1919 г. Но и в тюрьме, невзирая на кошмарные условия, Анна Ильинична продолжала преподавать немецкий и русский языки заключенным. В сентябре 1938 г. ее перевели в лагерь для инвалидов в г. Пугачеве. Освобождена она была 29 февраля 1940 г., но ей не разрешили вернуться в Ленинград. Пришлось поселиться в Вышнем Волочке. Там она еще некоторое время работала в школе, но потом опять заболела. Творческой работы она, однако, не оставляла: уже под немецкими бомбежками в 1941 г. закончила главный труд своей жизни — книгу «Итальянская гуманистическая эпитафия» и «Автобиографию», где подробно описывает ужас и терзания лагеря и тюрьмы.<...>

Так наша тетя заменила нам маму. Ей в этом помогал наш дядя Николай Александрович. <...> **Николай Александрович Куршаков** — младший брат моего отца — Ники — Ник — дядя Коля — человек во многих отношениях исключительный. Выдающийся ученый и врач-терапевт<...>

...в 1904 году и сразу же поступил в Военно-Медицинскую академию, которую окончил с отличием в 1910 г. Учителями его были такие великие ученые как Яновский, Павлов, Бехтерев. Он сам себя считал, прежде всего, учеником Яновского. Уже в 1912 г., то есть в 26 лет, он защитил докторскую диссертацию на тему, связанную с кровообращением, и вскоре он уже профессор этой Академии.

Охарактеризовать в нескольких словах его огромный вклад в самые актуальные проблемы клиники внутренних болезней невозможно. <...>. Он опубликовал много работ, <...> ставших классическими трудами. Его архив хранится частично в Музее ВМА в Петербурге, частично в Медицинском музее в Риге. Он был членом-корреспондентом АМН СССР, заслуженным деятелем науки, лауреатом Ленинской премии, профессором, кавалером многих орденов и медалей <...>

...Николай Александрович был в хороших дружеских отношениях со многими знаменитыми людьми разных поколений. Он, например, в антракте спектакля «Горе от ума» привел нас как-то в артистическую великого Давыдова, который явно был к нему очень расположен. В другой раз, когда мы с сестрой были у него, к нему зашла Агриппина Ваганова.

Уже после войны я не только ходила на концерты Рихтера, но не раз слушала его игру в гостиной дяди Коли. Рихтеру он очень помогал и подкармливал его, когда тому в юности приходилось очень туго из-за немецкого происхождения. Николай Александрович его фактически выпестовал еще тогда, когда его звали не Святослав, а Эрик. Он постоянно бывал у Николая Александровича и когда уже стал мировой знаменитостью.

Хочется подчеркнуть, что поколение Николая Александровича, родившихся в 80-е годы XIX века, было вообще особенным. Это поколение дало миру блестящую плеяду русских талантов, и Николай Александрович знал очень многих из них лично. Ему приходилось бывать в самых разных кругах, и со всеми он был прост, внимателен и готов помочь; скончался в 1973 году.

<...> Мое поколение семьи состояло из нас — трех сестер и наших мужей. Старшей была я - Ирина, Таня была на год моложе меня, а Елена (в семье ее звали Люля) на семь лет моложе.

Я родилась в дедушкиной квартире на Петроградской стороне и крестили меня в Троицкой церкви, где Петр Великий освятил основание города Санкт-Петербурга. Эта церковь была разрушена, а недавно на её месте был поставлен памятный знак и площади вернули историческое название.

Выше я уже писала о том, как мы уехали в 1917 году в Ессентуки и как в гражданскую войну потеряли нашу маму и бабушку Милу, и как нас взяла к себе тетя Нюта.

По возвращении в Петроград мы по совету Марии Сергеевны Гревс поступили в школу на углу 5-й линии и Большого проспекта В. О., бывшую гимназию Шаффе. Высокий уровень образования в этой гимназии в начале 20х годов еще сохранялся, благодаря высококлассному составу преподавателей и способным ученикам. Ученики и ученицы (обучение было уже совместным), все были из интеллигентных семей ученых. Это, вероятно, происходило отчасти оттого, что школа была расположена недалеко от Университета,

Академии наук, Академии художеств. Среди наших преподавателей было несколько профессоров Университета. <...>...Помню, как однажды к нам в старшем классе пришел уже известный тогда математик Марков и сказал: «Ну что я буду вам про синусы и косинусы говорить. Прочитайте о них в учебнике тригонометрии. Я вам лучше расскажу, что такое дифференциальное исчисление». О русской литературе нам вдохновенно рассказывала магистр Университета. К сожалению, не помню ее фамилии.

Хотя мы с сестрой Таней до этого получили только домашнее образование, но с требованиями школы справились и обе сохранили о школе самые лучшие воспоминания.

Окончив школу в 1924 году, я поступила на факультет иностранных языков Педагогического института по профсоюзной путевке, которую получила для меня тетя Нюта. В анкете я покривила душой и в пункте о классовой принадлежности, написала, что я из мещан. Меня приняли сначала на французское отделение, французский язык я уже хорошо знала. Потом оказалось, что на английском отделении недобор и туда принимали даже начинающих изучать язык, и я перешла на английское отделение.

Сестра Таня через год сдавала экзамены для поступления на географический факультет. Она очень любила путешествовать и хотела стать географом. Сдала все на «отлично», но в анкете написала правду и ее не приняли. Тогда она поступила библиотекарем в «Геолком», и через несколько лет, закончив Библиотечный институт, стала работать в Отделе комплектования Государственной Публичной библиотеки.

Ещё учась в институте, я познакомилась с Дмитрием Глебовичем Арнольдом <(1904–1937)>. Он был тогда буровым мастером, а позже окончил Горный институт. Познакомились мы потому, что ему по работе нужно было знать английский язык для того, чтобы читать журналы, и я давала ему уроки. <...> ...Связь нашей семьи с историей русской культуры продолжена сестрой Татьяной Владимировной. Ее мужем стал единственный внук Ф.М. Достоевского Андрей Федорович. <...>... ..Его сын Дмитрий Андреевич уже много лет собирает материалы о своем великом прадеде и роде Достоевских и выступает во многих странах с докладами по собранному данным. Доклады его пользуются неизменным успехом и его постоянно куда-нибудь приглашают.

И. В. Арнольд

КВАНТЫ ЖАНРА В РОМАНЕ ГР. ГРИНА «МОНСИНЬОР КИХОТ»

Основанием для перенесения термина физики **квант** в поэтику служит поразительное сходство функций света и функций языка и литературы: энергия и того и других позволяют человеку видеть и познавать окружающий мир. Квант в физике — мельчайшая физическая величина, способная независимому существованию, особенно дискретное количество электромагнитной энергии. Свет и тепло излучаются и поглощаются квантами.

Речь при этом идет не о переносе в филологию методов квантовой физики, а о сходстве явлений.

Элементы текста (буквы и слова) или устной речи (звуки и слова) образуют единство дискретных единиц и непрерывного смысла подобно квантам и волнам световой энергии. Они также образуют пучки в виде единиц более высоких уровней, например, образов. Существенны для поэтики и другие принципы квантовой теории, такие как принципы **дополнительности** и **неопределенности**. Их действие обнаруживается в невозможности точного совпадения смысла вложенного в текст писателем и воспринимаемого разными читателями.

О возможностях квантовой поэтики я уже писала [Арнольд, 1988], а в настоящем сообщении попытаюсь показать перспективность такого подхода для анализа жанра романа Гр. Грина «Монсеньор Кихот» [1988], интерпретируя кванты языка как кванты жанра. Раньше я писала о нем в связи с проблемами интертекстуальности.

Жанр — объединяющий принцип структуры, содержания и формы литературного произведения. Под литературными жанрами будем понимать литературные виды, на которые литература делится: проза, поэзия и драма. Прозаические жанры очень многочисленны: элегия, стансы, сонет, эпиграмма и др.

Жанр характеризуется формальным и тематическим своеобразием, размером, характером стилистических приемов, использованием функциональных стилей языка, своеобразием отношений между героями. Существенным признаком является отношение

автора к предмету, например, насмешка в эпиграмме или торжественное преклонение в оде.

Стиль единообразия, жесткость в разных жанрах различны. Особым разнообразием отличается роман — большое по объему сочинение, повествующее о вымышленных, или, как пишет Даль, приукрашенных вымыслом событиях и характерах (ср. англ. fiction). Роман изображает человека или группу людей на фоне и во взаимодействии с той или иной эпохой (хронотопом), действительным или вымышленным миром. Роман отличается большим внутрижанровым разнообразием, может использовать любые функциональные языковые стили и включать тексты любых других жанров. Сервантес, например, в начале «Дон Кихота» помещает несколько сонетов.

Жанр романа имеет множество подвидов: исторический, психологический, социально-бытовой, фантастический, детективный, рыцарский. М.М. Бахтин, используя роман и слово в романе, показал, как сильно роман отличается от всех других жанров [Бахтин, 1975]. Мы обязаны ему концепцией диалогизма романа в целом, диалогизма романного слова, концепцией хронотопа и многими другими идеями.

Роман Грина «Монсеньор Кихот»¹ отличается большим своеобразием, и определить его жанр — задача очень непростая.

Аллюзивное название звучит насмешливо. Монсеньор — форма обращения к испанским священникам высокого ранга. Получается род игры с читателем, которому на первых порах приходит мысль, что это пародия. Ведь и «Дон Кихот» был первоначально задуман как пародия на рыцарский роман. Но по существу, пародирование рыцарского романа — лишь один из мотивов гениального и многогранного произведения Сервантеса. Масштаб его слишком велик для пародии. Пародия не является крупной жанровой формой. Да и никакой критики Сервантеса у Грина нет. Однако, связь с прецедентным текстом слишком велика, чтобы не восприниматься как сверхзадача. Главный персонаж романа — священник Монсеньор **Кихот** — путешествует по Испании

¹ Graham Greene Momoignor Quixote / First published by The Bodley Head. 1982.

со своим другом коммунистом и бывшим мэром **Тобосо**, которого он называет **Санчо**, на стареньком автомобиле **Россиманте**.

Интертекстуальность здесь на каждой станции и на любом уровне от собственных имен до сюжетных перипетий.

Благородный рыцарь Дон Кихот переживает множество нелепых злоключений, унижающих его рыцарское достоинство. Благочестивый прекраснодушный священник Монсеньор Кихот переживает множество нелепых злоключений, унижающих его рыцарское достоинство. Благочестивый прекраснодушный священник Монсеньор Кихот все время попадает в абсурдные и копроментирующие его сан ситуации. Привлеченный названием «Молитва Девы» попадает на порнографический фильм; опасаясь преследования Gardia Civil, ночует не в гостинице, а в борделе, движимый христианским состраданием, прячет преступника в багажнике своей машины. Всем своим нелепым поведением друзья вызывают подозрение властей, и главный герой, преследуемый полицией, погибает в результате автомобильной катастрофы.

Герой романа считает себя **потомком** Дон Кихота. В тексте Санчо постоянно упоминает этого «Вашего предка», сопоставляя события. Другие персонажи говорят, что живой человек не может быть **потомком литературного героя**. Но читатель понимает, что в данном случае новый литературный персонаж действительно потомок того классического знаменитого литературного героя. Сходство в характерах и судьбах очень наглядно. Сходство и параллелизм бесспорны. Бесспорно и жанровое своеобразие.

Для этого жанра можно предложить несколько названий: **трагедии, бурлеска, комической стилизации, аллюзии**.

Термин **трагедии** (от французского «перелицованный») подходит лучше других и предполагает ироническое снижение высокого. Мировая литература знает такие перелицовки «Божественной комедии» и «Энеиды», совсем не направленные на критику этих великих произведений. Несовпадение хронотопов несет при этом важную смысловую роль, частично комическую.

«Монсеньор Кихот» трактует те же или аналогичные проблемы, что и «Дон Кихот», но перенесенные в другую эпоху. Благородные, но наивные души сталкиваются с грубой действительностью.

Имплицитная связь имен порождает комплекс ассоциаций. Кванты Кихот, Санчо, Россинат однозначно связаны с Сервантесом.

Обязательный для романа хронотоп (т.е. указание места и времени) тоже дан квантами. В самом начале текста Санчо говорит, что во времена генералиссимуса (Франко) цензура не разрешила бы печатать Сервантеса. Читатель понимает, что речь идет о пост-франкистской Испании и сопоставляет с эпохой фашизма. Для травестийного жанра сопоставление с эпохой прецедентного текста обязательно. Франко неоднократно упоминается и в последующих главах.

Место действия также дано квантами-топонимами. Мадрид, Валенсия, Сеговия, Бургос, Ла-Манча, Саламанка, Гвадарамы, Галисия не описываются, а только упоминаются, но, разумеется, даже одни названия вызывают в уме читателя более или менее богатые ассоциации.

Философская и идейная сторона романа представлена в тексте квантами заглавий и имен авторов.

Дон Кихот начитался рыцарских романов, Монсиньор Кихот — богословской и клерикальной литературы, а коммунист Санчо — марксистской. В их диалогах, а роман в основном состоит из диалогов, все время упоминаются тексты Священного Писания, евангелие, Молитвенник, теологические авторы. И по контрасту — «Капитал» и «Коммунистический манифест». Монсиньор Кихот все время перечитывает то, что Санчо называет «его рыцарскими романами». Цитирует, сверяет свои мысли с мыслями Отцов церкви. Коммунистические убеждения Санчо представлены упоминаниями имен К. Маркса, Ленина, Сталина.

Весь роман — непрерывный диалог, сопряженность двух мировоззрений, кругозоров и убеждений, спор священника и коммуниста. Откровенный дружеский спор доказывает, что различие точек зрения не исключает добрых отношений и позволяет каждому в поисках добра и истины найти даже в традиционно враждебной идеологии другого что-то общее со своей верой. Роман Грина позволяет посмотреть на роман Сервантеса в свете накопившегося человеческого опыта, дает своеобразное пересечение сегодняшних и вечных проблем.

Оба, и священник, и коммунист, мучительно переживают сомнения каждый в своей мере, хотя и стараются это скрыть. Ключевые слова кванта: вера, сомнение, совесть, неверие, грех. У каждого свои рыцарские романы. Стремление священника к

исполнению своего пастырского долга и призвания и коммуниста к его идеалам все время напоминают о стремлении Дон Кихота к рыцарскому подвигу, перенесенные в другую эпоху.

Имена многих других исторических персонажей (Муссолини, Гитлера, Сталина, Фиделя Кастро, Брежнева, Черчилля и др.) указывают на эпоху более широко. Все эти случаи можно рассматривать как аллюзивные кванты. Читательское сознание синтезирует кванты более низких уровней в кванты более высокого порядка и приходит к пониманию единства, целостности произведения и к его основным идеям. Сотворчество читателя интерпретирует тропы, образы, аллюзии, эпизоды с разной степенью полноты.

Читатель нередко обращает внимание на посвящение, а здесь это очень существенно. Грин посвящает свой роман испанскому священнику Леопольдо Дюрану и двум другим испанцам — своим спутникам по дорогам Испании, куда он впервые приехал в 1946 году. Воспоминания отца Дюрана включены в биографию Грина. Оказывается, что в путешествиях Монсиньора Кихота и мэра по Испании отражены странствия самого Грина в маленьком автомобильчике отца Дюрана. Дюран преподавал английскую литературу в университете Мадрида и в качестве темы докторской диссертации выбрал теологические проблемы в романах Грина (предшествующих, разумеется). На этой почве они познакомились, понравились друг другу, подружились и отправились путешествовать с большим запасом вина, который в пути неоднократно пополняли. В пути они часами с полной откровенностью беседовали преимущественно на теологические и политические темы, и эти беседы лежат в основе романа, который, таким образом, также оказывается в известной степени автобиографичным.

Таким образом, роман подтверждает и справедливость слов М. М. Бахтина о том, что «центральной проблемой теории художественной прозы является проблема **двуголосого**, внутренне диалогизированного слова во всех его многообразиях и разновидностях».

Но Бахтин имеет при этом в виду не только такой прямой диалог, но и «диалогизированное слово», т. е. то, что каждое слово отражает в себе социальную, партийную, профессиональную,

идейную принадлежность тех, кто его употреблял раньше, и тех, кто его употребляет в тексте. Яркий пример — слово *Сотрайеро*. В конце романа умирающий священник в бреду говорит, обращаясь к Санчо: *Сотрайеро, you must kneel, Сотрайеро*. Ему кажется, что он дает другу святое причастие. Так, коммунистическая лексика оказывается церковной в диалоге. Бахтин называет это «игрой границами речевых стилей».

Двуголосость может быть представлена и **разноязычием**. Здесь это испанский в английском тексте, а в других местах — латинские цитаты из церковных текстов.

Итак, энергия жанра текста передается дискретными квантами, а понимание того, к какому жанру следует отнести произведение, помогает читателю полнее воспринять его идею.

* * *

АРНОЛЬД И. В., 1998. Квантовая поэтика // Вестник СПб Университета. Сер.2., № 2

И. В. Арнольд

ЭПИГРАФ И ЭПИТАФИЯ

Эпиграфом называется часть текста, изречение или цитата, поставленная перед текстом всего литературного произведения или его части и содержащая основную мысль или тему, ориентирующая читателя на восприятие содержания. В античные времена так называлась надпись на памятнике или здании. Эпитафия — жанр текста, надгробная надпись, часто стихотворная, не обязательно помещенная на могиле. Возможна и чисто литературная эпитафия. Как эпиграф, так и эпитафия играют важную роль в преемственности культуры, в связи прошлого и настоящего, в преемственности культуры в сознании.

Стимулом обращения к сравнению эпиграфа и эпитафии для меня явилась книга моей тёти, Анны Ильиничны Хоментовской, «Итальянская гуманистическая эпитафия, ее судьба и проблемы», вышедшая в марте 1995 г. больше чем через полвека после кончины ее автора в 1942 г.

А. И. Хоментовская пишет о том, что эпитафия — человеческий документ, богатый эмоциональным и интеллектуальным содержанием, и приводит в пример эпитафию, автором которой является Понтано:

«Ибо о ценности жизни завершении трудов
Судит смерть, и она же указывает на продолжение пути;
Гробницы, свидетели жизни, свидетельствуют
Также о некоем конце как о некоем начале».

Эпитафия ретроспективна, пишет Хоментовская. Прежде всего, она опирается на прошлое, на жизнь, конечная ценность которой определяет как итог только смерть. Эпитафия — памятник человеческих борений, трудов и славы.

Эпиграф — проспективен. Предваряя текст, он служит преддстройкой к пониманию его содержания. Текст входит в культуру, а культура воплощается в тексте. Эпиграф особенно действенен в этой связи времен. Мы не всегда обращаем на него достаточно внимания, иногда потому что нам не хватает образованности. Однако

каждый текст, по Бахтину, является трансформацией множество других текстов, и эта трансформация может начинаться уже с цитатного заглавия и связанного с ним эпиграфа.

Между словами «эпиграф» и «эпитафия» много общего. Этимологически они греческого происхождения. Элемент «эпи» восходит к греческому предлогу и элементу сложных слов, общий смысл которых «над», «на», «при». Эпиграф, как упоминалось, — это что-то над текстом, а эпитафия — надпись над могилой, на стене или на памятнике.

Семантически и функционально эпиграф передает главную общую идею, тему и оценку текста. Эпитафия — идею и оценку жизни человека перед лицом смерти, вечности, будущих поколений; в ней находит себя краткое и сильное выражение проблем земной славы, добродетели, доблести и отношения к греху и спасению. Эпиграф предваряет, эпитафия подводит итог.

Эпиграф и эпитафия — важные компоненты интертекстуальности в осуществлении связи прошлого, настоящего и будущего. Обратимся к английской литературе. Все части Саги о Форсайтах имеют шекспировские эпиграфы. «Человек-собственник» — из «Венецианского купца»: «You will answer: The slaves are ours». В «Последнем лете Форсайта» — самой идиллической части о бескорыстном чувстве старого Джолиона — приводится цитата из сонета «Shall I compare thee...»: «And summer's lease has all too short a date». Ср. также «To let»:

«From out the fatal loins of these two foes
A pair of star-crossed lovers take their life»

(Romeo and Juliet)

Во всех этих случаях эпиграф соответствует сюжету и тональности романа, но не связан с заглавием, как это имеет место в романах Моэма «Пестрое покрывало» или Хаксли «Шутовский хоровод», где эпиграфы расшифровывают заглавие.

Роман Моэма имеет эпиграфом цитату из Шелли: «Lift not the painted veil which those who live call life». Его тема — супружеская неверность; первый эпиграф поясняется вторым, взятым у Данте, где убитая мужем неверная жена просит о ней вспомнить.

В сатирическом романе Хаксли эпитет взят у Марло и образно характеризует претенциозных интеллигентов, над которыми издевается Хаксли:

«My men like satyrs grazing on the lawns
Shall with their goat feet dance an antic hay»

Цитатные заглавия в форме предложных словосочетаний или придаточных предложений обычно поясняются в эпиграфах, которые благодаря этой связи становятся более заметными для читателя. Хрестоматийным примером может служить роман Хемингуэя «По ком звонит колокол». Эпиграф взят из Джона Донна:

«No man is an *Iland*, intire of it selfe;
every man is a peece of the
Continent, a part of the *maine*, if
Clod bee washed away by the *Sea*,
Europe is the lesse, as well as if a
Promontorie were, as well as if a
Mannor of thy friends or of *thine*
owne were; any mans *death*
diminishes me, because I am
involved in *Mankinde*; And
therefore never send to know for whom *the bell* tolls; it tolls for
thee».

Эпиграфы осуществляют диалог эпох и создают общий образный эмоциональный настрой. Прагматические функции эпиграфов и мода на них изменчивы: иногда они комментируют текст, иногда образуют с содержанием текста иронический контраст. Во всех случаях этот тип авторского комментария требует значительного сотворчества читателя, который должен к тому же видеть связь времен. Эпиграфы настраивают читателя на оценку событий.

В Евангелии мы читаем, что когда ученики тревожились за Христа, зная, что он намерен принести себя в жертву, он сказал им:

«Истинно, истинно говорю Вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а, если умрет, то принесет много плодов».

Слова, сказанные устно, перешли в письменный текст Евангелия от Иоанна гл. 12, ст. 24. Из Святого Писания они переходят в художественную литературу. В качестве эпитафии романа «Братья Карамазовы» эти слова несут одну из важнейших тем и идей. Для Достоевского форма бытия идеи — диалог: идея должна быть услышана и отвечена другими сознаниями. Заданный эпитафией образ организует и пронизывает весь роман. Эстетически в образе представлены все критерии — возвышенное, прекрасное и трагическое, т. е. эпитафия несет не только идейную, но и эстетическую функцию.

Ту же идею, что и эпитафия, передает Иван в разговоре с Алешей: «Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; я ведь знаю, что еду лишь на кладбище. Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу, в свою науку, что я знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними; в то же время убежденный всем сердцем моим, что это давно уже кладбище и никак не более».

Для книги А. И. Хоментовской процитированные слова Евангелия стали эпитафией. Трагическая судьба автора книги характерна для цвета нашей интеллигенции Серебряного века — блистательные свершения и открытия, потом тюрьма, репрессии, ссылка и смерть в расцвете творческих сил.

Чем привлекла внимание Анны Ильиничны фраза Ивана, обращенная к брату? Она полностью отражает ее собственные намерения, ее страстную веру в истину, в свой подвиг, в свою науку. Нельзя забывать, что для ее поколения вера в свою истину была смертельно опасной, требовала подвига, и вела к потере работы, свободы, а часто и жизни. В целом Анна Ильинична, как и другие люди этого поколения интеллигенции, относилась к исследованию как к призванию. Труд ее, — и она шла на это сознательно, — был подвигом во имя науки. Она воспринимала его как свой долг, возложенный на нее полученными знаниями и талантом. Она выполнила этот долг, несмотря на репрессии.

Переключка памяти выглядит так: Италия эпохи Возрождения XIV–XVI вв. СССР Великая Отечественная война 1942 г. и Россия 1995 г.

Ее могила затеряна где-то на сельском кладбище военных лет. Эпитафией может служить только ее книга, напечатать которую удалось энтузиастам, сотрудникам Института Истории. Они проверили и уточнили весь огромный материал, собранный А. И. Хоментовской, дополнили его данными об авторе, списком ее работ, сделали все возможное, чтобы издать книгу и добились этого после упорных усилий многих лет. В числе тех, кому принадлежит эта заслуга, надо назвать ответственных редакторов А. Н. Немилова, А. Х. Горфункеля, В. И. Рутенбурга, а также сотрудников института В. И. Мажуга, Н. Л. Корсакову, В. С. Когановича.

Эпитафия рассмотрена в книге А.И. Хоментовской как особый литературный жанр и как надпись на памятниках, которые автор сама находила на кладбищах в Италии. В ней проанализированы поэтика эпитафий и их история, начиная с античности и эпохи Возрождения, когда забота о вердикте потомства и стремление организовать его с помощью эпитафий на памятнике возродились. В книге описаны и проанализированы эпитафии и автоэпитафии Данте, Петрарки, Боккаччо и др. Материал позволяет дать глубокий анализ мировоззрения системы мышления итальянских гуманистов, их понимание смысла учености, их отношения к жизни и смерти, конфликта «вирту», т. е. доблести и добродетели с фортуной, конфликта человеческого гения и судьбы.

Эпитафии писали друзья, их заказывали поэтам, устраивались поэтические соревнования. Так, эпитафия Петрарки — рифмованная молитва к Мадонне на латинском языке:

Сия плита укрывает холодные кости Франсиска Петрарки
Прими, о, Дева-Мать, его душу и сжался над ней
Исстрадавшаяся на земле, да найдет она мир горе.

Петрарку цитирует Пушкин в эпитафии к 6-й песне Евгения Онегина о дуэли и смерти Ленского:

Там, где дни туманны и кратки,
Родится народ, которому не больно умирать.

Эта цитата взята из книги сонетов «На жизнь мадонны Лавры», и Петрарка говорит о народах, нападавших на Италию с севера. Пушкин выпустил среднюю часть стиха — «прирожденный враг мира» — и тем изменил тональность, сделал эпитафийным для эпитафии.

La sotto giorai nebulosi e brevi
Nemien naturalmente di pace
Ne see una gente a qui morir mon dole/

Эти слова произнесены Герцен, узнав о смерти Писарева. Смысл и значение поэтической эпитафии в том, что горечь утраты смягчается эстетической эмоцией от музыки слов и красоты образов.

Проблемы связи учености, человечности, философии и этики позволяют расширить наше представление о духовных ценностях эпохи. Конденсированное на памятнике отношение человека к миру должно быть непременно правдивым перед лицом смерти и потомства.

Редакторы книги А. И. Хоментовской предпослали книге в целом еще один эпитафийный текст: «Книги имеют свою судьбу». Эпитафийный текст представляется очень удачным. Судьба книги, как уже было замечено, связана не только с судьбой ее автора, но и с судьбой творчества блестящего поколения русской, и, в частности, петербургской интеллигенции Серебряного Века, истреблявшейся не только физически, но и информационно из памяти живых, из остатков культуры, к которым мы были допущены. Сейчас занавес этой трагедии открыт, и представители уничтоженного света нации встают в своих работах, как феникс из пепла.

Приведу последние слова автобиографии Хоментовской, написанные ею в Вышнем Волочке в непосредственной близости к фронту, под пролетающими немецкими самолетами: «Колесо фортуны совершило таким образом не один поворот, но меня не истоптало».

На примере эпитафий, как пишет А. И. Хоментовская, видна условность форм культуры. В наше время никто не беспокоится о своем памятнике и не считает, что след, который он оставляет на земле, в первую очередь, должен быть отражен на памятнике.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА

Предмет филологии — слово, метод — диалог, а критерий — эрудиция.

И. В. Арнольд

И. К. Архипов

О КОННОТАЦИЯХ И КОННОТАТИВНОЙ ПРИРОДЕ ЯЗЫКА. РОЛЬ ЯЗЫКОВОГО КОНТЕКСТА

В своей известной работе *The English Word* (Лексикология современного английского языка) [Арнольд, 1986] Ирина Владимировна Арнольд дает всесторонний анализ коннотаций слов конкретного языка. Она описывает специфику коннотативного значения и, что очень важно, делает это в лучших традициях семантического исследования, сопоставляя его с другими разновидностями лексических значений.

В качестве установочной приводится следующая дефиниция: «...**коннотация** отражает прагматическую коммуникативную ценность, приобретаемую словом в зависимости от того, где, когда, как, кем, с какой целью и в каких обстоятельствах слово используется или может быть использовано» [Арнольд, 1986: 48]. Заявленная позиция убедительно разъясняется, доказывается и иллюстрируется на протяжении всего текста пособия [Арнольд, 1986: 40-50, 97, 230-238].

Уже в приведенном отрывке и в других местах встречаются формулировки, отражающие общераспространенные тенденции и способы описания языка и, в частности, с различных точек зрения анализируются его природы и функции. Так, известно, что язык принадлежит человеку и что последний «делает все», что происходит в языке и с языком. Однако **говорить** об этом во всех ситуациях только правильно весьма утомительно, потому что говорить тогда приходится очень длинно. В каждом предложении тогда придется упоминать или недвусмысленно намекать на то, что за всеми свойствами слов и их функциями стоит языковая личность [Архипов, 2005:15–18]. Поэтому лингвисты, как

и все носители языка, прибегают к использованию переносных значений, в частности, метонимических.

Так, в книге И. В. Арнольд совершенно справедливо указано, что «они (говорящий и слушающий) придают (they give) слову **коннотативное** значение». Кроме того, в приведенной цитате мы находим, что «слово используется или может быть использовано». Одновременно на той же странице читатель узнает, что «слово *сообщает* (conveys about) об отношении коммуниканта» [Арнольд, 1986: 40]. Ср. также:... слово «*приобретает* (acquires) эмоциональную коннотацию,...*свою способность* вызывать или непосредственно выражать эмоции как следствие истории его *актуализации* в эмоциональных контекстах» [Арнольд, 1986: 234].

Читатель этих строк очевидно морщится, негодуя по поводу того, что автор «придирается» к формулировкам, которыми пользуются все и постоянно. Все правильно, но при этом мало кто обращает внимание на то, что для выражения последних аргументов использованы переносные — метонимические — смыслы. С помощью логического анализа не трудно показать, что на самом деле выделенные слова намекают на действия соответствующих языковых личностей, их способность выполнять и на историю выполнения этих действий. И вот в таких случаях таится опасность персонификации. Как предупреждает С. Л. Винтер, за увлечение переносными смыслами при описании реальных ситуаций нередко приходится расплачиваться тем, что место реального деятеля оказывается занято «как бы деятелем», **только ассоциируемым** с истинным по смежности явлений (предметов) Стоит ознакомиться хотя бы лишь с заголовком статьи — «Посторонняя чушь, аргументы, построенные на основе метафоры, и чем следует руководствоваться юристу, анализируя механизмы мышления» (Transcendental nonsense, metaphor reasoning, and the cognitive stakes for law) [Winter, 1989].

Переведем дыхание и проверим себя — не кажется ли нам иногда, что слово возникает, приобретает форму, развивается, меняет свою форму, вбирает или утрачивает значения и выпадает из языка — и все это (как-то) самостоятельно. Отказаться от всей этой персонификации очевидно не так уж трудно, однако не плохо иногда проверить себя, не остается ли при этом мысль, что

материальная форма слова — колебания воздуха или носитель с черточками, палочками и кружочками — наверное, все-таки для того и существует, чтобы, будучи вытолкнута вовне отправителем сообщения, нести свое значение к рецепторам принимающего его и как-то передать (забросить) его в сознание.

Тем не менее, данные биологов, анатомов и физиологов, исследовавших человеческое тело на этот предмет и не нашедших в/на нем ни входов, ни выходов для информации [Матурана, 1995: 31], надо полагать, не могут не действовать отрезвляюще. Соответственно, поиски сторонников биокогнитивного подхода к языку намечают новые решения.

С учетом отсутствия анатомических входов и выходов информации возможен только один вывод: по получению извне сигналов, не несущих никакой информации («готового знания»), все свое знание языковая личность создает самостоятельно. Этот механизм называется «аутопозом» или «само-созданием (смысла)». Суть его заключается в том, что ребенок, а затем взрослый человек учится искусству коммуникации посредством запоминания того, какие предпосылки, действия и последствия для него имели его наблюдения за появлением данной формы слова в его нише. Когда ему молча давали (знакомили с) какой-то предмет, то у него формировались ассоциации с предпосылками, действиями и последствиями его появления. Затем тот же предмет появлялся в сопровождении слова или слов, одних и тех же, а затем слова появлялись уже без сопровождения предмета, и с ними устанавливались (проигрывались) все те же ассоциации с предпосылками, действиями и последствиями, то есть **значения** слов.

Естественно, что ни ребенок, ни взрослый не имеют непосредственного доступа ни к когнитивной деятельности, ни к структурам в голове говорящего с ними человека. Следовательно, все существующие описания когнитивных структур, кроме **знания** наших собственных, на самом деле являются спекуляциями в хорошем смысле. Тем не менее, **намеки** на них мы не только имеем право пытаться сформулировать, но и обязаны это делать в качестве использования единственного «выхода» к источнику знания. Под «когнитивными структурами» понимается следующее двухплановое явление: в общем случае, это, прежде всего, «следы» **ассоциаций** между состояниями тела и, в первую

очередь, тканей нервной системы, **соответствовавшими и соответствующими** появлениям, функционированию некоторой языковой формы и данным наблюдений предпосылок, действий тела и последствий. Это уровень анализа сознания, «распределенного» в теле [Залевская, 2006].

Второй, более доступный для фиксации «слой» — это то, что проносится в сознании при использовании формы данной языковой единицы. Не следует относиться к этому излишне скептически — **все** подобные «видения» заканчиваются какими-то действиями, и если человечество на сегодняшний день не исчезло с лица земли, то это определенно означает, что описываемая здесь когнитивная деятельность людей реально обеспечивает эффективное приспособление к среде, что является конечной целью жизнедеятельности. Следовательно, задача лингвистов повнимательнее последить за фактами **своего** сознания, совпадающими с некоторыми фактами поведения партнеров по коммуникации, в которых отражается **их** сознание.

Сказанное выше в очередной раз подтверждает известный тезис об эвристическом характере всего познания. В какие бы одежды «объективного знания» ни рядилось очередное мнение, оно остается по своей сути догадкой. Суждено ли ей стать истинной, хотя бы на какой-то срок, зависит от исхода столкновений (взаимовлияний) с другими догадками. А «исход» будет отодвигаться с приходом каждого нового поколения мыслящих людей.

Поскольку мнения состоят из слов, не несущих со собой, в себе значения, и об их значениях приходится догадываться, выводить их (to inference), сопоставляя полученные формы с жизненным опытом, позволяющим оценить их встречаемость в данной и конвенциональных ситуациях **в сопровождении** данного и конвенционального речевого поведения, то «они (слова) **ключи** к значениям» [Elman, 2004: 306].

Следовательно, настоящая функция слов и языка вообще не когнитивная, а коннотативная [Матурана, 1995: 19–20]. Действительно, все мышление творится и, когда это необходимо, оформляется средствами языка, и тогда в сознании говорящего возникают знаки [Архипов, 2007]. Однако все это, кроме форм, остается в породившем их сознании, и когнитивная, содержательная сторона речемыслительной деятельности говорящего остает-

ся закрытой для партнеров по коммуникации. Таким образом, с точки зрения передачи информации, в практическом плане язык «ничего не делает» для принимающего сообщение. И все-таки коммуникация состоится, поскольку языковая личность выдает формы слов необходимые для **ориентации**, и не более того, слушающего на способы вывода задуманного ею смысла. При этом говорящий использует всю палитру коннотативных средств, подсказывающих ход мыслей необходимый для вывода задуманного ею смысла: свой опыт «срабатывания» данной формы в ситуациях подобных описываемой, интонации, темп и тембр звучания, мимику, жесты и поведение тела (body language) и пр.

Что касается эффективности поведения говорящего, то есть достижения понимания на другом конце канала связи, то она зависит от его коннотативного мастерства и когнитивного потенциала слушающего. Поскольку коннотативные усилия говорящего ограничены его сферой, а когнитивные, то есть понимание, — сферой слушающего, то ясно, что эти сферы непосредственно не пересекаются.

Эту картину следует дополнить описанием поведения слушающего. Стратегия коннотативных действий говорящего зависит и от ответных действий слушающего, поскольку они служат сигналами обратной связи. В условиях любого физического отсутствия реципиента, его **вероятные** (ожидаемые) коннотативные реакции проигрываются в сознании отправителя и служат средством контроля своего коннотативного поведения. Таким образом поведение говорящего становится формой взаимодействия со слушателем в то время, как поведение слушающего — частью взаимодействия с говорящим. Поэтому язык в его динамическом аспекте есть «взаимодействие взаимодействий» [Матурана, 1995: 37; Кравченко, 2001].

В свете сказанного выше становится яснее роль языкового контекста, то есть окружения слова в высказывании. Все рассуждения о влиянии контекста на значение слова, его «творческом потенциале» и, шире, текста на самом деле являются полуправдой. С одной стороны, речевой контекст (context of situation) действительно определяет актуальное значение слова и многозначного в частности. Именно в зависимости от описываемой ситуации говорящий выбирает значение «свещающееся небесное

тело, видимое в безоблачную ночь», когда речь идет о событиях в небе (В небе появились *звезды₁*) либо значение «популярный артист, исполнитель» (На сцене появились *звезды₂*). Что же касается языкового контекста, то в подобных случаях, как справедливо писал С. Д. Кацнельсон, он играет роль лишь сигнала о том, какое значение актуализировал отправитель сообщения, и «работа» контекста не состоит в том, чтобы он «видоизменял расплывчатое исходное значение, превращая его в «позиционные варианты»» [Кацнельсон, 1965/1986:49]. Указывая на статус языкового контекста как сигнала, автор тем самым фактически описывал его коннотативную, а не когнитивную функцию. Таким образом, С. Д. Кацнельсону удалось нащупать истинные отношения между автором и его текстом, между человеком и одной из его функций — языковой — благодаря тому, что он не считал их равноправными, равностатутными партнерами по коммуникации

Пренебрежение этими различиями, а, с другой стороны, красивые фразы типа «в языке есть все», «все делает язык» нередко убаюкивают внимание исследователей и, не замечая того, они оказываются в путях неразрешимых противоречий. Так, в процессе своей жизнедеятельности человек, скажем, становящийся лингвистом, постоянно видит и слышит, что люди говорят или пишут, а другие понимают содержание этих текстов. При этом на обыденном уровне никто никогда не интересуется, каковы реальные механизмы этих процессов. Тема представляется естественно закрытой в связи с очевидностью ее решения. Это все равно, что **необходимость** постоянно задумываться над тем, как мы дышим или какова в действительности природа электричества, которым мы пользуемся постоянно. Поэтому когда в течение своей научной карьеры лингвист неоднократно слышит и читает, что язык передает информацию и делают это слова, а тексты «творят» наряду с авторами, то он уже увереннее строит и объясняет себе все остальные гипотезы относительно устройства языка, опираясь на это «твердое основание», или во всяком случае учитывает его и использует.

Знание аксиомы, к сожалению, не часто стимулирует желание задавать вопросы, а вот ответы на следующие вопросы могли бы поставить под сомнение некоторые из обсуждаемых здесь тезисов: почему надо **верить** в «творческую силу» текста (контекста)?

Что в одном окружении заставляет слово изменить свое значение и не оказывает влияния в другом? Каковы в этом общие зависимости и что определяет **направление** — почему одно слово изменяет значение соседнего, осуществляя тем самым «давление контекста», а не наоборот? Если известен лингвистический механизм «выравнивания» форм (leveling), то каков механизм выравнивания лексических значений различных слов на синтагматической оси?

Обратимся к такому часто обсуждаемому фактору расхождения смысла, кодируемого отправителем и декодируемого приемником, как информационные шумы. К последним, как правило, относят — аудишум (на улице, в помещении, в конструкции канала связи и т. п.), дефекты слуха, несовпадения уровня знания языка, в том числе иностранного, развития интеллекта и/или культурного развития и пр. Однако нельзя не заметить, что все это является «экзотикой» на фоне действия конвенционального механизма лексической полисемии, действующего в почти каждом актуальном высказывании. Это можно показать с помощью очень простого эксперимента, в котором участвуют лица, максимально совпадающие по указанным параметрам и постоянно и много лет общающиеся друг с другом и поэтому «прекрасно знающие», по крайней мере, коммуникативные приемы, привычки и особенности друг друга.

Итак, в ходе продолжающихся воспоминаний о сумерках и наступлении ночи один из них говорит: «А потом в небе появились *звезды₁*». Роль созданного в данном предложении языкового контекста ясна — прежде всего он эксплицирует, описывает ситуацию появления *звезд₁*, то есть дополняет смысл конкретного факта упоминания *звезд₁*. Выполняя эту функцию, он включает слова, указывающие на **уместные** (relevant) предметы и явления, тем самым создавая **семантическое согласование** (correspondence 1) членов высказывания: «звезда 1» (светящееся небесное тело, видимое в безоблачную ночь), объясняется через «небо», а «небо» — с помощью понятия «звезда 1» — «пространство над головой, в котором видны солнце, луна и звезды». Этот безотказно действующий механизм определяется речевым контекстом: если задумано описание какого-либо аспекта неба, то выбираются слова и значения многозначных слов, которые

могут актуализироваться совместно (со-осцир) как компоненты соответствующей смысловой конфигурации (замысла).

На следующей стадии нашего эксперимента, посвященной описанию того же вечера и ночи, проведенной в развлечениях, тот же собеседник говорит: «А потом на сцене появились *звезды₂*». В этом высказывании складывается другое семантическое согласование (correspondence 2). Другой набор слов и значений в нем определяется участием иных референтов. При этом *сцена* и *звезды₂*, объясняются друг через друга: первое через второе — «площадка, на которой выступают артисты», а второе — через первое — «(знаменитый) артист — тот, кто выступает на сцене».

Приведенный анализ, надо полагать, недвусмысленно указывает на соотношение функций автора и контекста. Первый **выбирает** и **ставит** слова в необходимых значениях на линейку высказываний по правилам грамматики. Тем самым он обеспечивает в каждом случае необходимые условия для понимания своего произведения. Понимание обеспечивается, как всегда, с помощью использования избыточных средств. Так, а) намеки на значения с учетом речевого контекста б) дублируются организацией семантического согласования в рамках языкового контекста. Спрашивается: какое еще «давление» на автора оказывал языковой контекст, который в обоих случаях он же придумал и создал? Может быть, контекст «подправил» автора во втором примере, потому что тот очевидно знает только первое значение *звезда₁*?

Пожалуй, ясно, что «давление» и «творчество» контекста и текста возможны только тогда, когда автор во всем этом не участвует, и «братья-разбойники» творят, что хотят. Так выглядит дело со стороны отправителя сообщения, а вот если вспомнить еще, что язык передает информацию, то творческие манипуляции текста (?) или в (?) тексте вообще некуда пристроить. Действительно, если язык передает готовый смысл, то он очевидно в нормальных условиях (см. наш эксперимент выше) входит и без проблем встраивается в принимающее сознание. И «творчество» контекста тут явно не причем. А если все-таки настаивать на этом, то тогда нужно «вывести на чистую воду» язык, который что-то осложняет, и постоянно в нем что-то «мешает пониманию напрямую», либо он вообще вещь «посторонняя», не связанная с человеком непосредственно, и его приходится все время «подправлять».

Как человечество выжило с такими неудобствами? Не трудно заметить, что все эти противоречия проистекают из (иногда неосознаваемого) представления о существовании «онтологической триады: объективный мир — человек — язык» [Болдырев, 2005: 38].

Вместо того, чтобы продолжать критику или искать аргументы в защиту идеи «передачи готового знания» имеет смысл прислушаться к мнению замечательного российского философа М. К. Мамардашвили, неустанно опровергавшего ее в 70-90 годы прошлого столетия. Это несомненно нужно сделать, потому что биокогнитивная лингвистика предлагает начать анализ природы познания и коммуникации «с чистого листа» - никаких конфликтов, «противоборств» формы и содержания языковых единиц и вместо них сотрудничество и взаимодействие взаимодействий сознаний, замкнутых по своей природе в самих себе и не пресекающихся в прямом смысле. Каждое из них «делает свое дело», соответственно, осуществляя уникальное человеческое существо. Отражаясь в своем поведении, человек **тем самым** намекает на выполняемую им цель и ставит цели перед партнерами и т.д. и т.д. Следуя этому образцу, человечество имеет шанс просуществовать как минимум еще столько же.

* * *

АРНОЛЬД И.В., 1986. The English Word (Лексикология современного английского языка), М.

АРХИПОВ И.К., 2005. Полифония мира, текст и одиночество познающего сознания//Studia Linguistica. Когнитивные и коммуникативные функции языка. Вып. 13, СПб.

АРХИПОВ И.К., 2007. Знак или слово является единством формы и содержания?//Лингвистика текста и дискурсивный анализ: традиции и перспективы. СПб.

БОЛДЫРЕВ Н.Н., 2005. Категория как форма репрезентации знаний в языке//Концептуальное пространство языка. Сб. науч. тр. Посвящается юбилею Н.Н. Болдырева. Тамбов.

ЗАЛЕВСКАЯ А.А., 2006. Проблема «тело-разум» в трактовке А. Дамазио // Studia Linguistica Cognitiva. Язык и познание. М.

КАЦНЕЛЬСОН С.Д., 1986. Общее и типологическое языкознание. Л.

КРАВЧЕНКО А.В., 2001. Знак, значение, знание, Иркутск.

МАТУРАНА У.Р., 1995 Биология познания// Язык и интеллект. М.

ELMAN J., 2004. An alternative view of the mental lexicon// Trends in Cognitive Sciences. 8(7).

WINTER S. L., 1989. Transcendental nonsense, metaphor reasoning, and the cognitive stakes for law//University of Pennsylvania Law Review, Vol.137.

Е. С. Кубрякова

О КОНВЕРСИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Постоянное возвращение к вопросу о конверсии в работах англистов вполне оправдано как значительной ролью этого явления в словообразовательной системе английского языка, так и не проясненной до конца сущностью конверсии и механизмами ее осуществления. Существует немало различных трактовок этого способа словообразования, но даже само понимание конверсии как характеризующей область словообразования вызывает у некоторых ученых известные возражения (см. ниже). Посвящая эту небольшую заметку проблемам конверсии, мы хотели бы предложить некоторые новые пути ее решения и разъяснить суть тех разногласий, которые до сих пор связаны с ее интерпретацией. Между тем новые решения становятся возможными в силу становления особой парадигмы научного лингвистического знания, в рамках которой каждое языковое явление должно получить свое объяснение как с когнитивной, так и с дискурсивной точки зрения, т. е. по тому, какое участие принимает это явление в отражательно-познавательных процессах человеческой деятельности и в процессах деятельности коммуникативной, дискурсивной [Кубрякова 1997, 1999]. В первом случае речь идет о том, какие структуры знания стоят за изучаемой языковой формой и каковы особенности объективируемого в этой форме человеческого опыта, во втором — каким целям служит она в актах коммуникации и в какую именно по своему устройству и организации языковую форму «упаковывается» необходимый для осуществления дискурса «кусочек» (квант) знания. С указанных позиций явлению конверсии можно дать достаточно четкое определение и установить ее статус в системе английского языка, а также описать все ее отличительные черты и особенности.

Конверсия должна исследоваться прежде всего как особая разновидность **процессов транспозиции**, т. е. процессов, устанавливающих связи между разными частями речи и заключающихся в том, что слово одной части речи или даже отдельная форма этой части речи выступает в качестве **источника** или **базы деривации** единицы другой части речи, т. е. оказывается мотивиру-

ющей единицей для создания новой, мотивированной ею формы. Процессы транспозиции носят при этом не обязательно словообразовательный характер. Ср., например, грамматическую транспозицию глагола в разряд атрибутивных форм при образовании причастий или же в разряд существительных при образовании герундия (-ing формы в значении существительного). Важнейшее свойство процессов транспозиции — сохранить в результативной форме этого процесса и объединить в ней **два концепта** — концепт исходной части речи (source) и концепт той части речи, в которую эта исходная транспонирована (target). При соблюдении этого условия не трудно отметить, что итоги транспозиции всегда характеризуются с концептуальной точки зрения как blends, т. е. как «сплавы», «слияния» разнородных концептов. Так, причастия, например, не случайно характеризуются как атрибутивные формы глагола, или же, в современных терминах, как строящиеся семантически на определенном соотношении и «композиции» из двух концептов, один из которых — процессуальный — выражен основой глагола, а другой — признаковый — специальными грамматическими показателями.

Совершенно то же самое наблюдается и при конверсии — в любом конверсиве не может не оказаться двух разнородных концептов: ср. локативный концепт в out ‘снаружи’ и два концепта — локативный и процессуальный (move) — в императиве out of the room! ‘вон из комнаты!’

Обычные процессы транспозиции являют собой примеры «наведения мостов» между разными частями речи, осуществляемыми с помощью особых формальных средств (определенных аффиксов, формативов), благодаря чему они и получают название **аффиксальных**. В отличие от них конверсия — это транспозиция **безаффиксальная**, происходящая при полном отсутствии какой-либо специальной морфемы как средства осуществления указанного процесса [ср. Кубрякова 1977, 290 и сл.]. При конверсии источник деривации и ее результат оказываются полностью тождественными по своей материальной форме и потому **внешне** не отличимыми друг от друга. Это, собственно, и привело к тому, что формы, подобные salt ‘соль’ и to salt ‘солить’ трактовались А. И. Смирницким как лексико-грамматические **омонимы**, т. е. расходящиеся по своему грамматическому (категориальному)

статусу. Хотя вряд ли термин «омоним» отражает подлинное различие указанных форм (согласно классической точке зрения на омонимию у омонимов не может быть близости по значению), имплицитная в термине грамматическая нетождественность форм подмечена абсолютно верно.

Различие **категориального** содержания форм, связанных процессами транспозиции, а, следовательно, и отношениями конверсии, — это, пожалуй, главный ключ к пониманию самой сути этих явлений. Если кратко сформулировать это различие, можно сказать: исходная форма демонстрирует (как гештальт) одно и только одно категориальное значение, результативная, сохраняя его, добавляет к нему **еще одно**, благодаря чему выступает как форма с более сложным когнитивным наполнением. Конверсив — это результат особого **взаимодействия** двух категориальных значений, из которых базовым оказывается категориальное значение той части речи, в которую транспонировалась исходная форма, ономазиологическим же признаком к базе оказывается исходная форма. Ср. исходную форму salt ‘соль’ и результативную to salt с двумя ее категориальными значениями ‘класть’ и ‘соль’. Ср. также рус. *лежать* → *лежащий*, где в семантической структуре последнего содержатся концепты ‘тот, который’ и ‘*лежать*, т. е. **находиться в определенном положении**’.

В отличие от грамматических форм, для которых характерно простое сложение концептов, предсказуемое и регулярное, конверсия порождает формы несуммативного характера, что типично уже для словообразования и что делает конверсию явлением явно словообразовательной системы. Здесь, в пределах конверсивов, концепты **взаимодействуют**, а не **складываются** (как в грамматике).

Интересно, что в книге 1996 г., посвященной частям речи и смене частеречных (категориальных) характеристик у одной и той же материальной формы, Петра М. Фогель подробно рассматривает конверсию (и историю ее изучения), подчеркивая, что здесь мы имеем дело с немаркированной переменной категориальных характеристик слова (merkmalloses Wortartenwechsel) и что это дает основание считать конверсию явлением не словообразования (т.е. создания нового слова), а его синтаксического использования в новой функции [Vogel 1996, гл. 2]. Именно в

этом свете она трактует анализ конверсии у Г. Суита и других англистов (включая российских) и поддерживает идеи о полифункциональности английского слова. По ее мнению, конверсию следует интерпретировать в терминах перехода слова из одной категории в другую, т. е. видеть в ней синтаксическую перекатегоризацию слова [см. стр. 245 указ. соч.], а никак не словообразовательный процесс.

Независимо от П. М. Фогель и примерно в то же время идеи перехода (транспозиции) из одной части речи в другую, идеи функционального «сближения частей речи» в современном английском языке высказывались и другими учеными (Л. А. Телегиным, Л. А. Козловой, А. А. Левицким и др.). Хочу в связи с этими и аналогичными им работами подчеркнуть: факты транспозиции есть прежде всего факты переосмысления исходных форм, видения этой формы в новом семантическом ракурсе, обогащения формы за счет ее сочетания с другим концептом и по отношению к другому базовому концепту. Транспозиция и конверсия — процессы, служащие семантическому преобразованию исходных форм, и их следует изучать именно в свете той новой семантики, формированию которой они в конечном счете и служат. Соответственно главная дифференциация процессов транспозиции проходит по содержательным критериям, что и позволяет отличить процессы грамматической транспозиции и грамматической (пере)категоризации форм от процессов (пере)категоризации словообразовательной.

По своей семантической сущности и семантическим заданиям конверсия — образование не новых **форм** слова, а образование новых слов, словообразование. Появление нового слова — это появление такой языковой единицы номинации, которая объективирует новое содержание, новую структуру знания. Все конверсивы характеризуются новым и достаточно сложным содержанием, возникающем в акте переосмысления исходной единицы и результирующем обязательно в том, что дефиниция конверсива тоже оказывается **более сложной** по сравнению с семантической дефиницией исходного слова: *sail* ‘парус’ — *to sail* ‘идти под парусом’ и т. д.

Употребление конверсива в новом синтаксическом окружении и в новой синтаксической функции — это только **следствие** про-

цесса семантического переосмысления и перекатегоризации исходной формы, уже произошедшей в голове говорящего и лишь находящего отражение этого видоизменения в тексте и дискурсе. Нельзя смешивать в этом процессе его причин и его последствий: причины — в необходимости отразить новую и более сложную структуру знания, связанную с уже обозначенным ранее процессом, объектом или признаком, следствия — в закономерном использовании этой новой единицы номинации по синтаксическим правилам английской речи, соответственно с синтаксическими ее функциями (как, впрочем, возможно, и с новыми морфологическими показателями). Это же относится и к тому, что в целом ряде случаев конверсии мы наблюдаем в итоге уже состоявшегося переосмысления исходной формы новую морфологическую парадигму для конверсива (*red — the reds, black — a black* и т. п.).

Но каков же механизм самого переосмысления? Почему корень или основа слова оказываются способными представлять, например, не только действие как таковое, но и отдельную его «инстанциацию» в виде определенной опредмеченной (объектной) сущности — ср. рус. *ходить* и *ход*, *выходить* и *выход* и т. п.)? Во всем этом надо усматривать механизм **метонимии**: подобно тому, как действуют формулы *pars pro toto* или *toto pro pars* и т. п. в лексической семантике (*тарелка супа* — это ‘то, что вмещает тарелка’, ее содержимое и пр.), действуют они и при конверсии. Ведь объект способен вызывать представление о всей той деятельности, в которой он участвует, а действие, напротив, ассоциироваться с теми объектами, на которое оно направлено. Рус. *солить*, *рулить* или *пилить* демонстрируют это в актах аффиксальной транспозиции, англ. *to salt*, *to sail* и т. п. — в актах безаффиксальной, т. е. конверсии.

Конверсив всегда можно распознать по его семантической сложности, по появлению в его семантической структуре новых концептов по сравнению с теми, что содержались в мотивировавшей его единице. Они свидетельствуют о том, что в структуру знания о предмете входит и знание о его использовании, а в структуру знания о признаке — знания о его проявлении или каузации (ср. *синий — синеть, warm — to warm, clean — to clean* и пр.).

Конечно, широкому распространению конверсии в английском языке способствовала ликвидация многих морфологических

окончаний и наступившее в результате этого стирание различий между разными частями речи в их назывных формах [ср. Vogel 2000, 262]. И все же любое слово поступает в текст или дискурс не в каком-то аморфном виде, а уже будучи осмысленным в виде слова определенной части речи, т. е. осознанным по его принадлежности к «своей» категории. Обозначение есть всегда обозначение чего-то: предмета, процесса, признака и стоящих за ним структур знания. Это, конечно, относится и к конверсивам.

* * *

КУБРЯКОВА Е. С., 1997. Части речи с когнитивной точки зрения. М.

КУБРЯКОВА Е. С., 1999. Когнитивные аспекты словообразования и связанные с ними правила инференции (семантического вывода) // *Neue Wege der slavistischen Wortbildungsforschung*. Hrsgb. Von R. Belentschikow. — P. Lang, S. 23 u.w.

КУБРЯКОВА Е. С., 1977. Структурно-семантические и ономаσιологические особенности безаффиксального словообразования // *Языковая номинация. Виды наименований*. М.

VOGEL P. M., 1996. Wortarten und Wortartenwechsel. Zu Konversion und verwandten Erscheinungen im Deutschen und in andern Sprachen. — Brl. — N.Y., de Gruyter. S. 99 u.w.

ТЕЛЕГИН Л. А., 1992. Безаффиксальная транспозиция и ее влияние на процессы деривации в современном английском языке. Докт. дисс. — Самарканд.

КОЗЛОВА Л. А., 1997. Проблемы функционального сближения частей речи в современном английском языке. Барнаул.

ЛЕВИЦКИЙ А. Э., 1999. Роль функциональной переориентации в системе словарного состава современного английского языка // *Вісник Харківського Державного Університету*. Ром.-герм. філологія. № 424. — Харків.

VOGEL P. M., 2000. Grammaticalisation and part-of-speech systems // *Approaches to the Typology of Word Classes*. Ed. by P.M. Voggel, B.Comrie. — Brl.-N.Y.- Mouton de Gruyter.

М. В. Никитин

К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АППАРАТА КОГНИТИВНОЙ СЕМАНТИКИ

В статье ставится задача дать обобщенную интерпретацию ряда понятий современной когнитивной семантики и представить их как частные случаи конверсивных отношений в семантике языковых выражений. Речь пойдет о группе понятий, разрабатываемых вслед за и вместе с Р. Лэнекером, а именно: профилирование, траектор и ориентир. Из соображения доступности литературы для русскоязычного читателя ссылки делаются в основном на статью Р. Лэнекера на русском языке «Концептуальная семантика и символическая грамматика [Лэнекер, 2006].

Указанные понятия в этой статье даются без развернутых определений как самоочевидные, читателю предлагается усвоить их остенсивно, — из примеров, а именно, приводятся выражения с одинаковым денотативным значением, но все же различающиеся по смыслу. Это различие и является остенсивной иллюстрацией нового вводимого категориального понятия. Так, профилирование определяется как то различие по содержанию — смыслу, которое отличает, например, выражения «стакан наполовину пуст» vs. «стакан наполовину полон». Выражения онтологически (денотативно) равнозначны, но различаются вектором, фокусом внимания. Это и есть профилирование как часть содержательных различий денотативно равнозначных выражений.

Сходным образом, на той демонстрационно-остенсивной основе введены и другие понятия. При этом не указывается их родство (сходство) и принадлежность к более широкому и известному классу значимых различий типа понятий актуального членения (тема—рема, данное—новое, субъект—предикат) и некоторых других оппозиций лексического, морфограмматического и синтаксического уровней. Различие траектора и ориентира связано с различиями в значении предлогов, которые описывают статус (положение) своих аргументов по отношению друг к другу, причем траектор профилирует свой аргумент, а ориентир играет подчиненную роль аргумента, относительно которого квалифицируется статус аргумента — траектора. Например, «книга под тет-

радьё» и «тетрадь на книге» описывают одну и ту же ситуацию пространственного положения двух вещей относительно друг друга, но различаются тем, какая из двух вещей профилирована как траектор и помещена в фокус внимания, а какая — служит ориентиром для профилируемого аргумента пространственного отношения.

Надо с самого начала указать, что эти заметки не носят критического характера и не подвергают сомнению значимость рассматриваемых понятий для когнитивной семантики. Задача состоит в том, чтобы уяснить природу этих понятий и прописать их в концептуальном аппарате лингвистической семантики, т. е. определить их место и связи, сходства и отличия среди категорий современной лингвистики.

Первое, на что требуется обратить внимание и что объединяет приведенные выражения, это конверсивный характер смысловых отношений. Они относятся и пополняют широкий класс выражений с взаимно обратимой семантикой, т. е. строящихся по логической формуле обратимой (конверсивной) импликации «если aRb , то и $b\bar{R}a$ », где R и \bar{R} — противоположные конверсивные отношения аргументов a и b .

Конверсивы дополнили класс языковых единиц с противоположной семантикой как существенное дополнение к классической антонимии. Первоначально они определялись как выражения, описывающие одно и то же несимметричное отношение с позиций разных его участников: дал-взял, завещать — наследовать, покупать-продавать. Конверсивами называют как соответствующие предикаты, обычно глаголы, так и предложения — высказывания, образуемые этими глаголами с выраженными дополнениями — аргументами конверсивного отношения. Имена аргументов в таких предложениях дополнительно к своей лексической семантике наделяются конверсивными синтаксическими признаками, которыми определяется статус аргументов в данном отношении. Особенность конверсивного отношения состоит в том, что конверсивные признаки с необходимостью взаимно предполагают друг друга: берущий предполагает дающего и наоборот, покупатель — продающего, наследник — завещателя и т. п.

Но равным образом многие пространственные, временные и иные предлоги, такие как «над-на (под, внизу), раньше-позже,

впереди-сзади» и т. п., взаимнообратно и жестко имплицитно предполагают друг друга, как разные взаимосвязанные стороны одного конверсивного отношения, так что наличие одного из аргументов закономерно предполагает наличие его коррелята, даже если он выражен и мыслим имплицитно.

Аналогичным образом признак «быть полным наполовину» конверсивно предполагает признак «быть пустым наполовину» с той лишь разницей, несколько маскирующее конверсивность двух описаний единой ситуации, что эти признаки приложены не к двум разным денотатам, а к двум разным состояниям одного денотата, конверсивно предполагающим друг друга.

Конверсивные зависимости вещей, признаков и событий составляют часть знания мира — знания тех взаимосвязей, взаимозависимостей и совместной встречаемости сущностей, которое позволяет из наличия одного судить об обязательном или вероятностном (особенно сильновероятностном) наличии другого. Понятно, что конверсивные значения, в том числе импликация о наличии имплицитного контрагента с противоположной семантикой, принадлежат к области когнитивных (не прагматических) значений — к знаниям об устройстве мира. Знать, что книга под газетой, имплицитно предполагает знание того, что газета находится над (на) книге, а знание того, что стакан наполовину пуст, предполагает знание о том, что он полон наполовину и т. д.

Когнитивная компетенция не имеет прямого отношения к коммуникативно-прагматическому профилированию выражения, к структурированию дискурса на элементы повышенного внимания (коммуникативно-прагматический фокус, так называемая «фигура»), и то, что составляет их семантический фон. Возникает вопрос о механизме порождения категориальных прагматических значений типа профильных и фоновых у языковых единиц в определенных синтаксических позициях.

Как известно, речевое общение предполагает принятие говорящим ряда неявных, но обязательных для его успеха пресуппозиций. В частности, общающиеся должны исходить, во-первых, из постулата коммуникативного доверия. Т. е. вступая в речевое общение, слушающий предполагает в собеседнике разумного партнера с должным уровнем владения языком, обеспечивающим порождение и понимание нормативных речевых продуктов. Во-

вторых, говорящие исходят из постулата (базируются на пресуппозиции, или презумпции) о неслучайности выбора высказывания определенного содержания и определенной формы в конкретных условиях и обстоятельствах коммуникации.

Указанный постулат является частным случаем реализации более общего принципа речевой деятельности, регулирующего подачу информации в актах коммуникации, определяющего ее отбор, дозирование, квантование и организацию для слушающего. Это принцип ПДИВ — принцип должной информативности высказываний — *utterance required informativeness principle* (URIP) [Никитин, 1996: 682]. Этот центральный постулат речевого общения исходит из целеобусловленности речи, т. е. ее неслучайного, мотивированного характера: всякий раз, генетически и сиюминутно, она обусловлена некоей целью, потребностью, интересом в решении некоторой прагматической задачи — нередко не непосредственно, а опосредованно — в информационном процессе с вовлечением адресата. Высказывание всякий раз предполагает некий значимый фон, базу информированности участников речи (фоновые знания) и некоторый интерес (потребность, мотивацию, удовлетворяемые должным образом посредством выбора оптимально служащей целям коммуникации высказывания).

При всей возможной вариативности произносимого высказывание всякий раз неслучайно по цели, предмету, содержанию и объему закладываемой в него информации и обстоятельствам сообщения ее. Исключения лишь возвращают к принципу должной информативности речи и, в частности, неслучайности выбора высказывания данного содержания и данной формы. Информация отбирается, дозируется, квантуется, организуется и подается в варианте сообразно целям говорящего в обстоятельствах речи.

Какое место такие категориальные значения, как профиль, траектор или ориентир, занимают в типологии языковых значений? Прежде всего они, как уже отмечено, не принадлежат к числу когнитивных значений, так как не относятся к описанию обозначаемых (денотируемых) миров. Напротив, они, с очевидностью, должны быть помещены среди разрядов категориальных прагматических значений, так как они не описывают денотат выражения, а препарируют когнитивные единицы сообразно замыслу говорящего для эффективного усвоения структуры их

смысла и раскрытия для слушающего их коммуникативно-прагматического заряда. Ближайших «родичей» рассматриваемых нами категориальных значений, единиц того же класса и назначения находим среди коммуникативно-прагматических категорий актуального членения предложений на тему-рему, данное-новое, известное-неизвестное, субъект-предикат. Близки к ним по функции и многие логические средства из размытой категории вводных слов — коммуникативов, ранжирующих когнитивные смыслы текста по порядку их значимости: как-то «во-первых, во-вторых, наконец, главное, в заключение» и т. п. Единицы этого класса можно условно назвать дискурсивно-прагматическими препаратами высказываний и текстов. Их общее назначение — коммуникативно-логическое препарирование высказываний и текстов для оптимального усвоения их мыслительного содержания и структуры. Они предпосланы когнитивному содержанию мысли как ориентиры развития дискурса и речемыслительного процесса.

Надо сказать, что прагматические значения принципиально отличны от когнитивных значений по их содержательной природе настолько, что могут вызывать сомнения в праве называться значениями. Различия темы и ремы, фокуса и фона, траектора и ориентира, субъектности и предикатности, безусловно, значимы, но значимы по природе иначе, чем значимость единиц денотатного описания мира. Кроме того, есть существенное различие в способах их выражения. Прагматические значения в суммарном содержании высказывания обычно сопутствуют денотативно значимым единицам как дополнительный, своего рода суперсегментный, наложенный на них компонент значения. В этом случае они, как значения в высшей мере абстрактные и обобщенные, должны быть прописаны по разряду значений грамматических. Разумеется, это не исключает для них возможности быть выраженными как лексические значения соответствующих номинативных единиц.

Особенность выражения прагматических значений в содержательной структуре высказываний состоит в том, что они часто выражаются не лексически или морфологически, а за счет порядка слов, интонирования, противопоставления с эксплицитно и имплицитно выраженными членами однородной парадигмы

и т. д. Последний способ выражения прагматических значений имеет прямое отношение к рассматриваемым нами категориям профилирования, траектора-ориентира.

В случае конверсивного отношения, как это имеет место в нашем случае, конверсивный противочлен обязательно возникает в сознании, если даже он не выражен эксплицитно, в силу логической природы этого противопоставления: конверсивные противочлены с необходимостью предполагают друг друга. Выраженный противочлен существует в обстоятельствах выбора и в сравнении с составом и структурой своего противочлена, хотя бы и имплицитно мыслимого. Тем самым создаются условия для действия коммуникационного постулата (пресуппозиции) о неслучайности и значимости выбора одного противочлена сравнительно с другим, имплицитным. В силу этого эксплицитный противочлен получает дополнительную значимость. Он попадает в фокус внимания и прагматически выдвигается на первый план, он, как это названо, профилируется, т. е. становится базой для импликационного анализа и содержательного осложнения дискурса.

Так, профилирование опустошенности наполовину стакана в высказывании «стакан наполовину пуст» возникает как результат соотнесения с его имплицитным конверсивным противочленом «стакан наполовину полон». Это акцентирует прагматическую значимость опустошенности по контрасту с наполненностью и развязывает дискурсивно-логическую игру импликаций в этом направлении.

Аналогично анализируются примеры предметно-именных словосочетаний с домысливаемыми значениями траектора-ориентира.

Таким образом, профилирование принадлежит к числу категориальных (грамматических) прагматических значений с обобщенной функцией выдвигения языковых единиц в фокус дискурсивного внимания. Это понятие оказывается родовым по отношению к классу прагматических средств, распределяющих языковые единицы по оппозиции «фокус-фон» как на уровне предикативных выражений (актуальное членение), так и на уровне словосочетаний.

Следует в заключение заметить в критическом плане, что в статье Р. Лэнекера понятие «профилирование, профилировать»

подано вне системных связей с имеющими в лингвистике категориями и употребляется в чрезвычайно широком и неопределенном смысле, зачастую посягая на области того, что более четко отработано в языкознании, т. е. подано без должной четкости и без указания механизмов языковой объективации этих категориальных значений.

Наш анализ строился на рассмотрении одного конкретного примера. Но его несложно обобщить (ср., например, если стакан полон на $1/3$, то, значит, он на $2/3$ пуст). Здесь мы имеем дело с широким классом случаев жесткой (обязательной) взаимобратимой импликации. Если A то B и если B то A , что на семантическом уровне не предполагает (в силу знания говорящими взаимозависимостей мира) наличия у A выводного значения — знания о положении дел B при A .

* * *

ЛЭНЕКЕР Р.В., 2006. Концептуальная семантика и символическая грамматика. «Вопросы когнитивной лингвистики», № 3. Тамбов.

НИКИТИН М.В., 1996. Курс лингвистической семантики. СПб.

СЛОВО В КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ

Современное устремление науки к антропоцентризму и прагматике, к ролевым отношениям и статусу участников коммуникации, к их социальным установкам, оценкам и социальной детерминированности полей коммуникации требуют пристального изучения проблемы среды во всем её многообразии.

И. В. Арнольд

А. Г. Гурочкина

СЛОВАРЬ ПОЛИТКОРРЕКТНЫХ НОМИНАЦИЙ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ПРАГМА-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

Феномен политкорректности, зародившийся в 60-70 годы XX века в США и вскоре перекинувшийся и в Европу, вплоть до настоящего времени продолжает играть достаточно заметную роль в идеологии, культуре и других сферах общественной жизни многих стран. Вместе с тем, как свидетельствуют различные публикации последних лет, общественность многих англоязычных стран проявляет серьезную озабоченность практическими результатами, которых идеологам и приверженцам «движения за политическую корректность» удалось достичь в сфере культуры, межличностных отношений и особенно в кодификации многих языковых инноваций. В результате теория и практика «движения за политическую корректность», языковые инновации реформаторов становятся предметом критики и едкой сатиры. Одним из ярких примеров этой тенденции является словарь политкорректных номинаций *The Official Politically Correct Dictionary & Handbook*, опубликованный Henry Beard и Christopher Cerf в 1992 г. и много раз переиздававшийся. Этот словарь дает достаточно целостную картину как языкового кода, насаждаемого

приверженцами феномена политкорректности, так и стоящей за ним идеологии.

Во внешне шутильной, ироничной форме авторы словаря язвительно комментируют языковые неологизмы «новой веры», за чем явно прослеживается их твердое убеждение, что политическая корректность — это вариант Оруэлловского новояза. Соответствующая цитата из книги Дж. Оруэлла «1984» является эпиграфом к словарю. Авторы предупреждают читателя, напоминая слова Оруэлла: *It was intended that when Newspeak had been adopted once and for all Oldspeak forgotten, a heretical thought...should be literally unthinkable, at least so far as thought is dependent on words [PCDH].*

Словарь состоит из четырех частей:

— первая часть — *A Politically Correct Terms and Phrases* содержит базовые лексические единицы политкорректности как то: *person of color (a non-white person), alternatively schooled (illiterate), parasitically oppressed (pregnant), possessing an alternative body image (fat)* и др.

— вторая часть — *A Politically Incorrect/ Politically Correct Dictionary* сочетает в себе тезаурус и двуязычный словарь. В этой части приводятся политкорректные аналоги некорректным словам — *old > chronologically gifted, crazy > emotionally different, looter > nontraditional shopper* и др.

— в третьей части *Other Suspect Words, Concepts, and «Heroes» to be Avoided and/or Discarded* отмечаются слова и понятия, которые следует избегать — *freedom of speech; the domestication of animals; Goya's «The Naked Maja»* и др.

— четвертая часть *Know Your Oppressor. A Bilingual Glossary of Bureaucratically Suitable Language* представляет собой двуязычный глоссарий бюрократически корректного языка или «бюрократически уместных» слов и выражений — *one never lies, one just «strategically represents»; «saturation bombing» is merely «terrain alteration».*

Как свидетельствует анализ словаря и приведенные примеры реформирование языка мотивировано, как правило, социально-политическими причинами. Преднамеренное изменение норм языка обусловлено стремлением утверждения в обществе лево-радикального мировоззрения, связанного с расовыми, классовыми

ми и гендерными проблемами. В словаре явно просматриваются семантические приоритеты сторонников движения за политическую корректность, тесно связанные с их идеологическими установками. Это прежде всего пересмотр ряда традиционных норм словоупотреблений дискриминирующих права расовых, этнических меньшинств и женщин, развенчание сильного пола, переоценка традиционных интеллектуальных, эстетических и морально-этических ценностей. Центральной идеей «движения» является неприятие духовных ценностей традиционной европейской культуры и ее философско-гносеологических основ.

Анализ слов и словосочетаний, представленных в словаре, позволил выявить ряд лингвистических и прагма-семантических факторов формирования неологизмов.

На лингвистическом уровне политкорректные языковые единицы, представленные в словаре, можно классифицировать по способу их представления:

1. генерализация/расширение значения слова: death > therapeutic misadventure;
2. транспозиция: prisoner > clients (guests) of correctional system;
3. семантический сдвиг/метонимия: bombing > air support;
4. метафора: old age pensioners > golden age, third age;
5. контраст наименований имеет место в том случае, если в основу наименования кладется признак несвойственный денотату, противоположный ему по значению: disabled > differently abled
6. аббревиатура: PLWA (person living with AIDS).

В большинстве новообразований акцентируется, находится в фокусе коннотативно-оценочный компонент, в то время как денотативный затушевывается. В результате многие неологизмы оказываются концептуально расплывчатыми как, например, номинации типа: chemically inconvenienced (drunk); person with difficult-to-meet needs (serial killer); differently advantaged (poor); unwaged laborer (housewife) и др.

Имеет место и ряд более прозрачных бюрократических неологизмов, в которых выбирается наименее категоричный вариант номинации негативного факта, или же ключевое слово смягчается позитивным окружением: inappropriate physical abuse (police brutality); energetic disassembly (explosion); therapeutic segregation (solitary

confinement); failure to maintain clearance from the ground (an airplane crash); arbitrary depression of life (murder); strategic withdrawal (retreat) и т. п. С одной стороны, здесь сохраняется эксплицитная связь ключевого элемента с обозначаемым явлением, с другой, эта связь вуалируется либо использованием интенционально ослабленных синонимов с частично или полностью нейтрализованным отрицательным потенциалом (abuse, disassembly, segregation, withdrawal), либо включением в номинацию слов с положительным прагматическим потенциалом (energetic, therapeutic, strategic, friendly). Элементы с позитивной коннотацией приглушают воздействие отрицательно заряженных слов и значительно ослабляют негативное восприятие именуемых явлений. Подобные неологизмы представляют собой политкорректные номинации, используемые с целью отвлечения внимания реципиента от негативных явлений. Так, например, термин economic crisis заменяется на period of economic adjustment, а лексемы firing и laying of на correction of human resources.

Характерной тенденцией при номинации тех или иных явлений, прослеживаемой в словаре, является также выбор в качестве ядерного позитивного или негативного признака для обозначения «идеологически выдержанных/невыдержанных» понятий. Например, слово zulang, образованное посредством соединения лексем gulag и zoo, обозначает зоопарк, сочетание negative saver — расточитель/расточительница. Достаточно ярко выделяется группа сложных перифрастических наименований, в которых ключевой элемент несет положительный заряд. За основу здесь выбирается слово, содержательное ядро которого относительно бедно и не имеет прямой связи с именуемым объектом/явлением, а экстенционал широк. Например, смерть пациента в больнице называется negative patient care outcome, где нейтральная лексема outcome заменяет прямое обозначение такого печального события как смерть, а в сочетании wildlife management лексема management заменяет обозначение охоты (убийство зверей).

К этой же группе относятся и такие «непрозрачные» новообразования как security assistance (arms sale), air support (a bombing attack), previously enjoyed (used, second-hand), revenue enhancement (tax increase), period of economic adjustment (recession, depression). Ключевые элементы во всех этих неологизмах — слова с позитивной коннотацией аксиологического и аффективного планов

(assistance, enjoyed, support) и т. д. Они вызывают в сознании целый ряд сценариев (скриптов), выявляющих положительную ценностную и эмоциональную направленность прагматического вектора. Поскольку интенсионалы ключевых слов не имеют ничего общего с прямым называнием объектов, то связь между объектом и его новым наименованием эксплицитно не выражена. Референциальное отношение подобных номинаций часто остается тайной для непосвященных. О нем можно судить лишь по контексту. В результате суть именуемого почти полностью затемняется и объект преподносится как вполне приемлемый и закономерный.

Следующий фактор, привлекающий внимание исследователя политкорректного словаря это пристрастные отношения кодификатора к означаемому. Примером могут служить «экологические» неологизмы, призванные напомнить человеку, что он не венец творения, а лишь одно из созданий природы. Поэтому, чтобы не обидеть чувства и права животных (nonhuman being) и растений (botanic companion), человека предлагается называть human animal.

Политкорректные сочетания, широко представленные в словаре, часто характеризуются нарушением норм лексико — семантической сочетаемости компонентов. Яркими примерами могут служить следующие сочетания - custody suite (prison cell), floral companion (a plant), mineral companion (pet rock), nonhuman being (a corpse) и др.

Еще один принцип, явно прослеживающийся в политкорректных номинациях, заключается в утверждении равного права на существование традиционного (поддерживаемого доминирующей культурой) и альтернативного взгляда на мир, что проявляется в активном стремлении внедрить номинации типа — person of differing sobriety (a drunk), differently honest (untrustworthy), vocationally deprived (unemployed), cosmetically different (ugly), involuntarily undomiciled (homeless), body decolonization (becoming a lesbian) и др.

Отклонения от традиционных канонов социального, этического, физического, интеллектуального планов трактуются как вполне законная альтернатива. Наиболее адекватное выражение такой принцип номинации находит в языковых единицах — эвфемизмах. Эвфемистический эффект достигается за счет отказа

от точного обозначения признака и замены его выражением, не вызывающим неприятных ассоциаций. Типичны в этом плане сочетания с нейтральным компонентом challenged или impaired: follicularly challenged (bald), orally challenged (mute), knowledge impaired (ignorant), horizontally impaired (fat). К этому же типу относятся сочетания — differently abled, рекомендуемые вместо physically or mentally disabled, differently interesting вместо boring, ethically disoriented вместо dishonest, motivationally dispossessed вместо lazy, nontraditionally ordered вместо disorganized, socially misaligned вместо psychotic и т. п.

В соответствии с идеологическими установками и языковой политикой приверженцев движения за политическую корректность, если раньше были бедные, больные, лылые, беззубые, слепые, одинокие, забытые своими близкими люди, то в политически корректном мире таковые отсутствуют, а ненавистники, злодеи, убийцы, воры, лгуны и лжесвидетели никак не хуже членов общества, соблюдающих законы и моральные ценности, они просто «другие». Тем самым исключается возможность различения добра и зла, правды и лжи, следования морально-этическим и культурным традициям, что не могло не вызвать крайне негативного отношения к политкорректным инновациям со стороны общественности.

Велеречивость преобразований распространилась очень широко, вплоть до темы смерти, для номинации которой, предлагаются неологизмы типа — metabolically different, terminally inconvenienced, nonviable, no longer a factor.

Следует подчеркнуть, что авторы словаря, приводя политкорректные неологизмы, осознают абсурдность многих из них. Они включили в свой словарь целый ряд номинаций, которые абсурдны с точки зрения морально-этических, культурных, ценностных критериев и здравого смысла, сопровождая их соответствующими комментариями, и выражая тем самым свое отношение как к этим номинациям, так и к «движению» в целом.

* * *

BEARD H. & CERF K. The Official Politically Correct Dictionary and Handbook. New York: Villard Books.

С. В. Киселёва

МНОГОЗНАЧНОСТЬ ГЛАГОЛОВ ПАРТИТИВНОЙ СЕМАНТИКИ С КОГНИТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Как известно, метафора представляет собой источник лексической многозначности и универсальный инструмент когнитивной деятельности. Поскольку со времен Аристотеля интерес к ней теоретиков языка никогда не ослабевал, даже краткий обзор существующих теорий метафоры мог бы составить содержание ни одной книги. В данной статье излагаются лишь некоторые соображения и рассуждения, касающиеся когнитивной метафоры и метафорического переноса как средства построения абстрактных концептов и лексикографической трактовки порождаемой таким образом многозначности.

Метафора является источником лексики, обслуживающей мир идей, событий, процессов, абстрактных понятий, «конструируемых человеком». Снимая ограничения на сочетаемость, с точки зрения Н. Д. Арутюновой, метафора ведёт к созданию обобщённых, обесцвеченных предикатов, способных соединяться с разнотипными субъектами. Метафора помогает обнаружить природу непредметных категорий. Важным результатом метафоры является создание области вторичных предикатов, определяющих первичные признаки материи, характеризующих явления человеческой психики, обслуживающих имена событий, фактов, действий и состояний, а также имена, относящиеся к миру идей, мыслей, суждений, концепций и т.п. [Арутюнова, 1999: 361–365].

«Создавая семантический диссонанс, живая метафора выставляет на показ, обнажает наличие категорий у имён и категориальных предпосылок у предикатов: в обычных употреблениях слов, где категории и предпосылки согласованы, категориальное согласование принимается как должное и проходит незамеченным» [Падучева, 2004: 172]. Таким образом, метафора своим существованием доказывает, что и категории имён, и категориальные предпосылки предикатов являются важным аспектом семантики слов. Так, с точки зрения автора, метафора — это глобальный механизм, который охватывает все сферы употребле-

ния языка. И здесь виден один из важных аргументов в пользу динамического подхода к семантике лексики, который предполагает дополнение словарных толкований продуктивными моделями их модификации под воздействием контекста [Падучева, 2004: 176].

В. Г. Гак в своё время утверждал, что при осмыслении, например, фразеологической единицы, сначала возникает некая прототипная ситуация, соответствующая буквальному (прямому) значению фразеологизма, за которой закрепляется содержание, которое затем переосмысливается. Поэтому образ фразеологической единицы оформляется на базе первичных значений слов в прототипной ситуации. Именно эти первичные слова оставляют в образе своё значение. Так возникает внутренняя форма, в которой и заключается основная информация, связанная с культурой [Гак, 1977].

С нашей точки зрения, метафора более глобально помогает понять суть вещей. «Метафоры ... помогают понять мир и обозначить его сущности» [Никитин, 2003: 25], когда что-то постигается интуитивно, человек прибегает к помощи метафор для уяснения сложного понятия. «Интуиция достаточно чётко очерчивает ему границы и содержание абстрактного концепта и обеспечивает должный отбор аналогических средств описания» [Никитин, 2003: 16].

Дж. Лакофф и М. Джонсон в своей книге «Метафоры, которыми мы живём» показывают всеобъемлющий характер метафоры и доказывают, что метафора относится к сфере мышления, а не языка. Язык пространства чаще всего используется там, где язык никакой другой концептуализации не предлагает. Эти лингвисты говорили о том, что сознание в большей степени зависит от языка, идеи без слов не существуют, они возникают на их базе, мысль ведома метафорами. Ни одна метафора не зарождается, если нет концепта. Метафора вторичнее концепта; она следует за тем, что зародилось в голове. Этот зародившийся концепт определяет путь поиска нужных слов для выражения мысли [Лакофф, Джонсон, 2004].

По мнению М.В. Никитина, язык впереди сознания, сначала язык, потом ментальные миры; метафоры присущи мысли вообще [Никитин, 2003]. Таким образом, можно сказать, что метафо-

ра — это «заполнение лексического пробела: то, что происходит, когда в существующем словаре нет буквального выражения для некоторого понятия или слова» [Stern, 2000: 189]. Опираясь на абстрактными понятиями, мы то и дело обращаемся к языку перемещений в пространстве.

По мнению Дж. Лакоффа и М. Джонсона, «основной тезис когнитивной теории метафоры сводится к следующей идее: в основе процессов метафоризации лежит процедура отработки структур знаний — фреймов и сценариев. Знания, реализующиеся во фреймах и сценариях, представляют собой обобщённый опыт взаимодействия человека с окружающим миром — как с миром объектов, так и с социумом. Особую роль играет опыт непосредственного взаимодействия с материальным миром, отражающийся на языковом уровне, в частности, в виде онтологических метафор» [Лакофф, Джонсон 2004: 9].

Если исходить из того, что метафоризация, описанная Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, основана на взаимодействии двух структур знаний — когнитивной структуры «источника» и когнитивной структуры «цели», то в процессе метафоризации некоторые области цели структурируются по образцу источника и происходит «метафорическая проекция» или «когнитивное отображение». Предположение о частичном воспроизведении структуры источника в структуре цели получило название «гипотезы инвариативности» [Lakoff, 1990: 54].

Как пишет Дж. Лакофф, «метафора позволяет нам понимать довольно абстрактные или по природе своей неструктурированные сущности в терминах более конкретных или, по крайней мере, более структурированных сущностей» [Lakoff, 1990].

Механизм метафоры и процессы в метафорическом употреблении слова подробно описаны М. Блэком [Блэк, 1990]. Понимание (как и создание) метафоры есть результат творческого усилия: оно столь же мало подчинено правилам. «Метафора — это грёза, сон языка (dreamwork of language)» [Davidson, 1990: 173]. Д. Дэвидсон полагает, что у метафоры в дополнение к буквальному значению имеется особое когнитивное содержание. Метафора связана с образным использованием слов и предложений и всецело зависит от обычного или буквального значения слов и, следовательно, состоящих из них предложений [Davidson, 1990].

В соответствии с точкой зрения Д. Дэвидсона, все переносные значения, имеющие место в высказывании, являются эффектами речевого функционирования *системных* значений этих слов в контексте, т. е. они возникают при взаимодействии со значениями других слов. Отсюда механизм метафоры заключается во взаимодействии системных (прямых) значений [Davidson, 1990: 430-441]. Соответствующей точки зрения придерживается Дж. Р. Серль, считающий, что метафора является буквальным сравнением и большая часть знаний, необходимая для понимания метафоры, уже содержится в сознании говорящего и воспринимающего, являясь частью картины мира, и это обеспечивает понимание буквальных значений [Searle, 1990: 417].

В соответствии с взглядами Д. Дэвидсона и Дж. Р. Серля, каждая форма слова имеет одно значение в системе языка, которое всегда сопровождает эту форму. Поскольку обычное языковое сознание не может не заметить также то, как слова выглядят в переносных значениях (в метафорах), мы исходим из предположения о том, что языковое сознание осуществляет номинационные процессы с опорой на возможность реализации как буквальных, так и небуквальных (переносных) значений любых понятий. Это позволяет говорить о системных значениях не только как о прямых (по мнению Д. Дэвидсона), но и возможности представления о предмете как таковом и о «как таковом» (по мнению И.К. Архипова) [Архипов, 2001: 49-53; 2004: 77-78].

Гипотеза Д. Дэвидсона получила дальнейшее развитие в научных трудах И.К. Архипова, который считает, что формы слов сохраняют своё системное значение в различных речевых контекстах без изменения. При актуализации слов системное значения их форм приходят во взаимодействие с системными значениями форм других слов. При восприятии формы какого-либо слова в сознании возникает, по коду, образ системного содержания формы, соответствующей номинативно-непроизводному значению. Согласно концепции И.К. Архипова, им является «ближайший» лексический прототип (ЛП) как «наилучший представитель» семантики формы [Архипов, 2000: 50-53], или «подходящий образ» (выделено нами) лексемы в лексико-семантической системе любого языка. Именно «подходящий образ» содержания лексемы приходит на ум прежде остальных значений слова при представ-

лении соответствующей формы с позиции наблюдателя. Далее, учитывая речевой контекст, формируется смысл высказывания, во время которого либо остаётся первичное значение слова или образ системного содержания формы слова как «наилучшего представителя» или «подходящего образа», либо после актуализации значения формы слова сознанием слушателя выводится переносное (небуквальное, метафорическое) значение. Это переносное значение моментально находит своё место в смысловой структуре высказывания, т. е. слово сохраняет то же значение, но при этом, с точки зрения онтологии мира, ситуация кажется абсурдной, поэтому, по мнению И. К. Архипова, выводится «*третий смысл высказывания*», о котором писал Л. В. Щерба [Щерба, 1974: 11–15].

Таким образом, буквальное значение является ключом к осмыслению метафоры, и степень понимания и интерпретации метафоры зависит, в первую очередь, от осмысления прямого значения и его связи с контекстом (как речевым, так и языковым). Переносное значение можно выявить только при наличии имплицитно присутствующего номинативно-непроизводного значения, так как метафорические значения являются производными, что становится очевидным только при сопоставлении с мотивирующим значением.

Как известно, значительная часть значений многозначного слова — переносные. Семантический перенос есть универсальное фундаментальное явление, охватывающее всю систему языка. В качестве предисловия, может быть, следует напомнить, «что, во-первых, переносные значения не являются результатом объективного отражения реального мира. Метафоры, точнее, их по большей части неизвестные творцы, не отражают объективные связи, а создают связи, носящие субъективный характер. Во-вторых, переносные значения и метафоры, в частности, являются средством «активизации ассоциаций» [Блэк, 1990: 162–164] — в отличие от сравнений они используются для максимально быстрого установления связей признаков двух предметов или понятий. Именно поэтому они не точны, неопределённы и противоречивы и, как правило, указывают на ложные связи. «Переносные значения — средство игры ума. В свою очередь, игра воображения часто используется и в целях экономии энергии» [Архипов, 2001: 28].

Анализ переносных значений в данной работе проводится на принципах когнитивного подхода. Исходя из предположения, выдвинутого Д. Дэвидсоном и далее развиваемого И. К. Архиповым, формы слов неизменно сохраняют свои системные значения в различных речевых контекстах. При актуализации слов системные значения их форм приходят во взаимодействие с системными значениями форм других слов и речевым контекстом. В результате возникает «третий смысл», то есть, речевой, как часть смысла соответствующего высказывания [Davidson, 1990: 340–341]. Таким образом, буквальное значение является ключом к осмыслению фразеологизмов и метафор. Степень их понимания и интерпретации зависит, прежде всего, от того, как мы осмысливаем прямое значение и его взаимодействие с контекстом (речевым и языковым).

Метафора заставляет нас обратить внимание на некоторое сходство — часто новое и неожиданное — между двумя и более предметами. Это верное наблюдение влечёт за собой выводы относительно значения метафор. Обратимся к обычному сходству или подобию. Два мира похожи, потому что в них живут люди, между которыми складываются определённые отношения, в которых развиваются разные события, существуют свои обычаи, устанавливаются определённые жизненные устои, традиции и т. д. Иначе говоря, миры похожи, потому, что каждый из них мир. В примере:

— «I could never keep your child from you the way you did mine from me.»

— «What else could I do, Mike?» She asked. «We were worlds **apart** then.» [Robbins, 1977: 403] говорится о двух разных мирах. В буквальном значении здесь речь идёт о человеческих судьбах. Жизнь этих людей сравнивается между собой. Эти судьбы очень разные по своему содержанию, что выражается партитивным предикатом *to be apart*.

Человек — особый мир. Каждый человек живёт своим собственным миром. У разных людей — разные миры. Но в судьбах людей есть сходство и различие в образе жизни, в окружении, в общении и т. д. Такое сходство и различие вполне естественно, ведь стандартные способы объединения (объектов) в группы прямо связаны с обычными значениями слов, используемых для обозначения этих объектов.

«Наши миры/жизни были разные/ мы были далеки друг от друга духовно и территориально /мы вели разный образ жизни» — здесь мы сталкиваемся с метафорой. Однако, в каком смысле «мы — миры разные?» Здесь нам, возможно, надо подумать о классе объектов, который включал бы в себя всё обычное, что происходит в жизни, в судьбе каждого человека и, кроме того, в судьбах данных героев, а затем задаться вопросом: какое особое, отличительное свойство присуще всем членам этого класса? Вдохновляет та мысль, что при определённой настойчивости можно вплотную приблизиться к определению этого свойства и найти слова, которые означают в точности то же, что означает слово «мир» в его метафорическом употреблении. Но самое главное заключается не в том, чтобы найти такие слова, а чтобы «схватить», по мнению Д. Дэвидсона, метафорическое значение [Davidson, 1990].

В приведённом примере при анализе метафорических значений номинационные процессы происходят в сфере сравнений, и в метафорах отражается уподобление внешнему миру: в данной метафоре предикат *to be apart* выражает партитивное отношение между двумя людьми, которые не жили вместе как муж и жена, как супружеская пара (единое целое). Хотя, имея совместного ребёнка, любя друг друга в течение многих лет, они жили каждый своими интересами, своими мирами, разным отношением к жизни, работали абсолютно в противоположных сферах деятельности (прокурор и профессиональная высокооплачиваемая путана, имеющая своё агентство). Все это и вынудило её не информировать его о рождении дочери и не допускать ребёнка к отцу, более того, скрывать имя отца от общественности. Они были далеки друг от друга не только территориально, но и мысленно. Таким образом, партитивный предикат выражает отношение между неидентичными мирами двух людей, здесь сравниваются два разных мира.

В задачу этой части исследования входит показать, что выступает в качестве исходной базы при формировании и декодировании метафорических значений. Анализ проводится на принципах когнитивного подхода, исходящего из опоры когниции и номинации на соответствующие образы восприятия наблюдателя («observer») — основного «игрока» когниции. Предстоит дока-

зать, сохраняются ли когнитивные образы, лежащие в основе номинативно-непроизводных значений при осмыслении метафоры:

«We were worlds apart». В основе метафоры лежит уподобление разным мирам (социальный слой, интересы) -> сравнение на основе функции. Толковать это различие можно на базе номинативно-непроизводного значения, которое сохраняется в процессе актуализации этого лексико-семантического варианта. Образующийся переносный смысл — это результат наложения системного номинативно-непроизводного значения на актуальные речевые ситуации, отличающиеся от «системных» — «we were worlds apart, because we lived differently, followed different ways, had different ideas, customs and habits». Образ первичного значения *to be apart* (быть отдельным от целого), т. е. его интенционал, полностью сохраняется в метафорическом значении.

Итак, очень коротко по взглядам Д. Дэвидсона обрисовано, каким образом концепт значения мог проникнуть в анализ метафоры: поскольку то, о чём мы думаем, как о разнообразных сходствах, сопрягается в нашем сознании с тем, о чём мы думаем, как о разных значениях, то совершенно естественно рождается мысль, что необычные или метафорические значения могут помочь объяснить те сходства, которые выдвигает метафора.

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: семантический перенос есть универсальное фундаментальное явление, охватывающее всю систему языка. С одной стороны, переносные значения не являются результатом объективного отражения реального мира; метафоры не отражают объективные связи, а создают связи, которые носят субъективный характер. С другой стороны, переносные значения, в частности метафоры, являются средством «активизации ассоциаций». При актуализации слова образ формы ассоциируется только с одним значением на уровне системы языка. Поэтому на уровне речи слушающий связывает тот смысл с образом формы, который, с его точки зрения, соответствует системному (конвенциональному) значению, с одних позиций, и речевому и языковому контексту, с других.

* * *

АРУТЮНОВА Н. Д., 1999. Язык и мир человека. «Языки русской культуры». I–XV, 1 ил. М.

АРХИПОВ И. К., 2000. Природа и диапазон семантического варьирования слова: к проблемам прототипической семантики // Современные проблемы теории языка: Сб. ст., посвященный юбилею заслуженного деятеля науки, д-ра филол. наук М. В. Никитина. РГПУ. СПб.

АРХИПОВ И. К., 2001. Когнитивный и логический анализ в лексикографической практике // Человеческий фактор в языке. Учебно-методическое пособие (Материалы к спецкурсу). СПб.

АРХИПОВ И. К., 2004. Коммуникативный цейтнот и прототипическая семантика // Известия РГПУ им. А. И. Герцена N 4 (7). РГПУ. СПб.

БЛЭК М., 1990. Метафора // Теория метафоры / Сост. и вступит. ст. Н.Д. Арутюновой. М.

ГАК В. Г., 1977. О семантическом инварианте и синонимии предложения // Сб. научн. тр. МГПИИЯ им. М. Тореца. — Вып. 112. — Изд-во МГПИИЯ. М.

ЛАКОФФ ДЖ. ДЖОНСОН М., 2004. Метафоры, которыми мы живём: Пер. с англ. / Под ред. И с предисл. А. Н. Баранова. Едиториал УРСС. М.

НИКИТИН М. В., 2003. Основания когнитивной семантики: Учебное пособие. Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. СПб.

ПАДУЧЕВА Е. В., 2004. Динамические модели в семантике лексики. Языки славянской культуры. М.

ЩЕРБА Л. В., 1974. Языковая система и речевая деятельность. Наука. Л.

DAVIDSON D., 1990. What metaphors mean // The Philosophy of Language.— Oxford: Oxford University Press. N.Y.

LAKOFF D., 1990. The Invariance Hypothesis: Is abstract reason based on image-schemes? // Cognitive Linguistics— Vol. 1, N 1.

STERN D., 2000. Meaning and change of meaning. Goteborg.

SEARLE J.R., 1990. Metaphor // The Philosophy of Language. Oxford: Oxford University Press. N.Y.

Источники и принятые сокращения

ROBBINS H. 79, 1977. Park Avenue. — New York.

Т. А. Клепикова

ИМПЛИЦИТНАЯ ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ: A CLAIM ON DISCLAIMING

В настоящей статье анализируется механизм формирования и распознавания смысла высказывания в имплицитно перформативных синтаксических конструкциях с такими глаголами речи, как brag, boast, insinuate, imply, hint, threaten: I am not bragging, but.../ I don't want to threaten you, but...(я не хвастаюсь, но...; я не хочу угрожать Вам, но...). Например: **I don't want to threaten you but you've forced me into a corner** (BNC/ G1W 2203).

Перформативность как способность некоторых дескрипций осуществлять в реальности описываемую ситуацию, является одним из наиболее интригующих типов отношений между содержанием речи, мысли, восприятия и «реальным» миром. Изначально основным средством выражения перформативности считался глагол [Austin, 1965; Leech, 1983; Searle, 1989]. Дальнейшее развитие теории перформативного анализа показало, что сведение перформативности только к своего рода застывшим, фиксированным, универсальным высказываниям (Я клянусь..., я обещаю...) не соответствует цели более глубокого анализа реальной коммуникации. Соответственно, понятие перформативного глагола было транспонировано на предложение — перформативность стали исследовать как феномен уровня предложения или клаузы [Allan, 1999: 291]. Действительно, перформативность, не закрепленная ни за одним уровнем языка, представляет собой результат сложного взаимодействия этих уровней, в первую очередь — лексического, синтаксического и прагматического [Воейкова, 1996: 158]. В частности, интерес представляет анализ прагматических аспектов грамматического поведения глаголов языкового действия, возможностей языка в плане передаче скрытой перформативности [Verschuere, 1999: 349].

Одним из горячо дебатированных в лингвистике проблем является вопрос о том, почему некоторые речеактные глаголы (например, to order, to promise) могут быть использованы перформативно, то есть выполнять обозначаемое действие (как, например, I order you to leave the room), а другие — нет (например, to

lie, to threaten, hint, brag). Семантика глаголов threaten, boast, brag, hint выражает определенный речевой акт (угроза, хвастовство, намек), однако эксплицитно маркировать указанные речевые акты (быть использованными в качестве перформативов) они не могут. Перформативное употребление таких глаголов, как blame, accuse, condemn ограничено определенными контекстами: 1) институциональными — они допустимы только для говорящего, обладающего правом обвинения (прокурор, судья и под), 2) риторическими — когда говорящего нельзя призвать к ответу за клевету, диффамацию и пр. (Я обвиняю/осуждаю расизм/капитализм/лень/вседозволенность...и т.п.). В общем случае употребление глаголов threaten, hint, lie, allege, brag в предложении в форме первого лица (ед. или мн. числа) в настоящем времени — что типично для перформативных глаголов — невозможно: это привело бы к так называемому «иллокутивному самоубийству» [Вендлер, 1985]. Так, невозможно высказывание *I hereby brag that xxx. В коммуникативной практике речевые акты угрозы, намека, хвастовства выражаются имплицитно, при помощи иных перформативных глаголов. Например, речевой акт угрозы может быть выражен при помощи глаголов promise, warn:

“Now, every time you lie to me or prove difficult, we’re going to break a finger, and then next time you’ll lose a tooth --; **I promise you** (BNC/EVG 1179).

I allow you to stay in my home because of Lizzy, but **I warn you** now, Dan, if you try and interfere in my life, I’ll have you out the front door so fast you’ll burn a hole in the carpet (BNC/FAB 2142).

Дж. Серль полагает, что в семантике глаголов, не употребляемых перформативно, присутствует ряд компонентов, которые блокируют перформативность. Например, признак косвенности, входящий в семантику глагола hint, явно находится в конфликте с непосредственностью перформативного использования глаголов [Searle, 1989: 537]. Дж. Фершурен полагает, что перформативно используемый глагол употребляется только в высказывании, обладающем свойством автореференции, то есть только в случае «нулевого» расстояния между действием и его описанием. Такого рода дистанция возникает автоматически, когда в семантике глагола присутствует оценочный компонент [Verschueren, 1999: 349].

Рассмотрим, в частности, семантику глагола threaten. Действия такого рода, как угрозы не считаются приемлемыми с точки зрения норм социального поведения, соответственно, в их семантике присутствует негативно-оценочный модусный компонент, что создает дистанцию между актом и его описанием, закрепляя «дескриптивность» глагольного слова. Эксплицитное выражение угрозы как иллокутивной силы не конвенционализируется. Негативная оценочность глагола подавляет и сочетаемость с глаголами намерения совершения действия (wish, want). Соответственно, появление данных глаголов в подобного рода структурах должно быть прагматически оправданным. Рассмотрим механизм формирования смысла в таких высказываниях с точки зрения эксплицитной и имплицитной перформативности, эвфемизации и маскировки выражения иллокутивной силы высказывания.

Особенностью речевых актов является то, что одно-однозначного соответствия между иллокутивной силой высказывания и отдельным высказыванием не существует, поскольку есть много способов совершения одного и того же речевого акта. Существенным моментом представляется разграничение между эксплицитными и имплицитными речевыми актами. Эксплицитные речевые акты достаточно ясно и четко выражают иллокутивную силу высказывания и включают соответствующий перформативный глагол — глагол, называющий (в определенном контексте) и тем самым совершающий речевой акт. Например, пообещать закрыть дверь можно, просто сказав: ‘I promise to shut the door’.

Распознавание речевого акта в целом не является проблемой для таких случаев. В то же время использование перформативных глаголов не является частотным. Вместо этого говорящие прибегают к имплицитным речевым актам, то есть к таким высказываниям, которые не содержат перформативный глагол, именуемый собственно иллокутивную силу. Например, эксплицитные иллокутивные акты ‘I promise to do it’ и ‘I forbid you to do it’ могут быть выражены также и имплицитно при помощи таких высказываний, как ‘I guarantee that I’ll have it finished tomorrow’ и ‘You are not allowed to do it again’, не содержащих перформативный глагол promise/forbid. Как отмечают исследователи, имплицитные речевые акты более частотны [Holgraves, 2005: 2025].

Социально неприемлемая эксплицитная маркировка речевого акта угрозы, намека, хвастовства заменяется на разного рода скрытые перформативные высказывания — не только при использовании перформативного глагола с нейтральной семантикой (threaten → promise, warn, say; boast, brag → say, claim; condemn, accuse, blame → say), но и при помощи коммуникативных клише, эксплицитно отрицающие данного рода маркировку. В этом смысле близкими к имплицитной перформативности являются структуры с дисклеймерами (disclaimers) — средствами «снятия» возможной маркировки речевого акта (к сожалению, удачного русскоязычного термина на сегодняшний день пока нет).

Рассмотрим следующий пример употребления глагола в подобной конструкции.

President George Bush said: “I don’t know what Saddam’s doing, but he’s made a big mistake. “We are not **threatening** anybody, but we must enforce UN resolutions” (BNC/CBE).

В структуре, выполняющей роль дисклеймера (We are not **threatening** anybody, but...), глагол threaten употреблен в форме настоящего времени (Continuous), с субъектом первого лица (что аналогично перформативному употреблению глагола), но в отрицании, что формально «снимает» маркировку речевого акта как угрозы. При этом последующая пропозиция, вводимая разделительным союзом but, показывает, что фактически, мы имеем дело с актом угрозы, но «замаскированным» некоторым обоснованием (we must enforce UN resolutions).

Снимая через отрицание маркировку речевого акта, конструкции-дисклеймеры помогают говорящему «сохранить лицо», не запятнав себя социально осуждаемым речевым действием. В то же время прагматическое дистанцирование говорящего от возможной трактовки своего высказывания в негативно-оценочном ключе характеризуется как эвфемизация угрозы, своего рода маскировка иллокутивной силы высказывания. С этой точки зрения, данные конструкции могут рассматриваться и как речевой акт «ложного заявления», поскольку парадоксальным образом отрицание имплицитно утверждает [Meibauer, 2005].

Подобного рода употребление речеактивных глаголов с негативными коннотациями конвенционально закреплено за структурой: I am not V-ing..., but..., что позволяет говорить о появ-

лении определенного коммуникативного клише, выражающего прагматическую функцию «снятия маркировки речевого акта» (disclaiming) или его эвфемизации. В следующих примерах в таких конструкциях употреблены глаголы brag, blame, accuse:

I’m not **bragging**, but by the time I really started to look for Carol Flaxman I knew it would be a matter of hours rather than days (BNC/HW8).

“We had a chance to correct the Cuba situation,” said Thomas O’Grady, an Illinois railroad switchman. “But we lost it. **I’m not blaming Kennedy**, but hell, we’ve got to do something before things get out of hand down there” (Time / ‘Two Big Issues’ / 1962.10.26).

I’m not accusing all judges of being, inherently, you know, nutty, or, whatever, **but**, the number of cases that have come to light in the last few years, (...) suggest that (BNC/ KGR 442).

Отметим, что значение дисклеймера возможно только в рамках сложносочиненной конструкции с союзом but. Содержанием пропозиции, вводимой данным союзом, является в общем случае обоснование того, почему говорящий склонен фактически маркировать иллокутивную силу высказывания как угрозу, обвинение, хвастовство. В ином синтаксическом контексте употребление глагола даже с субъектом в первом лице ед.ч., в отрицании и в той же грамматической форме имеет другой смысл. Сравним два примера:

(1) “So you understand me better than I understand myself. Is that it?” she demanded. “No,” he sighed thickly, “I’m not claiming to understand you. I’m too busy trying to work out why I don’t understand myself. That’s the problem” (BNC/H9H).

(2) **I am not claiming** it is my doing, **but** I have had a hand in the fact that four years ago and two years ago and again this year we have had exhibitions by living sculptors (BNC/EBV).

В первом случае утверждение говорящего (**I’m not claiming** to understand you — ‘я и не утверждаю, что понимаю тебя’) не снимается последующим контекстом. Во втором случае исходная пропозиция (**I am not claiming** it is my doing — ‘я не утверждаю, что все это сделал я’) подавляется последующим контекстом (**but** I have had a hand in the fact that four years ago and two years ago and again this year we have had exhibitions by living

sculptors — ‘но в том, что уже третий раз подряд устраиваются выставки... — есть моя заслуга’).

В дискурсе возможно одновременное выражение двух противопоставляемых интерпретаций — маскируемого речевого акта и маскировочной трактовки. Соположение двух интерпретаций в рамках одного дискурсивного отрывка входит в намерение говорящего — дать понять, что на самом деле имеется в виду. Рассмотрим следующий пример:

An unofficial party auxiliary, the C.I.O. Political Action Committee, reported that it was keeping a record of how much time Dwight Eisenhower spends golfing and fishing. **“We are not implying any criticism or any suggestion that he isn’t working hard enough,”** a spokesman explained. «All we’re interested in is results. We’re just keeping track of this» (Time / Don’t Let Them Give It Away / 1953.12.25).

Представитель некоторого неофициального партийного комитета, сообщая о деятельности данного органа, обосновывает необходимость фиксации «рабочего дня» Дуайта Эйзенхауера (сколько времени он проводит на поле для гольфа или на рыбалке) стремлением «просто фиксировать события» (We’re just keeping track of this), и не продиктовано намерением дать понять, что «он работает недостаточно хорошо» (We are not implying any criticism or any suggestion that he isn’t working hard enough). Тем не менее, подобного рода заявление можно считать примером doubletalk — демагогической речи, когда, отрицая некоторую пропозицию, тем самым утверждают её.

Такого рода «эвфемизация» достаточно широко распространена в коммуникативной практике и закрепились в качестве риторического приема. Иллюстрацией этому служат следующие примеры:

We may well express our enlightened horror at such ideas. For my part **I am not condemning, I am illustrating the fact** that the Christian symbiosis between nature and humankind, expressed so well in the Bible, has from time to time been replaced by man’s domination of nature with disastrous consequences for both (BNC/ABV). В этом примере речевой акт осуждения «снимается», вместо этого предлагается трактовка «иллюстрации факта».

These two new clauses are important, and the Government should be able to accept them, because they would ensure a right to independent legal advice and a choice of that advice. **I am not**

condemning the United Kingdom Immigrants Advisory Service or the people who work in it. **I am saying that**, as an organisation, it can not cope with the work it has to do at the present time (BNC/ННХ). Вновь, как и в предыдущем примере, речевой акт осуждения маскируется фразой «я просто говорю, что...».

Последующий контекст часто фиксирует факт того, что речевой акт в его истинной интерпретации, состоялся:

After charging that Reagan was at variance with the arms-control philosophy of every President since Harry Truman, he (J. Carter) added: “I don’t want to be misunderstood. I’m not **insinuating** that my opponent is for war and against peace.” Nevertheless, the **innuendo** was there (Time/ ‘Throwing High and Inside’ / 1980.09.29).

Употребление Дж. Картером «дисклеймера» в высказывании (I’m not **insinuating** that my opponent is for war and against peace”), тем не менее, сыграло обратный эффект: намек был сделан, и у всех слушателей сложилось именно такое впечатление (the innuendo was there), что отсутствие четкой концепции в области контроля над вооружением у Р. Рейгана есть свидетельство его промилитаристских устремлений. Являясь существительным абстрактной семантики, своего рода «концептуальной оболочкой пропозиции» [Клепикова, 2007], чье значение определяется контекстом, innuendo требует восполнения в виде сентенциального комплемента, и это происходит на основе анафорической связи — существительное innuendo соотносится с пропозицией [that my opponent is for war and against peace].

Роль дисклеймера могут выполнять и структуры с глаголами want/wish (или их номинализациями) в отрицательной форме индикатива с теми же самыми глаголами:

“I don’t want to complain, Denholm, but you do rather tend to complicate matters” (BNC/CKC).

“I don’t want to boast,” he said, **“but I’ve forgotten more about the waterfront than they ever knew”** (Time / ‘Harry’s Day in Court’ / 1950.02.27).

I don’t want to brag but we in Minneapolis have speakeasies that compare with any in New York, Chicago or Washington. Why, we point to our speakeasies with pride, just like we point to our symphony orchestra, flour mills and lakes (Time / ‘Minneapolis Speakeasies’ / 1930.03.17).

Для глаголов желания характерно употребление в составе показателей иллокутивной силы высказываний, и в этом случае составной показатель выполняет ту же самую функцию, что и собственно глагол-маркер иллокутивной силы: I want to promise... = I promise; I want to remind... = I remind. Однако при отрицании возникает, по выражению И.Б. Шатуновского, «хитрый» прагматический контекст (импликатура): Не хочу винить ... = Не виню, потому что не хочу (а следовало бы) [Шатуновский, 1989: 184].

Анализ реальной коммуникативной практики требует серьезного внимания к случаям выражения имплицитной перформативности, поскольку корректное декодирование означает успешность коммуникации. Во многих случаях имплицитная перформативность есть языковое манипулирование сознанием, тенденциозное представление действительности что свойственно эвфемистическому использованию языка. Рассмотренные структуры выполняют важную прагматическую функцию «двойного маркирования» иллокутивной силы высказывания. Их нельзя рассматривать только как маркеры вежливости или риторические фигуры: они далеко не так безобидны. Манипулирование угрозами, намеками, предположениями является важным компонентом речевой коммуникации как социальной интеракции в целом. Неслучайно данные контексты стали предметом исследования в рамках одного из направлений дискурсивного анализа, исследующего употребление языка в юридической сфере (forensic linguistics), а использование лингвистической экспертизы в ходе судебных расследований дел о клевете, диффамации, вербальном терроре становится общепринятой практикой [Shuy, 2001: 443].

* * *

ВЕНДЛЕР З., 1985. Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике: Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М.

ВОЕЙКОВА М.Д., 1996. Категориальные признаки перформативных высказываний в русском языке // Межкатегориальные связи в грамматике. СПб.

КЛЕПИКОВА Т.А., 2007. Ономазиологическая функция имен абстрактных объектов // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. Докторские тетради. 2007.

ШАТУНОВСКИЙ И.Б., 1989. Пропозициональные установки: воля и желание // Логический анализ языка. Проблемы интенциональных и прагматических контекстов. М.

ALLAN K., 1999. Performative Clauses // Concise encyclopedia of grammatical categories / Ed. by K. Brown, J. Miller. Amsterdam et al.

AUSTIN J.R., 1965. How to Do Things with Words. Oxford.

HOLTGRAVES T., 2005. The production and perception of implicit performatives // Journal of Pragmatics. Vol. 37.

LEECH G.N., 1983. Principles of Pragmatics. L., NY.

MEIBAUER J., 2005. Lying and falsely implicating // Journal of Pragmatics. Vol. 37.

SEARLE J.R., 1989. How Performatives Work // Language and Philosophy. Vol. 12.

SHUY R., 2001. W. Discourse Analysis in the Legal Context // The Handbook of Discourse Analysis / Ed. by D. Schiffrin, D. Tannen, H.E. Hamilton. Oxford.

VERSCHUEREN J., 1999. Speech Act Verbs // Concise encyclopedia of grammatical categories / Ed. by K. Brown, J. Miller. Amsterdam et al.

Источники и принятые сокращения

BNC/ ... British National Corpus — электронный ресурс. Режим доступа:

<http://www.natcorp.ox.ac.uk>; <http://corpus.bye.edu/bnc/>

Time /... Time Magazine

Е. А. Пескова

О КАТЕГОРИИ РОДА СЛОВА AMOUR (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕЦИОЗНОГО СТИЛЯ)

Данная статья посвящена вопросу грамматического оформления слова amour в прециозном стиле, которое употреблялось как в муж., так и в жен. роде. Любовь в прециозном стиле понимается, прежде всего, в духе неоплатонизма: любовь как духовная, интеллектуальная близость, а ее плотская сторона, если и не отрицается совершенно, то отодвигается в далекое будущее, которого возможно достичь лишь терпеливым и почтительным ухаживанием.

В учебнике о любви анонимного автора Manuel d'amour (1601), посвященном абстрактным рассуждениям о любви и спорам о духовной и телесной сторонах любви, говорится, что все телесное брэнно, телесная любовь кратковременна: Les choses corporelles s'ont perissables, & rien n'est icy bas si solide, qui ne porte en sa substance quelque image du changement: ainsi l'amour corporel ne peut estre de durée, puisque son fondement est niabile. — Estant composé des deux natures, il est malaisé d'estre tout spirituel, mais le terme d'un amour est assez long qui ne finit qu'au sepulchre. — Mais c'est un sepulchre d'amour, & non pas celui de la vie, car bien souvent aux affections on rencontre aussi tost le tombeau que le berceau (Manuel d'amour, p.5).

Возвышенность, утонченность, аффектированность любви выражается на лексическом уровне, например, у Мадлен де Скюдери в романе «Великий Кир» главный персонаж, рассуждая о своей любви, относит ее к самым высшим чувствам, не сравнимым ни с чем другим: Car enfin, adjousta t'il, quoy qu'il ne fust pas aimé, il estoit Amant; et l'amour est tellement au dessus de tous les sentimens, que la Nature, la Raison, et l'Amitié peuvent donner, qu'il n'y a nulle comparaison d'elle aux autres. (Scudery, Grand Cyrus, p. 54, livre 1.).

Слово amour как языковая единица служит для выражения сильного чувства привязанности и имеет следующие грамматические характеристики.

Во французском академическом словаре [DAF, 1694: 22] нормативным считается употребление:

1. Сущ. amour (ед. ч. в муж. роде и в жен. роде) означает чувства того, кто любит, страсть, которую испытывают к объекту, расценивается как благо.

'Amour. s. m. & f. Sentimens de celui qui aime. Affection qu'on a pour un objet que l'on considere comme un bien. Un bel Amour. une Amour folle'.

2. Сущ. amour (мн. ч. всегда жен. рода) означает только страсть влюбленных.

'Amours au pluriel. Il est tousjours feminin, & ne se dit que de la passion des amans. Les ardentés Amours. les folles Amours'.

3. Сущ. amour может иметь как активное значение, так и пассивное, слово равно означает любовь тех, кто любит и любовь тех, кто любим.

'L'Amour des peuples, l'Amour des peres. C'est a dire, L'Amour qui est dans les peuples, qui est dans les peres. Il signifie également l'Amour par lequel on aime, & l'Amour par lequel on est aimé. C'est ce qu'on appelle en grammaire avoir la signification active & passive, estre pris activement & passivement'.

4. Сущ. amour иногда употребляют в жен. роде в ед. числе, особенно в прозе, поскольку оно используется для выражения страсти мужчины к женщине и женщины к мужчине:

'Lorsque le mot d'Amour est pris pour la passion d'un homme pour une femme, & d'une femme pour un homme, on le fait quelquefois feminin au singulier, sur tout en Poësie'.

В словаре Nicot Thresor de la langue françoise [Nicot, 1606: 32] нормативным считается употребление слова amour в муж. роде:

'Amour, m. Est l'affection passionnée qu'on porte à quelque femme, si qu'il signifie chose de plus vehemente impression d'esprit que ce mot Amitié le plus souvent'.

Словарь Jean-François Féraud Dictionnaire critique de la langue française [Féraud, 1787: 102] также закрепляет норму муж. рода в ед. ч., и жен. рода во мн. ч. и указывает на возможное употребление в муж. роде во мн. ч. в поэзии.

'AMOUR, s. m. [A-mour.] Attachement a ce qui est ou qui paraît aimable. — Il est masc. au sing. et fém. au pluriel: Amour paternel,

maternel; **Amour** filial, conjugal; éternelles **Amours**; ses premières Amours. — Les Poètes le font quelquefois masc. au pluriel’.

Мы видим, что в словарях колебания в роде объясняются семантикой слова amour.

В прециозном стиле слово amour в жен. роде встречаем в ед. ч. и во мн.ч., как в поэзии, так и в прозе. Например, О. д’Юрфе в своем пасторальном романе «Астрея» (H. d’Urfé, L’Astrée, 1584–1627) использует слово amour в женском роде (показателем жен. рода является неопределенный артикль жен. рода **une** и форма прилагательного **infeconde**), в первую очередь, в стансах, которые вставлены в роман:

Ainsi quand le soucy **d’une amour infeconde**

Se conforme aux rayons du grand astre du monde (Urfé, L’Astrée, p. 76).

В данном словосочетании **Amour infeconde** ‘бесплодная любовь’ семантика прилагательного-эпитета связана с женским началом, что объясняет тяготение к жен. роду у слова amour.

Слово amour также встречается в жен. роде и в прозаических фразах, где показателем рода выступает форма прилагательного:

A peine avoient elles passé entierement les dernieres maisons, qu’elles apperceurent Silvandre, qui sous la faincte recherche de Diane, commençoit à ressentir une amour naissante et véritable; (Urfé, L’Astrée, p.76).

Такие характеристики как **naissante, veritable** ‘рождающая, правдивая’ также указывают на женскую сущность любви, что влияет на выбор грамматической формы слова amour.

Мадлен де Скюдери смело употребляет слово amour в жен. роде в прозаическом романе «Артамен или Великий Кир» (M. de Scudery, Artamine ou le Grand Cyrus, 1653–1656): Ce n’est pas, ô illustre Princesse, s’escrioit-il, que vous ayez eu raison de me faire cacher mon amour, comme **une amour criminelle** (Scudery, Grand Cyrus, p.29), хотя в данном случае нет семантической привязки к женской сфере ‘криминальная любовь’.

В ходе анализа произведений прециозного стиля были выявлены следующие закономерности: Из 950 примеров всего 117 единиц (12,3%) представляют колебания рода (т.е. слово употреблено либо в муж. р., либо в жен. р.), тогда как у 833 единиц (87,7%) род остается неясен.

1. колебания рода, род определен (есть точные указатели рода): слово употребляется как в мужском роде в единственном числе, так и в женском роде ед.ч., имея при этом конкретные показатели:

- употребление с неопределенным артиклем муж. р. (un) или жен. р. (une):

1. il n’en y avoit point qui sceust la bonne volonté qu’elle luy portoit, et encore que l’on cogneut bien que ceste perte l’affligeoit, si l’attribuoit-on plustost a un bon naturel, qu’a un amour [tant profite la bonne opinion que l’on a d’une personne].(Urfé, L’Astrée, p.22).

2. mais je suis pourtant persuadé **qu’une amour** qui n’a pas un commencement si subit, et qui est devancée par une grande estime, et mesme par beaucoup d’admiration, est plus forte, et plus solide, que celle qui naist en tumulte, sans sçavoir si la personne qu’on aime, a de la vertu, ny mesme de l’esprit :.... (Scudery, Clelie, p.198)

- употребление с неопределенным артиклем муж. р. и с прилагательным муж. р. (-l, -t, -eux, -d) или с неопределенным артиклем жен. р. и с прилагательным жен. р. (-elle, -te, -euse, -de):

1. Ouy, je le cheriray (puis qu’il te plaist ainsi)

D’un amour fraternel: mais qu’as-tu, mon soucy? (Boisrobert, Les Rivaux Amis, p. 515)

2. qui est enfin la plus veritable marque **d’une amour parfaite**. (Scudery, Clelie, p.221)

В данных предложениях выбор рода у слова amour объясняется семантикой прилагательных: ‘любовь братская’ **d’un amour fraternel**, определяет выбор муж. рода слова amour; ‘любовь совершенная’ **d’une amour parfaite** относится к женской любви.

- употребление с определенным артиклем ед. ч. (l’) и с прилагательным, указывающим род: муж. р. или жен. р.:

1. La Princesse mesme, sembla encore plus belle à l’amoureux Artamene, qu’elle n’avoit fait la premiere fois qu’il l’avoit veü : et comme **L’Amour est ingenieux** dans ses caprices ; il fit remarquer à mon Maistre, que Mandane prioit les Dieux avec plus de ferveur, et plus d’attention, qu’elle n’avoit fait l’autrefois ; (Scudery, Grand Cyrus, p.123)

В данном случае, слово Amour употреблено в муж. роде, на что указывает прилагательное ingenieux, в этом случае на себя обращает внимание орфография, слово Amour написано в заглавной

буквы, что приводит к ассоциации с образом Купидона — бога любви, в таком контексте слово употреблено в муж. роде.

2. Et puis, lors que **l'amour est innocente**, comme la sienne l'estoit, cette noble passion est plustost une vertu qu'une foiblesse : puis qu'elle porte l'ame aux grandes choses, et qu'elle est la source des actions (Scudery, Grand Cyrus, p.2).

• употребление в конструкции с существительным, определяющим род:

1. ce qui servit beaucoup à un dessein que **le Sieur De Saint Amour** bastit en un moment, et lequel il executa avec beaucoup d'heur. (Sorel, Les nouvelles françaises où se trouvent divers effets de l'amour et de la fortune, p.30)

2. **L' amour -coquet**, qui règne sur tous les peuples de ce pays, est un prince jeune, et qui ne vieillit jamais ; (Aubignac, La relation véritable du royaume de la coqueterie, p.312)

У каждого автора прослеживаются свои предпочтения в присвоении того или иного рода слову amour, например, Тристан Эрмит и Скюдери чаще употребляют данное слово в жен. роде, Мэйнар — в муж. роде (любовь-кокетство, любовь-победитель), у Сореля любовь представлена как Господин Священной Любви, что заставляет отдавать предпочтение муж. роду.

Колебания — 117 ед. (100%)		
показатели	Муж.р. (м.) — 74 ед. (63,3%)	Жен.р. (ф.) — 43 ед. (36,8%)
1.	Un amour — 5 ед.	Une amour — 1 ед.
2.	Un + Amour + Adj. (m) Un + Adj (f) + Amour — 6 ед.	Une + Amour + Adj (f), Une+Adj (f) +Amour — 17 ед.
3.	Adj. (m) — 25 ед. в конструкциях: L' +amour +Adj (m.), Amour+Adj (m), Le + Adj (m) + amour Pronom+ Amour+Adj (m.): Mon/Son/Ton+Amour+Adj (m) Nos+Amours +Adj (m)	Adj (f.) — 25 ед L'amour+Adj. (f.) La+Adj.(f.) +amour La — 1 ед. La plus tendre amour
4.	Amour+N (m) — 38 ед. Amour-vainqueur Amour-coquet Le Seieur de Saint Amour	—

2. род неясен (нет никаких показателей рода):

• употребление с притяжательными прилагательными mon/mes, ton/tes, son/ses, vostre/vos, nostre/nos, leur/leurs:

Enfin, je sens bien que je ne suis plus à moy mesme ; et que c'est en vain que ma Raison se veut opposer à **mon amour** (Scudery, Grand Cyrus, p.12).

• употребление с определенным артиклем без прилагательных:

L'amour a un caractère si particulier qu'on ne peut le cacher où il est, ni le feindre où il n'est pas (Sablé, Maximes, p. 13).

• употребление с указательным прилагательным cet:

Ce fut en ce temps qu'il reprit sa devise qu'il avoit portée durant tous ses voyages, d'une penne de geay, voulant signifier PEINE J'AY. De **cet amour** vint une tres-grande inimitié. (Urfé, L'Astrée, p. 63)

• употребление с неопределенным/определенным артиклями во мн.ч. без прилагательных:

Feraulas et moy y fusmes donc avec luy.....; et trouva qu'il y en avoit beaucoup davantage, pour cette Deesse **des amours**, que pour le Dieu de la Guerre. (Scudery, Grand Cyrus, p.124)

• употребление без артикля в структурах:

1. употребление с интенсификаторами: très, beaucoup d', tant d' + amour:

que ferais-je, hélas ! sans tant de haine, et sans **tant d'amour**, qui remplissent mon coeur ? (Guilleragues, Lettres portugaises, p. 67)

2. употребление с предлогами, не требующими артикля: avec, par + amour:

et qu'elle comble de felicité, ou accable de malheur, ceux qu'elle regarde **avec amour** ou avec haine; l'affligé Artamene, de qui la constance succomboit presque en cette occasion; se vit encore attaqué par un endroit assez sensible, puis qu'il s'agissoit de son honneur (Scudery, Grand Cyrus, p. 66)

Non, non, poursuivit il, Artamene est criminel: et soit **par amour**, ou par ambition, ou par tous les deux ensemble; il est coupable, et merite d'estre puni. (Scudery, Grand Cyrus, p. 73).

Показатели неясности рода 833 ед. (100%)	Процентные показатели
Mon/ton/nostre/vostre/ mes/tes/ses/vos/nos/leurs	17,6%
L'	36,01%
cet	0,7%
Des/ les	0,4 %
Без артикля	18,3%

Колебания в роде объясняются, с одной стороны, экстралингвистическими факторами: прециозность как социальное явление стремилось к эмансипации, в салонах прециозниц одним из основных вопросов обсуждения был вопрос о роли женщины, прециозницы выступали за утонченно женскую любовь, и поэтому слово *amour* должно было быть женского рода. Однако такое объяснение не вскрывает лингвистических механизмов существования данной языковой единицы, поэтому мы придерживаемся точки зрения Г. Гийома и его последователей [Л. М. Скредина, Л. А. Становая, R. Lafont, J. Moignet] на категорию рода, которая связывает ее со степенью активности существительного. Исходя из идеи активности и пассивности существительных, Г. Гийом разделяет существительные на активные мужского рода (большой степени активности) и женского рода (меньшей степени активности). Степень позволяет отделить имена активные мужские от имен активных женских. Род активных существительных — семантический и предполагает чередование форм: *tigre* (m) — *tigresse* (f), *berger* (m) — *bergère* (f). Род пассивных существительных — формальный, или семиологический, он не представлен чередованием форм.

Таким образом, грамматический род пассивных существительных зависит от их формы: если форма женская, то род — женский, если форма мужская, то род — мужской. Исследование существительных в старофранцузском языке привели Л. А. Становую [Stanovaia 2006] к выводу о том, что морфемой женского рода у старофранцузских существительных является конечная *-e*, а показателем мужского рода — нулевая морфема (\emptyset). Анали-

зируя функционирование слова *amour*, род которого в латинском языке был женский, а в старофранцузском начал колебаться, Л. А. Становая отмечает, что колебание рода в употреблении данного слова происходит именно из-за желания говорящего субъекта соотнести семантическую и морфологическую формы рода. Если слово *amour* понимается как активное существительное (например, при олицетворении), то нулевая морфема вызывает восприятие его как слова с большей степенью активности, поэтому слово мужского рода. Если же слово понимается как пассивное существительное, то его форма также соотносится с грамматическим мужским родом [Stanovaia, 2006: 770–771].

Чередование рода у слова *amour* в прециозном стиле не случайно, а скорее закономерно и имеет глубокий смысловой подтекст: слово *amour* употребляют в женском роде, когда при олицетворении *amour* мыслится как меньшая активность, что противостоит форме (это семантическое восприятие рода). Одним из морфологических средств придания слову *amour* большей выразительности является употребление слова *amour* в женском роде.

* * *

STANOVAĪA, 2006 — Stanovaia, L. A. Le genre en ancien français / L. A. Stanovaia // «Contez me tout». Mélanges de langue et de littérature médiévales offerts à Herman Braet. Réunis par C. Bel, P. Dumont, F. Willaert. — Louvain — Paris — Dudley, MA : Peeters, 2006. — p. 763–782.

DAF, 1694 — Dictionnaire de l'Académie françoise (en 2 vol.) — 1 éd. — Paris : Chez la Veuve de Jean Baptiste Coignard et Chez Jean Baptiste Coignard, M.DC. LXXXIV (1694). — Tome 1 : A-L. — P. 22.

NICOT, 1606 — Nicot, Thresor de la langue françoise tant ancienne que moderne / J. Nicot — Paris : Chez David Douceur, M. DC. VI (1606). — P.32

FERAUD, 1787 — Féraud, J.-F. Dictionnaire critique de la langue française / J.-F. Féraud. — Marseille: Chez Jean Mossy Pere et Fils, M.DCC.LXXXVII (1787). — Tome I : A-D. — P. 102.

О. Д. Прокопчик

СТРУКТУРА ОЦЕНКИ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНОЧНОГО ПРОЦЕССА

Задача настоящей статьи в том, чтобы уточнить с лингвистической точки зрения представления о структуре оценки и основных компонентах оценочного отношения.

Вопрос о том, что такое оценка, вставал и встает перед лингвистами всех времен. Воззрения философов, логиков, лингвистов подчинены разным исследовательским целям и касаются разных аспектов данного понятия.

Представленное в статье исследование лингвистического аспекта оценки и оценочного отношения проводится в опоре на работы М.В. Никитина [Никитин, 2000], Н.Д. Арутюновой [Арутюнова, 1988], Е.М. Вольф [Вольф, 1985], а также работы [Вендлер, 1981; Ивин, 1970; Стивинсон, 1985; Хэар, 1985; Halden, 1957; Perry, 1964; Wright, 1963 и др.], что позволяет не просто избежать ложных направлений в исследовании данной проблематики, но и определить структуру оценки и выявить основные элементы оценочного отношения.

Язык отражает мир с различных сторон. Прежде всего, в языке представлена объективная действительность, включая человека с его мыслями, чувствами и поступками. Но в языке отражается также взаимодействие действительности и человека в самых разных аспектах, одним из которых является — *оценочный аспект* — объективный мир рассматривается говорящим с точки зрения его ценностных ориентаций.

По мнению Е. М. Вольф, оценка, как семантическое понятие, подразумевает ценностный аспект значения языковых выражений, который может интерпретироваться как А — субъект оценки — считает, что Б — объект оценки — хороший или плохой [Вольф, 1985: 5].

Н. Д. Арутюнова рассматривает оценку как один из типов прагматического значения, то есть то значение, которое слово или высказывание приобретает в ситуации речи [Арутюнова, 1988: 7].

С точки зрения М.В. Никитина, оценка — это мыслительное действие, основанное на интуиции, с целью ориентировочно —

не точно, не достоверно (от догадки до убеждения) установить наличие признаков у вещей-денотатов, событий.

Результатом оценки является мнение (первичное, ориентировочное, приблизительное, неточное) о наличии качественных и количественных признаков вещей и о наличии самих вещей, событий в какой-то ситуации.

Оценка — важный момент в структуре отражательной деятельности сознания. Оценочная деятельность сознания — уровень интуитивно-ориентировочно-информационной обработки объектов, субъектом в поле его интересов для достижения достаточного знания об объекте [Никитин, 2000: 12].

М.В. Никитин также отмечает, что оценка и интуиция соотносятся как цель и метод мыслительного действия. Интуиция — порождает оценочные представления как в области когниции — объективированные знания, так и в области прагматики — субъективированные представления о мире, но в тоже время интуиция отличает ориентировочные оценочные представления (знания) от строгих рационально-логических (рассудочных, доказательность суждений, конкретный логический вывод) форм мышления.

Денотаты имен могут быть описаны с помощью разных признаков:

- **онтологических** — по признакам, свойствам, отношениям объектов действительности в среде их существования (простой по природе человек);
- **эпистемистических** — относительно процессов когниции/понимания, где человек выступает субъектом познания (простой/сложный; ясный/неясный);
- **прагматических и эмоциональных** — субъективная, эмоциональная оценка субъектов (хороший/плохой; приятный/неприятный);
- **репрезентационных** — относительно знаковой репрезентации денотатов (обозначенный, упомянутый, названный, указанный).

Оценка возможна на каждом из этих признаковых уровней. На всех из них, кроме прагматического, суждения могут быть как фактическими, так и оценочными, однако на прагматическом уровне ценностные суждения о признаках денотатов могут носить только оценочный характер. Таким образом, на прагматическом уровне оценка может быть двойной: как ценностный

признак у денотата — «он — хороший человек», так и модально-истинностный — признание истинности суждения — «он вроде бы хороший человек».

Что касается **оценочного отношения**, то оно, по мнению М.В. Никитина, представляет собой — ментальное отношение между субъектом и объектом когниции [Никитин, 2000: 14].

Субъект оценки может быть индивидуальным и коллективным.

В случае индивидуального субъекта, в оценке проявляются индивидуальные, личностные особенности человека. В случае коллективного субъекта, в оценке отражаются коллективно и общественно сложившиеся нормы и установки.

Объекты оценки весьма многообразны, могут быть единичными или представлены как класс, как часть и целое, как признак любого из уровней, но при оценке все предметы сводятся к ограниченному числу оценочных: модально-истинностных и ценностных утверждений. Помимо субъекта и объекта, в структуре оценочных отношений, М. В. Никитин выделяет такие компоненты, как: основание, модус, норматив и релятор оценки.

Рассмотрим вышеперечисленные элементы оценочного процесса более подробно.

Основание оценки — это та сторона или признак, который подвергается оценке (лежит в области онтологических, эпистемистических, прагматических и репрезентационных признаков денотатов).

Модус оценки — один из видов оценки, который определяет целью оценочного рассмотрения денотата. Этих целей может быть несколько:

1. ориентировочно установить вероятность наличия денотата или объекта в определенной ситуации — экзистенциальный модус оценки, например: там, вероятно, был обвал;
2. ориентировочно установить класс денотата — классификационный модус оценки, например: он, по-видимому, учитель;
3. ориентировочно идентифицировать денотат — идентификационный модус оценки, например: это, вероятно, был Петров;
4. ориентировочно установить наличие признака у денотата — квалификационный модус оценки, например: он, должно быть, спит;

5. ориентировочно установить количество денотатов и признаков — количественный модус оценки, например: их было, наверняка, немало;

6. ориентировочно установить прагматическую ценность, значимость денотата — качественная прагматическая оценка, например: басня хороша моралью;

7. ориентировочно установить меру прагматической ценности денотата — количественная прагматическая оценка, например: дела из рук вон плохи;

8. ориентировочно установить вероятность той или иной ценностной квалификации денотата — вероятностная квалификационная прагматическая оценка, например: басня, вроде бы, хороша моралью;

9. ориентировочно установить меру ценностного признака у денотата — вероятностная количественная прагматическая оценка, например: дела, вряд ли так уж, из рук вон плохи.

Нетрудно заметить, что оценочные модусы подразделяются на:

- 1) когнитивные (1-5) относятся к области объективированного знания;
- 2) прагматические (6-9) относятся к области субъективных, ценностных ориентаций субъекта;
- 3) вероятностные (модально-истинностные) (1-5, 8,9) связаны с модальностью возможности наличия тех или иных вещей, признаков в определенных обстоятельствах;
- 4) жесткие оценки (6,7) претендуют на истину по форме, по заявлению, не содержат истины (оценка по природе приближительна);
- 5) качественная оценка (1-4, 6,8) ориентировочно устанавливает качество денотатов (относит денотат к классу и устанавливает признаки);
- 6) количественная оценка (5,7) ориентировочно устанавливает количество денотатов и их признаки.

Норматив оценки — объект оценивается с точки зрения заранее заданного норматива:

- по шкале приблизительных количественных оценок и признаков;
- по шкале приблизительных оценок вероятности признаков денотатов;

- по шкале приблизительных оценок меры качества.
- *Релятор оценки*. Оценочные слова весьма многочисленны и разнообразны, в основе чего лежит многообразие оснований оценки — сторон и признаков денотатов, которые подвергаются оценке на разных уровнях). Основание оценки должно быть рассмотрено через призму оценочного отношения, только тогда оно получает ориентировочную квалификацию (оценочное мнение). Вне оценки денотат, его признаки, свойства и отношения, безотносительно к субъекту не имеют ориентировочную квалификацию. Оценочные предикаты формируются не извне, а изнутри — из субъекта.

Семантическая типология оценочных слов/значений начинается с разграничения и комбинаторики оценочных модусов/видов (когнитивных, прагматических, вероятностных, жестких, качественных и количественных).

Таким образом, релятор оценки:

- играет главную роль в диверсификации оценочных предикатов;
- это ментальный механизм отнесения представлений о денотате с их признаками — прагматическая обработка информации о денотате;
- действует в сфере ценностных представлений (на прагматическом уровне), соотнося основание оценки с одной из базисных ценностных сфер, составляющих ценностную структуру сознания;
- это переход от основания оценки, от объективированного знания о денотате к субъективированному ценностному представлению о денотате — от восприятия явления действительности в сферу коммуникации.

В целом оценочный процесс, по мнению М. В. Никитина, имеет иерархическую структуру. Начинаясь с ощущения и восприятия, он проходит начальную синкретическую стадию, где прагматические и когнитивные оценки слиты воедино, существуют как побуждение к оценке.

На этом этапе устанавливается предмет оценки, его релеванность, насколько он заслуживает внимания. Это значимостная стадия оценочного процесса предваряет оценку как результат. На следующей стадии происходит переход к собственно когни-

тивным (основания оценки) и прагматическим оценкам предметов, явлений, событий.

Такова общая картина структуры оценки и оценочных отношений, которая, конечно, требует дальнейшей, детальной разработки.

* * *

АРУТЮНОВА Н. Д., 1988. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт. М.

ВОЛЬФ Е. М., 1985. Функциональная семантика оценки. М.

НИКИТИН М. В., 2000. *Studia Linguistica* № 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка. СПб.

Н. А. Пузанова

**СТАНОВЛЕНИЕ СИНОНИМИИ
В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
(НА ПРИМЕРЕ ГЛАГОЛОВ)**

Синонимия и связанный с этим явлением круг проблем давно привлекали внимание лингвистической науки (см., напр., [Архипов, 2001; 2003; Болдырев, 2002; Зализняк, 2006; Зыкова, 2003]). Конфликт омонимов, способствовавший исчезновению из языка ряда слов и закреплению на их месте заимствований, может быть объяснен чисто лингвистическими причинами, а описание его природы и результатов позволит рассмотреть процесс становления синонимии в английском языке.

Обратимся к процессу закрепления в языке глаголов, имеющих общий с ушедшими омонимами, большинство из которых глаголов являются заимствованными. Данные лексемы имеют в своем составе тождественную глаголам-омонимам часть (как правило, корневую морфему), но отличаются от них префиксом. Ассимилированные глаголы сохраняют значение исчезнувшего омонима. Из выбранного нами материала описанный выше механизм является характерным для 4 омопар и 3 омогрупп (из 100 исследованных случаев). Рассмотрим проблему на конкретном материале:

Первая омопара: *heden*₁ “to behead” — *heden*₂ “to be concerned about”. Оба глагола исчезают из языка, а вместо первого члена омопары закрепляется глагол *to behead*, который имеет в своем составе омонимичный корень *head*, но отличается от ушедшего омонима приставкой *be-*.

Вторая омопара: *minnen*₁ “to remember, remind” — *minnen*₂ “to reduce, diminish”. Место данных глаголов в словарном составе языка занимают синонимы-заимствования *to remember, remind, reduce, diminish*.

Третья омопара: *barken*₁ “to tan” — *barken*₂ “to embark”. Вместо этих глаголов остаются заимствования *to tan* и *to embark*, причем в последнем явно прослеживается корневая морфема *bark*.

Четвертая омопара: *gelen*₁ “to linger” — *gelen*₂ “to congeal, to jell”. Омопара исчезает из языка, но лексема *congeal*, образован-

ная от французского глагола *congeler*, содержит корень *-geal*, который является омонимичным корню омонима *gelen*₂.

Пятая омогруппа содержит четыре глагола:

*Longen*₁ “страстно желать” — *longen*₂ “удлинять” — *longen*₃ “подходить” — *longen*₄ “принадлежать”.

Из данной группы остается только первый её член, имеющий в современном английском языке форму *to long* — “страстно желать чего-либо”. Значения двух других омонимов передаются заимствованиями, а значение глагола *longen*₄ “принадлежать” в современном английском языке передаётся глаголом *to belong*, который, имея общий с существовавшим омонимом компонент *-long*, отличается от него приставкой *be-*. Подобное отличие, можно полагать, и помогает ему закрепиться в языке.

Шестая омогруппа включает следующие глаголы: *lesen*₁ “to gather” — *lesen*₂ “to tell lies” — *lesen*₃ “to take a lease” — *lesen*₄ “to lose goods” — *lesen*₅ “to redeem, release”.

Результатом разрешения омонимии в данном примере является закрепление в языке глагола *to lease* (от *lesen*₁). Другие же омонимы вытесняются заимствованиями, при этом ассимиляции французского заимствования *release* “освобождать” способствует сходство его формы с омонимом *lesen*₅ с тем же значением.

Рассмотрение трех следующих примеров позволит нагляднее показать, как действовал механизм разрешения омонимии.

Механизм заимствования слова, имеющего общий структурный компонент, можно проследить на примере омонимичных глаголов *minnen*_{1,2}. В ср.-ан. период существовало два омонимичных глагола *minnen*. Глагол *minnen*₁, (от OI *minna*) имел следующие значения: 1) *to remember or think about (smth. or smb.), call to mind, recall*; 2) *to remind (smb.), remind (smb of smth.), urge*; 3) *to record or to report, say, tell*; 4) a. *to devise (smth. to be made)*, b) *to aim, to go*. От этого глагола были образованы существительное *minning* со значениями: 1) *remembrance, memory*; 2) *mention*; 3) *premonitory symptoms* и герундий *minning/e - the act of remembring*.

Омоним *minnen*₂ (от старофранцузского *minuer* и среднеанглийского прилагательного *minne*), означал “to reduce smth., diminish” и также имел производный от него герундий *minning*, означавший “reduction, loss”.

Оба глагола-омонима принадлежали к сильному типу спряжения, что значительно ослабляло их позиции в языке. Также отметим, что эти омонимы функционировали в языке наряду со следующими французскими заимствованиями:

— remembren (данный глагол имел производные remembrance, remembering). 1. to lead bear smth. in mind; 2. to refresh the the memory of; 3. to give an account, recount, mention.

— diminishen (являлся результатом контаминации глаголов diminuen - “to lessen” от старофранцузского (diminuer) и minishen, “to reduce”, от старофранцузского (miniser). У этого французского глагола были производные - прилагательное diminisheble и существительное diminishment.

— reducen (от старофранцузского reducier). 1. to lead back to virtue or correctness; restore; 2. bring back to a place or state; bring back (a season in due time); 3. to trace an argument to its source; 4. to change back.

Этот глагол занимал сильную позицию в языке, так как он являлся многозначным и имел несколько производных: существительные reducer, reducibility, прилагательные reducible и reducinge.

Если внимательно проанализировать семантическую структуру глагола minnen₁, то станет очевидным, что его первые два значения являются более близкими друг другу, чем два других, и не существует никакой связи между первым значением to remember — “вспоминать” и его последним (четвертым) значением “собираться идти”. Первые два значения to remember и to remind обладают общим компонентом - в основе описываемых ими действий лежит способность памяти хранить какую-либо информацию. Другие же значения глагола не имеют общего семантического компонента. Таким образом, семантическая структура глаголов minnen_{1,2} не может считаться целостной. Что касается глаголов-синонимов remembren, reminden и diminishen, то они многозначны, при этом все их словозначения связаны между собой, что делает их семантическую структуру более целостной, а общее содержание слова более специализированным. Позиция таких слов в связи с этим была достаточно прочной. Не выдержав с ними конкуренции, глаголы minnen_{1,2} уходят из языка.

Среднеанглийский глагол-омоним heden₁ “обезглавить” был образован от др.-ан. существительного hed и имел два антони-

мичных значения: 1. to behead (smb.) 2. a) to provide (smb.) an animal with a head, b) of a plant: to develop a head.

Глагол-омоним heden₂ «беспокоиться» был образован от др.-ан. глагола heden: a) to be concerned about, worry about; b) to take charge of; c) to arrange (smth.); d) to direct the attention, look, look at, observe.

Представляется интересным, что существительное head было связано семантически с обоими глаголами. Следует отметить, что уже в среднеанглийский период оно было чрезвычайно многозначным, что делало его позицию в языке прочной и, по нашему мнению, повлияло на закрепление в языке омонима heden₂ «беспокоиться»:

1. a) human or animal head; b) in phrases; c) in combinations;
2. an individual, a person;
3. the seat of the mind;
4. as equivalent to life;
5. ruler, king;
6. origin of a river or other water supply;
7. the upper end, top, summit;
8. either end of anything longer than it is broad;
9. misc. senses;
10. in surnames .

Что касается глагола heden₁, «обезглавить», то ослаблению его позиции в языке, а затем и исчезновению способствовали, на наш взгляд, следующие факторы: 1) наличие омонима; 2) антонимичность двух его значений; 3) существование в ср.-ан. период его синонима bihereden со значением — «to separate the head from». Данный глагол имел более сильную позицию благодаря уникальности своей формы. Вероятно именно поэтому глагол heden₁ «обезглавить» уходит из языка в результате конфликта омонимов, а вместо него закрепляется глагол behead.

Глагол-омоним heden₂ обретается в языке. Его семантическая структура в современном английском языке значительно расширяется и включает шесть значений: 1. to be in charge of, lead; 2. to be in the first or foremost position; 3. to aim, point; 4. to remove the head or top of; 5. to hit (a soccer ball); 6. to place a heading on.

Представляется, что на закрепление данного омонима и дальнейшее развитие его семантической структуры повлияло, как

отмечалось выше, многозначное существительное head “голова”. Сложное взаимодействие между омонимическими группами, их синонимами и различными однокоренными и производными словами является внутренним лингвистическим механизмом, способствующим разрешению омонимии и становлению на месте древнеанглийских омонимов французских и скандинавских заимствований.

* * *

АРХИПОВ И. К., 2001. Человеческий фактор в языке. Учебно-методическое пособие (Материалы к спецкурсу). СПб.

АРХИПОВ И. К., 2003. Концептуальная интеграция и «границы» лексического значения // Вопросы германской и романской филологии. Вып. 2. Учёные записки. Т. IX. Ленинградский гос. областной ун-т им. А. С. Пушкина. СПб.

БОЛДЫРЕВ Н. Н., 2002. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. ТГУ. Тамбов.

ЗАЛЯЗНЯК А. А., 2006. Многозначность в языке и способы её представления. Языки славянских культур. М.

ЗЫКОВА И. В., 2003. Лексикология современного английского языка. М.

Т. В. Радыгина

ОСОБЕННОСТИ ЭВФЕМИЗМОВ И ДИСФЕМИЗМОВ КАК РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ НАИМЕНОВАНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСХОДНОЙ НОМИНАЦИИ

Эвфемизмы и дисфемизмы являются довольно распространёнными средствами выражения в англоязычной прессе, активно апеллирующими к эмоциональной компоненте личности читателя. Эвфемизм — это лексическая единица, при помощи которой говорящий перефразирует табуированное в конкретной речевой ситуации слово (исходную номинацию) с целью нейтрализации негативного прагматического эффекта. Дисфемизм представляет собой слово-табу или перефразирующую его лексическую единицу, использование которой позволяет интенсифицировать негативный прагматический эффект.

Очевидно, что эвфемизмы и дисфемизмы активнее всего затрагивают эмоциональную сферу коммуникантов — в силу этого они обладают высоким потенциалом воздействия. Для обеспечения наибольшей эффективности такого рода воздействия используются различные психолингвистические закономерности, существующие в сознании адресанта и реципиента, которые реализуются различными способами формальной репрезентации эвфемизмов и дисфемизмов как результирующих наименований по отношению к исходной номинации.

Исходя из количественного соотношения единиц, составляющих исходное (ИН) и результирующее наименование (РН), все разновидности эвфемистических и дисфемистических замен можно свести к трём типам: развёртывание, свёртывание и эквивалентная замена.

1. При развёртывании результирующее наименование представляет собой более распространённое словосочетание по сравнению с исходным наименованием — словом или словосочетанием. Процесс эвфемистического развёртывания можно наглядно представить на следующих примерах: killing → servicing a target, elderly — senior citizen, refugee — asylum seeker, terrorist — freedom fighter; porno — adult material, и т. д. Многие дисфемизмы также появляются в результате развёртывания: fool — mad

imbecile; pair — gruesome twosome, a bad husband — bigoted, violent pig of a husband, thug — the world's biggest thug, и т. д. Развёртывание является наиболее распространённым видом эвфемистических и дисфемистических замен, так как изменение формальной структуры ведёт к семантическим изменениям, которые в одних случаях способствуют созданию смягчающего эффекта, а в других — усиливают негативный прагматический эффект.

Так при образовании эвфемизма в результате развёртывания возникает необходимость восприятия двух или более слов, что замедляет процесс актуализации значения всего выражения в целом, смещает акцент с восприятия негативного денотата. В случае если это выражение состоит из нейтральных или положительно заряженных слов (напр. *freedom fighter*), сознание реципиента отвлекается от негатива (*terrorist*), что в конечном итоге способствует нейтрализации негативного прагматического эффекта, который бы неизменно сопровождал употребление исходного наименования. Всё это позволяет рассматривать результирующее наименование как эвфемизм.

При развёртывании, когда результирующим наименованием является дисфемизм, задействованы иные механизмы манипулирования эмоциями адресата. В частности, развёртывание позволяет усилить пейоративное воздействие на адресата за счёт привлечения в состав результирующего наименования дополнительных негативно заряженных слов. Так, восприятие словосочетания *a bad husband* вызывает у адресата отрицательные эмоции, но негатив в данном случае не акцентируется адресантом. Что касается результирующего именованного *bigoted, violent pig of a husband*, то в данном случае употребление дополнительных пейоративов интенсифицирует негативный прагматический эффект высказывания, что даёт основания определять результирующее наименование как дисфемизм.

2. О свёртывании можно говорить в том случае, когда многокомпонентное исходное наименование заменяется на результирующее наименование, состоящее из меньшего количества слов или представляет собой аббревиатуру или сокращение исходного слова. Это наблюдается в некоторых эвфемизмах: *Mafia-style killings* → *termination*, *terrorist attack in the USA* → *September 11*, etc. Свёртывание является непродуктивным при образовании

дисфемизмов — таких примеров не обнаружено, и малопродуктивным в отношении эвфемизмов, используемых в газетном тексте. Небольшое количество эвфемизмов, представляющих собой свёртывание исходных наименований, может объясняться одной из психологических особенностей человека, согласно которой люди стремятся «завуалировать», смягчить трагическое или неприятное многословием, употреблением избыточного количества языковых средств, в результате чего рассредоточенность внимания при восприятии всех произносимых выражений позволяет отвлечься от негативного денотата.

С другой стороны, примеры свёртывания ИН, когда результирующее эвфемистическое переименование является аббревиатурой или сокращением, довольно многочисленны. Например: “*Tomb Raider babe Angelina Jolie reckons bondage can liven up your sex life. She said: “S&M sex can be misinterpreted as violence.”* [Sun 16.11.2006]; “*While she was in A&E, though, she asked to be tested for HIV and hepatitis.*” [Daily Telegraph 2.07.2006]; “*The union has drawn up a list of banned words and phrases including “pro” and “your mum’s a whore”* [Mirror 9.03.2005].

Использовании аббревиатур в качестве эвфемистических замен посвящено отдельное исследование Ю. В. Горшунова, в котором автор постулирует, что одной из главных причин существования аббревиации в языке является принцип эвфемизации и табуирования, который побуждает говорящего создать криптичное (конспиративное), этически приемлемое, психологически или эстетически привлекательное сокращение [Горшунов, 1999].

3. Третьей разновидностью эвфемистических и дисфемистических замен с точки зрения структурного соотношения между ИН и РН является эквивалентная замена. При эквивалентной замене поуровневая организация исходного и результирующего наименования сохраняется, количество составляющих не меняется или примерно совпадает. Это означает, что замена может происходить по одной из следующих схем. Первый вид замены: слово (ИН) → слово (РН), например: *death or injury* — *casualty*, *to lie* — *to err*, *breasts* — *gongs*, *to kill* — *to end*, и т. д.; и дисфемизмов: *meal* — *grub*, *parents* — *wrinklies*, и т. д. Второй вид замены: словосочетание (ИН) → словосочетание, предложение (РН), например, эвфемизмы: *illegal immigrant* - *illegal alien*; *aggressive*

inspections — passive monitoring; in prison — behind the bars; Life was full of problems — Life hasn't been a bed of roses и дисфемизмы: love story — a tawdry backstreet affair; I'm not talkative. — I do not assault my client with verbal diarrhea.

Особым способом формальной репрезентации характеризуются условные эвфемистические обозначения, заменяющие инвективную лексику. Эти эвфемистические обозначения образованы посредством изменения графического образа слова. В современном газетном тексте использование инвектив графически оформляется в виде первой и последних букв инвективной лексики, точек, звёздочек и т. п., например:

OK, it went *t*ts* up in Eurovision but ... Game Kate still rules the world [Daily Star, 6.03.2005];

Angry calls flooded in to BBC1 after millions of viewers saw Academy chief Richard "Strict Dick" Park mouth the word "*w***er*" at host Patrick Kielty and make an obscene sign. [Daily Express, 7.03.2005].

Подобные эвфемистические обозначения имеют место, как правило, в материалах массовой прессы, где стандарты использования языка менее строги, нежели в качественной прессе, а также проявляется повышенное внимание к деталям и словам, обеспечивающим ажиотажный спрос публики за счёт их запретного характера. Так, например, массовая пресса подробно цитирует реплики, содержащие большое количество инвективной лексики, оформленной в виде эвфемистических обозначений.

Shockingly, tonight's Prison Undercover — The Real Story found that falsifying forms and a blatant disregard for inmates was still rife. One officer is filmed saying: "See, it shouldn't be our *f***ing job to do this*. Since when did we become psychologists?" [Mirror, 9.03.2005].

"Cells are supposed to be checked for weapons, drugs and alcohol twice a day. But some guards are more interested in watching TV, saying: "Get to *f**** man." [Mirror, 9.03.2005].

Способ эвфемизации посредством замены нескольких букв инвективы графическими обозначениями представляет интерес с точки зрения того, по какой причине в языковом сознании такие замены воспринимаются как этически приемлемые. Эвфемистический эффект полных лексических единиц достигается

путём отвлечения сознания реципиента к ассоциату эвфемизма, актуализация значения которого не вызывает негатива или неловкости. Что касается вышеприведённых эвфемистических обозначений, то в данном случае эвфемистический эффект достигается иным способом. При восприятии не полного знака, а изменённой формы, нарушается полноценная двусторонняя связь формы и содержания языкового знака, - концепт, схваченный графически изменённым образом знака, не разворачивается в сознании реципиента, не является в полной мере представленным, происходит своего рода «ссылка» на концепт, его поверхностная актуализация. В результате слово (точнее его обозначение), актуализирующее концепт таким образом, воспринимается менее категорично. Это позволяет сделать вывод о том, что недостаточно полная актуализация негативно воспринимаемого концепта является одним из механизмов эвфемизации.

Таким образом, эвфемистический и дисфемистический прагматический эффект, обусловлен рядом закономерностей, отражающих взаимосвязь формы и содержания. В частности, механизм развёртывания эффективен как для эвфемизации (когда привлечение дополнительных структурных единиц затрудняет актуализацию негативно воспринимаемого концепта), так и для дисфемизации (когда привлечение дополнительных структурных единиц интенсифицирует актуализацию негативно воспринимаемого концепта). Свёртывание непродуктивно для образования дисфемизмов, так как не позволяет расширить пейоративное поле в сознании реципиента. По отношению к эвфемизмам свёртывание продуктивно при образовании аббревиатур и неполного графического оформления инвектив. Это связано с тем, что, если формальная репрезентация лексической единицы не получает стандартного способа выражения, актуализация негативно воспринимаемого концепта затруднена и не может быть реализована в полном объёме, что, в конечном итоге, приводит к некоторому снижению пейоративности.

* * *

ГОРШУНОВ Ю. В., 1999. Прагматика аббревиатуры. М.
КАЦЕВ А. М., 1988., Языковое табу и эвфемия. Л.
ЛЕОНТЬЕВ А. А., 1999. Психология общения. М.

И. Г. Серова

ГЕНДЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДВИЖЕНИЯ ЗА ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Движение за политическую корректность (Political Correctness или PC) в языке, в рамках которого осуществляется новая инициатива языкового реформирования, включает в себя борьбу против дискриминации по расовому, классовому и гендерному признаку (race-class-genderism). Это движение, сыгравшее заметную роль в жизни общества [Аринштейн 1996: 30], сформировалось во второй половине 70-х годов. Реформаторы не скрывали, что главное, чем следует руководствоваться в использовании новых форм, — это политические соображения. Поэтому они не ограничивались обсуждением языковых проблем в научных и публицистических сочинениях, а стремились добиться институализации своих инноваций, внедрения их в учебные программы университетов, в словари и прессу.

В 1972 году британские словари зарегистрировали слово sexism, определяемое как поведение, основанное на мнении, что члены одного из полов, обычно женщины, могут быть дискриминированы на том основании, что они недостаточно способны к умственной деятельности [CCED: 1521]. Словарь гендерных терминов трактует сексизм в языке как «гендерную асимметрию, воспроизводящую ущербность образа женщин в картине мира» [СГТ 232].

Для языкового реформирования сторонники движения за лингвистическую справедливость в американском и британском обществе воспользовались разными аргументами. Американская гендерная лингвистика активно воздействовала на коллективное сознание, и американское общество буквально захлестнула эта полемика, чем и объясняется отчасти радикализм некоторых феминистских идей. Заставив общество осознать проблему, феминисты подготовили его к поиску путей ее преодоления, действуя под лозунгами справедливости и равенства [Цурикова, 2001: 97]. В Британии ситуация сложилась иначе: изменения тяжело входили в британский вариант английского языка просто потому, что они пришли из Америки, а нелюбовь британцев ко всему американскому хорошо известна. Тем не менее, хорошей почвой

для распространения в массовом сознании идеи о необходимости решения проблем языковой дискриминации стало, с одной стороны, священное для британцев понятие честной игры (fair play), и с другой стороны, их терпимость к «чужакам» и любовь к самым разным проявлениям эксцентричности [там же].

В настоящее время некоторые лингвистические инновации имеют статус нормы для официальных документов, газет и электронных средств массовой информации. Инновации внедрены также в программы социальных наук в университетах и в школьные учебники, несмотря на ответную критику, инициаторы которой сравнивают эти и другие рекомендации с оруэлловским «новоязом» (Newspeak), неизбежно приводящим к появлению «новокульта» (Newcult).

Политически корректные языковые новообразования принято называть эвфемизмами, хотя круг явлений, сопутствующих гендерной языковой реформации, гораздо шире — он включает, наряду с эвфемией, дисфемию и неологию. Реконцептуализация (вторичная репрезентация) в этой области не сводится к вполне объяснимому стремлению к конструированию параллельных номинаций, повышающих самосознание дискриминируемых групп. Продолжением процесса эвфемизации в области формирования эгалитарного социального дискурса является языковая игра, призванная разоблачить, в случае с гендерными номинациями, андроцентричность языка.

Эвфемизмы определяются как эмоционально-нейтральные слова и выражения, употребляемые вместо синонимичных им слов и выражений, представляющихся говорящему неприличными, грубыми или нетактичными (от греч. «хорошо говорю»). Дисфемизм противопоставляется эвфемизму как замена эмоционально и стилистически нейтрального слова более грубым и пренебрежительным [БЭС, 1998: 690]. Информация о способах образования, функциональных особенностях и сферах употребления эвфемизмов изложена в работах таких авторов, как И. Р. Гальперин, А. М. Кацев, Л. П. Крысин, Б. А. Ларин, В. П. Москвин, Д. Болинджер, С. Видлак, Б. Уоррен и др. Однако механизмы переименования остаются малоизученными.

Учитывая наработки в этой области, представляется необходимым рассмотреть гендерный аспект языковой политики PC как лингвистическую манипуляцию гендерным знанием с пози-

ций когнитивной лингвистики. Механизм образования альтернативных концептуализаций может быть объяснен с точки зрения предложенных Р.Лэнекером схем форматирования. Р. Лэнекер [Langacker, 1991] постулирует положение о том, что значение языкового выражения не сводится к объективной характеристике той сцены, которую оно описывает, — люди способны моделировать любую сцену с помощью различных образных схем. При этом образная схема понимается Р. Лэнекером не как чувственный образ, а как способность по-разному структурировать и интерпретировать содержание одной и той же когнитивной области, или, иными словами, — это способность по-разному форматировать когнитивное содержание. Значение языковой единицы, по мнению Р.Лэнекера, включает, помимо концептуального содержания, и определенную схему или конфигурацию, которая накладывается на это содержание. Каждая такая конфигурация представляет собой отдельное значение слова [Langacker, 1991: 2–4, 35]. Различное форматирование когнитивного содержания с помощью образных схем задается шестью основными измерениями этих схем [там же: 5–12].

Попытаемся рассмотреть некоторые из языковых инноваций с этой точки зрения. В частности, одним из главных, если не главным языковым инструментом дискриминации женского пола считается употребление так называемого метагендерного *-he*. В результате мужское доминирует в языке, а женское остается «невидимым». Подобная асимметрия в обозначении лиц в языковой системе не соответствует требованиям лингвистической демократии, поэтому рекомендуется избегать употребления местоимений мужского рода в спорных случаях, а взамен предлагается использовать грамматическую форму *he-or-she* или местоимения третьего лица множественного числа [Хеллингер, 1999: 92]. Например, вместо *Someone is on the phone. What does he want?* рекомендуется говорить *Someone is on the phone. What do they want?* В данном случае гендерная реконцептуализация происходит на основе образ-схемы второго типа, когда вместо конкретного местоимения *he* употребляется более обобщенный вариант *they*, и таким образом достигается иное форматирование содержания.

Устранение метагендерного *he* возможно также при помощи введения элемента *-or-she*, что позволяет восстановить женский

агент за счет деметонимизации данного выражения, например, вместо *A gardener is usually proud of his garden* рекомендуется фраза *A gardener is usually proud of his-or-her garden*. В данном случае та же (вторая) схема концептуализации работает в обратном направлении: желаемый эффект достигается на основе конкретизации, детализации сцены. Было бы неверно утверждать, что все исследователи позитивно оценивают попытки такого реформирования. Контраргументация сводится к тому, что стремление к половому равенству и желание достичь его путем реформирования языка меняет концептуальную основу в значениях английских местоимений 3-го лица, что противоречит не только логике строения языка как системы и логике его естественного развития, но и культурно-языковой основе народного сознания (см., напр., [Николаева, 2007]).

Встречаются и другие обоснования отказа от антисексистских норм. В частности, антисексистские модели типа *his/her* отвергаются, так как практически невозможно вводить параллельную номинацию мужчин и женщин, не лишив текста легкости в его восприятии. Отсюда напрашивается вывод, что введение «равноправных» языковых моделей может блокироваться чисто языковыми барьерами. Поэтому в последнее время лингвисты рекомендуют избегать противопоставлений *his/her* и *he/she*, отдавая предпочтение множественному числу.

Тот факт, что «мужское» является общественной нормой, а «женское» рассматривается как отклонение от нее, особенно отчетливо проявляется на морфологическом и лексико-семантическом уровне [Хеллингер, 1999: 93]. Большое количество протестов возникает в связи с употреблением полуаффикса *-man* в существительных, обозначающих профессии.

Эта проблема остро встала во второй половине XX века, когда женщины пришли на рынок труда, и это стало настолько массовым явлением, что с ними невозможно было более не считаться. Вопрос стал насущным и вполне практическим, когда обнаружилось, что в объявлениях о найме на работу на уровне языка отдавалось предпочтение мужчинам. Половые различия не оказывают влияния на профессионализм работника, а, следовательно, они не должны отражаться и в языке. В настоящее время существуют определенные пункты законодательства, кото-

рые обязывают прессу публиковать только корректные с точки зрения языкового равноправия объявления о найме на работу. Однако до тех пор, пока не существует всеобщих защищенных законом (вплоть до применения штрафных санкций) правил, которые гарантировали бы языковую реализацию достижений общественного прогресса, нововведений зачастую удается избежать. Так, в ряде случаев объявлениям работодателей предпосылается обобщенное замечание, что претендовать на рабочие места могут в равной мере и женщины, и мужчины. Все чаще в начале статей и прочих текстов встречаются авторские пояснения, где оговаривается, что обобщенные обозначения лиц в мужском роде употребляются не буквально, но подразумевают и женщин. Сами же тексты остаются, с феминистской точки зрения, некорректными.

В феминизме есть две точки зрения на гендерно-нейтральное значение слова *man*, зафиксированное в словарях [Моултон, 2005: 253]. Сторонники первой точки зрения полагают, что гендерно-нейтральное употребление этого слова и его производных является следствием и неприятным воспоминанием о более низком статусе женщин. Вторая идея отрицает саму возможность гендерно-нейтрального употребления как слова *man*, так и местоимения *he*, так как само использование этих слов как нейтральных (как будто это возможно) является причиной несправедливого отношения к женщинам. Из-за реальной гендерной субъективности этих терминов употребляющему их человеку представляется «естественным» соотносить контекст с мужчинами и довольно непросто соотносить его с женщинами. Элемент *-man* создает ложную категоризацию социальных функций, которые способны выполнять представители мужского и женского полов, как бы закрепляя запрет на профессии и социальные роли, которые могут выполнять женщины. Например, как они могут претендовать на роль члена конгресса или профессию космонавта, если даже язык сопротивляется этому, не предлагая соответствующих номинаций.

Возникшая в результате критического пересмотра существующих наименований с этой точки зрения, потребность в создании большого количества новых наименований реализовалась, в основном, за счет образования имен женского рода от соответствующих наименований в форме мужского рода при помощи компо-

нента *-woman*, например: *cameraman*, *camerawoman*; *chairman*, *chairwoman*; *congressman*, *congresswoman* [Федотова, 2001: 355]. Но новейшие исследования показывают, что подобные двойные модели тоже являются носителями гендерного признака в современном английском языке. Если половые различия не оказывают влияния на качество исполняемой работы, то, для устранения гендерного признака сторонники феминистской критики языка предлагают заменить компоненты *man* и *woman* на компонент *person*. Если же такую альтернативную модель создать не удастся, то к употреблению принимаются синонимы и синонимичные словосочетания, например, сочетания с *people* и различные синонимы [Аринштейн, 1996: 32]. Однако этот прием оказался малоэффективным: примером может служить судьба новообразований с компонентом *person*. Некоторые авторы отмечают, что, хотя подобные новообразования вводились как нейтральные к полу замены соответствующих форм с *-man*, практически они употребляются только по отношению к женскому полу (например, *chairperson* употребляется только тогда, когда председателем является женщина). В результате эти новообразования нейтрализуют наименования женского рода, а наименования мужского рода с компонентом *-man* остаются в своем первоначальном виде [Steinem, 1986: 179].

Другой выход видится в устранении морфологически или семантически выраженного гендерного признака в тех случаях, когда его импликация, по мнению сторонников языковой реформы, является неуместной, например: *The fall in prices is great news for housewives*. Сообщая, что понижение цен обрадует домохозяек, текст имплицитно унижает, по мнению реформаторов, намек на основной род занятий женщины — ведение домашнего хозяйства. В магазины, как известно, заходят и представители мужского пола, поэтому следует изменить данное сообщение при помощи языкового выражения, расширяющего область референции: *The fall in prices is great news for consumers/ shoppers*.

То же касается имен существительных женского рода, обозначающих профессии, образованных от соответствующих существительных мужского рода при помощи суффикса *-ess* (*stewardess*, *poetess*, *lady-writer*). Таких производных существительных рекомендуется избегать, так как уже в силу их производности они

«содержат в себе определенную снисходительность» [Потапов, 2001: 297, 299]. Вместо них рекомендуется употреблять номинации, не содержащие гендерного признака: *flight attendant*, *poet*, *writer*. Однако в данном случае антисексистские модели не всегда помогают избавиться от гендерного признака: например, слово *poet* ассоциируется с мужским родом уже вследствие того, что язык содержит параллельную номинацию *poetess*.

Манипулирование пятым измерением образ-схемы наблюдается в тенденции использовать такие существительные, как *bachelorette* вместо *spinster* и прилагательные типа *childfree* вместо *childless*. В данном случае акцент в концептуализации переносится с отрицательной стороны явления на положительную, таким образом, используется стратегия изменения оценочного фона. *Bachelorette*, означающее, по аналогии с *bachelor*, «a woman, who has never married», в корне отличается от обидного *spinster*, так как актуализирует признак свободного выбора самой женщины, а не представление о том, что ее никто не выбрал. Бездетность предстает в варианте *childfree* не как несчастье, связанное с неспособностью женщины реализовать свою репродуктивную функцию, а как состояние необремененности, помогающее осуществить иные жизненные планы.

Немало споров возникает и вокруг употребления обращений, связанных с асимметрией в области упоминания имен собственных и указания на их семейное положение. При обращении к нескольким лицам сразу необходимо принимать в расчет «языковое равенство»: это означает, что в таком случае, надо всех называть по именам, либо придется ограничиться только фамилиями, но опять же всех присутствующих: *Frank Brown, Judy Smith and Ron Black* вместо *Frank Brown, Miss Smith and Dr. Black*. В таких моделях актуальным и подлежащим манипулированию оказывается шестое измерение образ-схемы, связанное с перспективой и точкой отсчета говорящего.

Показательным с этой точки зрения является пример: *Henry Harris is a shrewd lawyer and his wife Ann is a striking brunette*. С точки зрения политкорректности данное выражение должно быть переформулировано примерно так: *The Harrises are an attractive couple: Henry is a handsome blonde and Ann is a striking brunette* или *The Harrises are highly respected in their fields. Ann*

is an accomplished musician and Henry is a shrewd lawyer. Требования эгалитарности дискурса предполагают характеристики мужчины и женщины относительно одной и той же точки отсчета.

Изменения в английском языке охватили в первую очередь сферу общественного языкового употребления, т. е. законодательные тексты, документы, формуляры, объявления и т. д. В то же время в период второй волны феминизма распространилось создание женских толковых словарей, наиболее известным из которых является словарь М. Дейли и др. «*Webster's First Intergalactic Wickedary of the English Language*». [Daly, 1994]. Авторы словаря придали известным словам «женские» значения и придумали много неологизмов-феминизмов, пользуясь хайдеггеровским принципом «перечеркивания знака». Этим принципом руководствовались в свое время Р. Барт, стремясь «освободиться от власти знака», и Ж. Деррида в своей теории и практике деконструкции культурных объектов.

С точки зрения форматирования содержания эта техника основана на возможности использования шестого измерения образ-схемы, которое предполагает смену точки отсчета на основе учета пола траектора как источника действия. Например, слово *home* определяется в словаре как *most women's place of work*; слово *homesick* получает дефиниции: а) *sickened by the home*; в) *healthily motivated to escape the patriarchal home and family*. Изобретением авторов этого словаря являются широко известные сегодня неологизмы *hisstory* and *herstory*. Сегодня эта дихотомия, актуализирующая тот факт, что история западноевропейского общества написана мужчинами, а женский опыт — *herstory* — остался «невидимым», востребована в дискурсе эгалитарности. Она предполагает необходимость реконструкции истории в плане добавления к мужской истории женского опыта (*adding women*).

Итак, лингвисты и социологи по-разному оценивают движение за политкорректность: некоторые из них считают, что бесконечные словесные баталии заменяют радикальное движение за социальные реформы, к которым общество не готово, а политкорректность доводит прекрасные идеи равенства до абсурда [Miller 1996; Berman 1992; Ehrenreich 1992]. Есть возражения, базирующиеся на чисто языковых позициях — в этих исследова-

ниях приводятся аргументы, сводимые в целом к необходимости проверки совершенствования языка (*verbal uplift*) на соотношение пользы и ущерба (*cost-benefit analysis*) от инноваций [Хауген, 1975; Швейцер, 1996; Аринштейн, 1995].

Сегодня дискриминация носит завуалированный характер (*subtle sexism*) и зачастую маскируется под юмор, что не дает возможности обсуждать проблему с полной серьезностью. В качестве примера можно привести такие шутки, как предложение называть людей маленького роста *vertically challenged*, ленивых — *motivationally dispossessed*, и массу других выражений, изобретенных профессиональными юмористами, которые пишут книги типа *Politically Correct Bedtime Stories* (J. Garner 1994). Трудно сказать, как следует истолковать этот смех — как протест против идеологических перегибов или расставание с прошлым (как известно, человечество делает это, смеясь). Как отмечает С.Миллз [Mills 2003], в период третьей (постмодернистской) волны феминизма стало неполиткорректным употреблять само слово *sexism*. Считается, что общество полностью осознало необходимость перемен и проблема решена, однако это не так: после искоренения наиболее одиозных открыто сексистских явлений языка (*overt sexism*) лингвистам предстоит анализ локальных и контекстуальных языковых практик.

* * *

АРИНШТЕЙН В. М., 1996. Почему “man” звучит гордо, а “woman” пренебрежительно. *Studia Linguistica* № 4. СПб.

МОУЛТОН Дж., 2005. Миф о нейтральности слова «man» // Женщины, познание и реальность: Исследования по феминистской философии / Пер. с англ. М.: РОССПЭН.

НИКОЛАЕВА Н. Н., 2007. Феминистская критика метагендерного *he*: куда ведут лингвистические «реформы»? // Вопросы когнитивной лингвистики. № 3.

ПОТАПОВ В. В., 2001. К опыту пересмотра гендерного признака в лингвистике (на материале английского языка) // Гендер: язык, культура, коммуникация. Доклады 1-й международной конференции. МГЛУ. М.

ФЕДОТОВА М.Е., 2001. Роль феминистической субкультуры в становлении системы наименований женщин по профессии в современном немецком языке // Гендер: язык, культура, коммуникация. Доклады Первой международной конференции. МГЛУ. М.

ХЕЛЛИНГЕР М., 1999. Контрастивная феминистская лингвистика // Феминизм и гендерные исследования. Тверь.

ЦУРИКОВА Л.В., 2001. Политическая корректность как социокультурный и прагмалингвистический феномен // Эссе о социальной власти языка. Воронеж: ВГУ.

LANGACKER R.W., 1991. *Concept, Image and Symbol: The Cognitive Basis of Grammar*. — Moulton de Greuter.

MILLS S. 2003. *Third Wave Feminist Linguistics and the Analysis of Sexism*. <http://www.shu.ac.uk/daol/articles/open/2003/001/mills.html>.

STEINEM G., 1986. *Outrageous Acts and Everyday Rebellions*. N.Y.

Источники и принятые сокращения

БЭС, 1998. Языкознание. Большой энциклопедический словарь. — 2-е изд.-М.

СГТ, 2002. Словарь гендерных терминов / Восток — Запад: Информация — XXI век, М.

CCED, 1997. *Collins Cobuild English Dictionary*. 2nd ed. — Harper Collins Publishers.

С. В. Сквородина

КОММУНИКАТИВНЫЕ ТИПЫ АДРЕСАТОВ УСТНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

Динамика диалогической коммуникации, постоянная смена ролей партнеров, как адресатов и адресантов, требует уточнения и переработки основных признаков фактора адресата. Очевиден тот факт, что характеристика адресата как получателя сообщения недостаточна. Одними из первых на это обратили внимание американские ученые Г. Г. Кларк, Т. Б. Карлсона, разделив всех лиц, воспринимающих речевой акт (РА), на слушающих, некоторых третьих лиц (случайных или планируемых свидетелей) и собственно адресата/ адресатов, которым говорящий обращает свое высказывание [Кларк, Карлсон, 1986: 270–289]. В работах отечественных лингвистов, в частности, В. В. Богданова [Богданов, 1990: 34–35], Г. Е. Блинушовой [Blinušova, 1996: 167–174] и др. при характеристике фактора адресата выделяются, в основном, такие признаки, как возраст, социальный статус, пол и тип психологической дистанции. Различная комбинация этих параметров создает определенную модель адресата, для которой существует определенный вид оформления интенции речевого акта, определенное функциональное сочетание реплик. Так, с точки зрения различных моделей адресата в лингвопрагматике описаны разные виды оформления интенции «утверждать» [Kalinina, 2003: 81–93], «оправдываться» [Rehbein, 1975: 310–317], «просить» и «угрожать» [Blinušova, 1996: 169–174], «побуждать» [Беляева, 1992] и др., представлены разные способы обращения к адресату в различных языках [Макаров, 1985: 112–120; Buscha u. a., 2001: 19–35; Рыжова, 1984: 114–119]. Вместе с тем помимо выше перечисленных относительно постоянных характеристик (социальный статус, языковая компетенция, возраст и др.) адресат обладает определенными динамичными признаками, проявляющимися непосредственно в рамках коммуникации [См. в связи с этим определение функции и позиции коммуниканта: ван Дейк, 1989: 30].

Субъект коммуникации, воспринимающий некоторое высказывание, может выполнять в этот момент/период различные

коммуникативные функции — интерпретирующая, оценочная, реактивная. Адресат может быть просто получателем какой-либо информации, не требующей от него никаких явных действий, или при том же оформлении РА он может являться адресатом приказа, просьбы, вопроса, в зависимости от того, какой прагматический смысл раскрывается для него в звучащем тексте. Очевидно, что не всегда воспринимаемое человеком сообщение адресовано именно ему или только ему. Он мог услышать его «случайно». Кроме того, истинным и единственным адресатом РА может стать субъект, напрямую не участвующий в коммуникации, ее сторонний наблюдатель. Таким образом, различия не только в статусе, возрасте и пр., но и в самой коммуникативной сущности адресата позволяют говорить о его разных типах. Данный момент в факторе адресата привлекается к исследованию в работах Г. Г. Почепцова [Почепцов, 1986], Н. Д. Арутюновой [Арутюнова, 1981], К. становится критерием типологии данного фактора. Резюмируя существующие классификации и привнося некоторые замечания, рассмотрим основные типы адресатов устных РА.

Отправной точкой нашей типологии является «прототипический» адресат, т. е. тот субъект коммуникации, которому адресовано иллокутивное содержание РА. Как замечают, Г. Г. Кларк и Т. Б. Карлсон, собственно адресат хорошо известен современному лингвопрагматическому исследованию и спектр иллокутивных актов, направленных на этот тип адресата, очень широк. В типологии Г. Г. Почепцова данный тип адресата носит название «типового». Он сохраняет свой статус собственно адресата РА, даже если интенция говорящего терпит неудачу, т. е. не достигает необходимого эффекта. Поскольку говорящий напрямую обращен к получателю сообщения, то данный тип правомерно назвать прямой адресацией.

Помимо *прямого адресата* в коммуникации может присутствовать третье лицо. Если данный субъект оказался случайным свидетелем, неожиданным получателем сообщения говорящего, то вслед за выше представленными учеными мы будем называть его *слушателем* [Почепцов, 1986: 15], или *сторонним/случайным участником* [Кларк, Карлсон, 1986: 272]. Вместе с тем имеют место случаи, когда присутствие третьего лица при комму-

никации не случайно. Отправляя сообщение прямому адресату, говорящий намерен повлиять на третье лицо, обращая к нему иллокутивное содержание РА. В этом случае наблюдатель/слушатель получает статус *косвенного адресата* [Почепцов, 1986: 15; Кларк Карлсон, 1986: 274–277]. Прямой и косвенный адресат являются одновременными получателями РА, но претерпевают разные виды коммуникативного воздействия. В то время как прямой адресат подвергается простому информированию, косвенный адресат, как правило, побуждается к какому-либо действию или получает оценку (критику или похвалу) со стороны говорящего. Реакция на такой комбинированный речевой акт может последовать от любого из двух адресатов, но наиболее весомым для говорящего является ответный поступок косвенного адресата — его согласие принять или желание отвергнуть иллокутивный акт говорящего.

Иногда в ситуации с косвенным адресатом прямой адресат является крайне условным, порой не способным к собственно восприятию (например, неодушевленный предмет). В этом случае правомерно говорить о *квазиадресате* [Почепцов, 1986: 12], или *псевдопартнере* [Холодович: там же]. Как замечают исследователи, ситуацию с косвенным адресатом следует отличать от ситуации с несколькими прямыми адресатами. В этом случае РА также воспринимается всеми участниками одновременно и в одинаковой мере обращен к каждому. Такой тип можно назвать прямой полиадресатностью, или в терминологии Г. Г. Почепцова *со-адресатностью* [Почепцов, 1986: 16]. Г. Г. Кларк, Т. Б. Карлсон называют таких участников коммуникации адресатами [Кларк Карлсон, 1986: 282–283].

Помимо случаев прямой, косвенной адресации и квазиадресатности особое внимание заслуживает тип адресата, выступающий в роли посредника между собственно отправителем РА и его потенциальным получателем. В терминологии Г. Г. Почепцова данный адресат получает статус *ретранслятора* [Почепцов, 1986: 12–13]. В данной статье мы будем называть такую адресацию опосредованной, а соответствующий ей тип адресата — адресатом-посредником. Возникновение потребности в коммуникативном посреднике обусловлено в диалогическом общении рядом причин. Они могут возникать спонтанно или носить регламентированный характер. При спонтанном выборе посредника для

передачи сообщения говорящий оценивает способность предполагаемого партнера выступить в роли адресата-ретранслятора. В ритуализированных ситуациях функция посредника четко определена, например, функция секретаря при директоре, функция слуги при хозяине и т. д.

В целом проблема типа адресата РА сложна и многогранна, что отражено в грамматическом и лексическом потенциале языка. Выделенные типы способны варьировать в реальной коммуникации. В результате возникают промежуточные типы адресатов, в частности, псевдокосвенная адресация при обращении к единственному адресату как к косвенному, или псевдопосредованная адресация, когда из прагматического контекста следует, что собственно получателя данного РА не существует (он есть предмет или животное) и др.

* * *

АРУТЮНОВА Н. Д., 1981. Фактор адресата. // Изв. АН СССР Сер. лит. и яз. Т.40, №4. М.

БЕЛЯЕВА Е. Н., 1992. Грамматика и прагматика побуждения в английском языке. Воронеж.

БОГДАНОВ В. В., 1990. Речевое общение. Л.

ДЕЙК Т. А. ван., 1989. Язык. Познание. Коммуникация. М.

КЛАРК Г. Г., КАРЛСОН Т. Б., 1986. Слушающий и речевой акт. — В кн.: Новое в зарубежной лингвистике, Вып. 17. Теория речевых актов. М.

МАКАРОВ М. Л., 1985. Этикетные и регламентные свойства обращений./ Прагматические и семантические аспекты синтаксиса./ Сб. науч. тр. Калинин.

МУРАТОВА К. В., 1986. Структура коммуникативного акта с точки зрения риторики./ Реализация системы языка в речи. Сб. науч. тр. М.

ПОЧЕПЦОВ Г. Г., 1986. О коммуникативной типологии адресата./ Речевые акты в лингвистике и методике./ Межвуз. сб. науч. тр.: ПГПИИЯ.

РЫЖОВА Л. П., 1984. Обращение: нормы и правила употребления./ Прагматика и семантика синтаксических единиц./ Сб. науч. тр. Калинин.

BLINUSOVA G. E., 1996. Der Status des Sprechers und die Gestaltung der Aufforderung. In: Das Wort: Germanisches Jahrbuch 196. M.

KALININA O. E., 2003. Realisierung des hochintensiven Sprechakts BEHAUPTEN. In: Das Wort: Germanistisches Jahrbuch. M.

REHBEIN J., 1975. Entschuldigungen und Rechtfertigungen. In: Linguistische Pragmatik. Wiesbaden.

Н. Е. Тюкалова

Артикль и имя собственное во французском языке

Как показывает анализ артикулированного употребления имен собственных-антропонимов во французском языке, любое употребление имени или фамилии с артиклем неизбежно наделяет его свойствами понятия и превращает в речевое имя нарицательное.

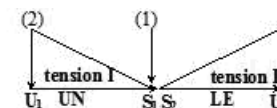
В настоящей статье мы хотели бы рассмотреть те механизмы, которые управляют актуализацией имени собственного-антропонима при его употреблении с артиклем.

Сопоставим два употребления одного и того же имени собственного с неопределенным артиклем:

(1) Pour ceux, qui ne n'ont pas eu l'occasion encore de l'écouter, je vous le conseille. Vous y découvrirez **une Lara Fabian** différente, changée, plus mûre dans ce qu'elle entreprend (Thin 2004).

(2) Et nous autres, qui n'entendrons bientôt plus que les miaulements **d'une Céline Dion** ou d'une Lara Fabian, nous nous prenons à rêver que le Ciel veuille bien nous rendre nos jazzmen ... (ibid.)

Несмотря на то, что в обоих случаях перед именем собственным-антропонимом стоит неопределенный артикль, значение у этих артиклей разное. Обратившись к теории артикля в психо-систематике Г. Гийома, мы приходим к выводу, что в случае с именами собственными артикль показывает не объем понятия, поскольку понятия имя собственное не выражает, а некоторый объем «лица индивидуума». Именно от этого происходит тот стилистический эффект, который называют характеристикой, оценкой и т. д. Примеры (1) и (2) могут быть проиллюстрированы при помощи векторного анализа, применяемого в психо-систематике, см. схема:



С х е м а. Различная степень экстенсии имен собственных-антропонимов, употребленных с артиклем UN

В первом случае (пример 1) неопределенный артикль приближен к единичности, поскольку референтная соотнесенность с носителем имени однозначна: речь идет о певице по имени Lara Fabian, точнее о какой-то новой ее ипостаси, измененной Lara Fabian (*une Lara Fabian différente, changée, plus mûre dans ce qu'elle entreprend*). Это некий «вариант» «инварианта» Lara Fabian. Иными словами, это то самое речевое наполнение, о котором сообщает М. Вильме [Wilmet 1992]. Опираясь на положение Г. Гийома об асемантической имен собственных, он говорит о потенциальной их наполняемости речевым значением, которую имя получает от конкретных качеств референта [Wilmet 1991: 114]. Речевое значение (или, по Гийому, языковое значение плюс коннотация) получает свое морфологическое оформление при помощи артикля: и чем больше будет объем этого речевого значения, тем больше будет приближаться имя собственное к нарицательному существительному. Так происходит во втором примере.

Во втором случае (пример 2) имя собственное больше отдалено от единичности: референтная соотнесенность имени Lara Fabien и Céline Dion здесь размыта, она практически утеряна. Под les miaulements **d'une Céline Dion** ou **d'une Lara Fabian** подразумевается множественность возможных референтов, поэтому каждый антропоним обозначает более широкое обобщенное лицо: в данном случае *une Lara Fabian = une chanteuse qui a la voix comme celle de Lara Fabian*.

М. Н. Гари-Приер и К. Жонассон называют подобное употребление образцовым (exemplaire), показывая, что именная группа un + ИС референтна тому же самому лицу, что и имя собственное без артикля, но этот индивид представлен в виде примера, образца. Ученый также отмечает, что такое значение возможно только без распространения именной группы un + ИС [Gary-Prieur 1992; Jonasson 1994]. На наш взгляд, объяснение артикулированного употребления имени собственного-антропонима в данном случае очень точно, но ограничивается оно интерпретацией, исследователи не объясняют, почему возможно такое употребление.

Разницу коннотаций, привносимых определенным и неопределенным артиклем, также помогает объяснить психосемантика. В данном случае действуют, хотя и совершенно своеобразно, те же рече-языковые операции, что и при функционировании на-

рицательных существительных: «Конечный этап формирования речевого значения актуализаторов является и конечным этапом формирования речевого значения имени» [Баженова 2003: 6]. Интерпретируя векторную методику, Ш. Оде предлагает свою, по нашему мнению, емкую и практичную формулу: артикль le и артикль un соотносятся следующим образом le — это всегда 1/1 (1 из 1), а un — это всегда 1/ >1 (1 из больше, чем 1) [Audet 1992: 296]. Действительно, неопределенный артикль (анти-экстенсивный) — это стремление от внутренней множественности к единице, а определенный (экстенсивный) — уже достигнутая и преодоленная единица.

(3) «C'était un des grands artistes, un des grands pianistes de jazz du siècle. C'est un monument qui s'écroule, la, c'est clair», déclarait hier **un Didier Lockwood sous le choc**.

В данном употреблении группа un + ИС сопоставима с примером (1) и референтна носителю имени Didier Lockwood. Имя собственное могло бы употребляться и без артикля, но тогда распространение “sous le choc” относилось бы к сказуемому déclarait. Употребив артикль перед именем, автор сообщения подчеркивает тот факт, что высказывание принадлежало Didier Lockwood настолько же, насколько тот был в шоке, т. е. в одном из проявлений своей целостной личности: пройдет шок, и Didier Lockwood вернется в свое обычное состояние, станет другим. Единичное проявление лица воспринимается как 1/ >1 (1 из больше, чем 1).

Обратимся к примерам с определенным артиклем.

В истории, рассказанной Гастоном Леру, присутствуют два персонажа, скрывающиеся под именем **Darzac**. Вся интрига романа построена именно на этой двойственности. Чтобы выразить ее во французском языке, автор вынужден прибегнуть к употреблению артикля. В данном случае — артикля определенного.

Si par hasard, vous parliez de cette aventure, le lendemain matin à l'**autre M. Darzac**, croyant avoir affaire au Darzac du Château Neuf, c'était une catastrophe.

Здесь интересно употребление именной группы **au Darzac** du Château Neuf. Определенный артикль снова использован для привнесения дополнительного значения, по Г. Гийому — коннотации. В данном случае это уточнение, партикуляризация. При этом имя собственное превращается в речевое имя нарицатель-

ное, артикль появляется, поскольку оно является показателем объема того речевого значения, которое приобретает конкретное имя.

Для сравнения приведем следующий пример:

... mais je voulais voir, de mes yeux, **Darzac** avec le geste de **Larsan**.

В данном примере, так же, как и в самом первом, имена собственные употреблены в своей обычной функции, они служат, чтобы называть, не привнося никаких оценочных элементов.

Devrais-je ajouter même, à ce propos, qu'après la scène à laquelle j'avais assisté du haut de ma fenêtre entre Rouletabille et Matilde je m'attendais à voir celle-ci plus atterrée... quasi anéantie par cette vision menaçante d'un **Larsan** surgi sur eau.

Неопределенный артикль подчеркивает некую неясность. Ведь речь идет о видении. Был ли это в самом деле Ларзан или только его призрак?

Elle préférerait avoir encore à se défendre de **Larsan** vivant que de son fantôme!

В примере артикля нет, хотя рядом стоит прилагательное. Подразумевается именно конкретная личность, и автор не дает дополнительной оценки личности Ларзана, само имя дополнительного значения не получает.

Рассмотрим пример с определенным, экстенсивным артиклем:

Sur la question du sida, il y a le **Chirac des tribunes** et le **Chirac des prétoires**. Le premier enchaîne les déclarations d'intentions, promet des taxes sur les mouvements de capitaux pour financer la lutte, élève l'épidémie de VIH au rang de «grande cause nationale» de l'année 2005. Le second, plus mesquin, n'hésite pas à pourchasser en justice une poignée de militants d'Act Up Paris pour une banale action menée devant le palais de l'Élysée.

Фамилия Chirac, а точнее речевое имя, в данном случае личность президента, оценивается как «двулика» (и даже «многоликая», ведь этот ряд можно было бы продолжить), именно такое значение выражает определенный артикль. Экстенсивный артикль — это артикль второго тензора, там, где единица уже пройдена, и поэтому **le Chirac** подразумевает всю личность человека целиком, не какую-то его ипостась, как это происходит при

употреблении неопределенного артикля, т. е. по Ш. Оде: 1/1 (1 из 1). Таким образом, всякий раз, когда с именем собственным-антропонимом употребляется определенный артикль, лицо человека воспринимается в целом, как некая единица.

Чем шире речевое значение имени, его коннотативный элемент, тем ближе имя собственное приближается к нарицательному.

Après “La Fille sur le pont”, Patrice Leconte retrouve, à la tête d'un casting alléchant, le toujours parfait Daniel Auteuil <...> Une histoire simple et généreuse, une réalisation délicate et une interprétation sensible font de “La Veuve de Saint-Pierre” un touchant drame humain qu'il vaut mieux regarder un mouchoir à portée de la main. En trois mots: un bon Leconte!

В первом случае имя Patrice Leconte употреблено в своем классическом виде, т. е., во-первых, использованы и имя, и фамилия, во-вторых, антропоним употреблен без артикля — имя собственное выполняет функцию идентификации референта [Суперанская 1973; Арутюнова 1999; Николаев 1996], это основная функция антропонима. В следующем случае мы встречаем второй элемент нормативного французского антропонима — фамилию Leconte. Здесь неопределенный артикль переводит имя собственного в разряд нарицательных. В результате процесса метонимии именем человека называется произведение искусства, созданное этим человеком. Налицо окончательный переход имени собственного в нарицательное. И мы уже не можем сопоставить два употребления имени собственного на бинарном тензоре, поскольку речь будет идти о совершенно разных словах 1) Patrice Leconte = la personne qui s'appelle Patrice Leconte 2) un Leconte = un film (de Leconte).

Lui seul connaissait cette conversation-là et il ne faisait point de doute par cela même, que le Darzac qui me préoccupait tant aujourd'hui n'était autre que celui de la veille.

К выводу о том, что употребленное с артиклем имя собственное приобретает коннотацию, приходят также М. Я. Блох и Т. Н. Семенова [Блох, Семенова 2001, 80]. По их мнению, во всех «случаях употребления определенного артикля с антропонимом, сохраняющим свою монореферентность, артикль реализует категориальное значение отождествления, указывая на лексико-

грамматическую транспозицию определяемого им личного имени — превращение его в коннотативно насыщенный полуантропоним-идентификатор» [Блох, Семенова 2001, 80].

Как мы видим, мнение ученых созвучно с тем, что артикль при имени собственном-антропониме каким-то образом лишает последний некоторых присущих ему свойств, превращает имя собственное-антропоним в «полуантропоним», т. е. приближает его к нарицательному существительному. Однако стоит отметить, что исследование М. Я. Блоха и Т. Н. Семеновой касаются английского языка. Их выводы приложимы к французскому языку лишь в определенной степени: в английском, как и во французском, артикль при антропониме не употребляется. Само наличие двух разрядов существительных, имен нарицательных и имен собственных, предполагает их диалектическое взаимодействие, которое проявляется в переходе из одного разряда в другой (нарицательные имена становятся именами собственными, а затем последние могут стать нарицательными). И как показывает анализ, это взаимодействие имеет поступательное движение, через промежуточные варианты.

Идея поступательного движения мысли «красной нитью» проходит через всю теорию психосистематики: «Мысль, лингвистическое сознание протекает в виде импульсов, которым в теории дается название остановки, или перехватов. Как отдельный речевой акт, так и языковая деятельность в целом заключает в своем оперативном времени указанные операции, или остановки, которые в процессе глоттогенеза приводили к формированию языковых элементов» [Скрелина 2002].

Выгодное отличие данного подхода заключается в том, что он позволяет прежде всего объяснить употребление имени собственного-антропонима с артиклями и затем интерпретировать его в области стилистики и прагматики.

Исходя из вышеизложенного, мы можем объяснить употребление антропонимов с артиклем не только как привнесение коннотации к антропониму, но как ту возможность, которую предоставляет экономная языковая система для выражения бесконечного количества речевых смыслов: «... язык и речь грамматичны, подчиняясь бессознательной или сознательной интенции лица, субъекта. Предназначение языка состоит в том, чтобы обеспе-

чить необходимое выражение мысли, но не какой-то одной, а вообще всякой. Это значит, что всякая конкретная речь предваряется общим структурно-системным механизмом, а язык обладает трансцендентной конструктивной целеустремленностью, которая позволяет потенциальности языковых единиц широко варьировать в реальных условиях различных контекстов» [Скрелина 2003: 309].

* * *

БЛОХ М. Я., СЕМЕНОВА Т. Н., 2001. Имена личные в парадигматике, синтагматике и прагматике. М.

БАЖЕНОВА Н. М., 2003. Актуализаторы имени существительного в современном французском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук: СПб.

АРУТЮНОВА Н. Д., 1999. Язык и мир человека. М.

НИКОЛАЕВ Н. П., 1996. Прагматическая значимость имени собственного лица с детерминативом в современном французском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Минск.

СУПЕРАНСКАЯ А. В., 1973. Общая теория имени собственного. М.

СКРЕЛИНА Л. М., 2003. Лингвистика XX века : школа Гийома (психосистематика) : учеб. пособие к курсу «История лингвистических учений и методов анализа» [Рукопись]. СПб.

AUDET CH-N, 1994. Morphologie et syntaxe du français. Québec : Le Griffon d'argile.

WILMET M., 1992. Nom propre et ambiguïté. Langue française. № 92.

GARY-PRIEUR M-N., 1992. La modalisation du nom propre.

JONASSON K., 1994. Le nom propre : construction et interprétation Louvain-la-Neuve : Duclot.

Е. В. Яковлева

ОСОБЕННОСТИ КВАНТИФИКАЦИИ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

Анализ механизма референции языка, который начал складываться в рамках логики (Г. Фреге, Дж. С. Милль, Л. Витгенштейн, Р. Рассел) и имел своих последователей в лингвистике (Н. Д. Арутюнова, Т. В. Булыгина, Е. В. Падучева, А. Д. Шмелев и др.), в настоящее время приобретает новое звучание в связи с появлением работ, учитывающих когнитивные и прагматические аспекты референции. В рамках теории референции параллельно разрабатывалась теория квантификации, которая претерпела изменения методов и подходов, аналогично теории референции: от логических к когнитивным и прагматическим.

В тех ситуациях, когда имеется соотнесение не с референтом, а указывается на то, каким образом производится включение объектов по отношению к множеству (полностью, частично или каким-то иным способом), мы имеем квантификацию. Для описания механизма квантификации важно то, как понимается множество и элементы, входящие в него. При логических операциях с множествами предполагается, что множество состоит из совокупности отдельных элементов. В естественном языке множества могут состоять как из отдельных элементов (*todas las rosas del jardín*), так и из элементов, которые не вычлениваются, не являются дискретными (*todo mi gozo*). Кроме того, квантификация различается по способу отношения к говорящему и слушающему, с одной стороны, мы можем выделить квантификацию, известную и говорящему, и слушающему, а с другой, квантификацию, известную только для говорящего. Множества, с которыми производится квантификация, имеют разнообразный характер: они могут быть исчисляемыми, неисчисляемыми, определенными и неопределенными.

Для операций над множествами и элементами множеств в логике используются кванторные операторы: квантор всеобщности (\forall), квантор существования (\exists) и другие, которые по своему смыслу близки к функционированию кванторных слов естественного языка, но не могут быть сведены, как нам представ-

ляется, к простым логическим операциям. Например, очевидна близость квантора всеобщности и таких местоимений, как *todos, cualquiera, cada*, однако их функционирование в языке сложнее, нежели простые операции над множествами. Квантификация в естественном языке имеет ряд существенных особенностей, обусловленных субъективным и прагматическим компонентами.

Кванторы часто понимаются как «логические слова», т. е. «слова служебного характера», «выражающие значения, близкие к значениям элементов языка логики — связок, кванторов, операторов, а также слова, в значениях которых эти элементы играют центральную роль (не, и, если ...то, все, всякий, много, немного, никакой, единственный...)» [Богуславский, 1985: 5]. Между тем, механизм квантификации в естественном языке и вся система квантификации существенно отличаются от квантификации в рамках закрытых языков. Основным фактором, влияющим на понимание квантификации в естественном языке, оказывается наличие у собеседников картины мира, определенных знаний относительно стандарта.

Особое внимание исследователей привлекает лексема *todo* как естественный аналог квантора общности. Наличие в испанском языке нескольких вариантов этого квантора (*todo, todos, toda, todas*), их несводимость друг к другу, а также возникновение разных значений у *todo* в зависимости от его функционирования в предложении (независимое или определение), совместного употребления с детерминативами (артиклями, указательными местоимениями и прилагательными) ставит под вопрос существование единого квантора. Другими словами, логический подход не объясняет целого ряда особенностей прагматического характера, свойственных данным местоимениям. Рассмотрим, в чем состоят особенности испанского местоимения *todo*.

Словари указывают на то, что главным для *todo* является идея целостности — «*que se toma entero sin excluir nada — se comio todo el pan*»/ он съел весь хлеб. Во-вторых, имеется указание на особое значение *todo*, которое относится к совокупности вещей, — в таких случаях оно указывает на каждую из возможных частей — *todo fiel cristiano*/каждый правоверный христианин. (Diccionario de la lengua española, SOPENA, VOX).

Очевидно, что особенностью данного местоимения в испанском языке является непонятное «сосуществование» двух про-

тивоположных возможностей: указывать на единичное, с одной стороны, и указывать на всеобщее. Анализ использования этого местоимения в реальных текстах показывает наличие разнообразных сложных ситуаций. Приведем примеры, показывающие значительные семантические различия в рамках единого местоимения, особенно заметные при переводе.

1. Hay que confesar que es toda una mujer, que es todo un caracter (M. Unamuno) Необходимо признать, что она — настоящая женщина, что у нее потрясающий характер.

2. Toda la escolta me siguió (B. P. Galdys). Все окружение последовало за мной.

3. En nuestra casa, como en todo hogar chileno, habna animales (I. Allende). У нас дома, как и в любом другом чилийском очаге, были домашние животные.

А. Д. Шмелев замечает, что «интерпретация естественно языковой квантификации, скорее всего, должна быть основана не на классической теории множеств (set-theory), а на теории, аксиоматика которой разработана Г. Бантом ... В основу аксиоматики Г. Банта кладется не отношение «элемент-множество», а отношение «часть-целое» [Шмелев, 2002: 82].

В естественном языке квантификации подвергаются не только исчисляемые множества (todos los alumnos, toda la escolta), но и множества неисчисляемые по своей природе (todos mis sentimientos). Между тем и применение бантовых множеств не объясняет типа квантификации, имеющейся в примере (1).

На наш взгляд объяснение такому функционированию todo можно найти в рамках теории психосистематики Г. Гийома [Гийом 1992]. При помощи векторного анализа мы можем непротиворечиво показать переход от одного значения к другому, с одной стороны, и подчеркнуть наличие единой формы, с другой. Выделив два вида движения: индивидуализации (партикуляции) и обобщения (генерализации), разместим эти два вида на трех векторах (или тензорах). Мы получим следующую схему:

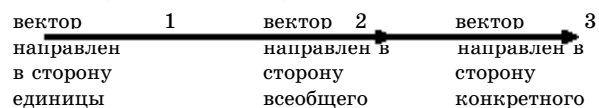


Рис. 1. Строение трехчастного тензора

Вектор 1 выражает движение к единице от неконкретного и обобщенного, вектор 2 выражает движение от единицы в сторону обобщения (всеобщего), вектор 3 выражает движение от всеобщего к конкретному. Таким образом, использование todo в примере (1) соответствует тензору 1 и знаменует собой движение от всеобщего к единице. Заметим, что при этом важна идея движения, так как имеется скрытое сравнение изменение объемов (не просто mujer, а единичная, особая женщина, не простой, обычный характер, а редкий, единичный). Использование todo в (2) соответствует движению от единицы к генерализации, обобщению. В данном случае имеется «классическая» квантификация, квантификатор показывает, что все без исключения элементы принадлежат множеству. Todo в (3) представляет собой движение, направленное от максимально абстрактного к конкретному. В определенном смысле это использование противопоставлено использованию (1).

Таким образом, «противоречивое» использование местоимения отражает два вида движение мысли: вычленение и генерализацию, при этом очевидно, что одна форма способна выражать и другие оттенки значений обобщения или уточнения.

В реальных текстах мы встречаем использование кванторного слова todo в качестве детерминатива указательного местоимения, при этом возникает высокая степень дейктичности и своеобразная квантификация. Например, в *todo esto es necesario* сложно говорить о какой-либо квантификации без широкого контекста, поскольку todo указывает лишь на необходимость квантификации, а местоимение esto «требует» соотносимого референта. Таким образом, можно говорить о своеобразной анафорической квантификации. Анализ этого предложения позволяет говорить о необходимости учета позиции говорящего и его пространственно-временной локализации. В данном случае мы сталкиваемся с такой дейктичностью, в которой одновременно проявляются все возможные способы соотнесения (т. е. соотнесение с говорящим, временем и пространством). Естественно, что в таких случаях отмечается весьма сильная связь с контекстом.

Квантификация в естественном языке зачастую носит усложненный характер, так как квантифицируются не только некоторые дискретные или недискретные сущности, но и явления,

более сложные в семантическом отношении, связанные с фондом знаний говорящего и слушающего.

(4) El capellán era un fraile dominicano vivido muchos años desterrado de México por el Arzobispo, y privado de licencias para confesar y decir misa. Todo ello por una falsa delación (Valle-Inclán, 127) Капеллан был монахом-доминиканцем, много лет назад его выслал из Мексики Архиепископ и лишил разрешения читать мессу и отпускать грехи. И все это из-за фальшивого доноса. (5) Hombre mejor no nació del vientre de la mujer ni se la visto un talentazo igual para todo aquello que fuera de la jurisdicción de la suprema intriga ... (Galdós, 8). ... не видели мы столь потрясающего таланта ко всему тому, что бы попадало под категорию интриги.

Размер контекста, необходимый для соотнесения с референтами, которые квантифицируются, может варьироваться. В примере 4 todo ello расшифровывается предыдущим предложением. Для понимания того, что имеет в виду автор под todo aquello (пример 5) необходим контекст всей главы. Сочетание двух местоименных слов (todo + ello) создает достаточно размытый смысл, который не только в обязательном порядке тесно связан с контекстом, но, возможно, требует и ассоциативных знаний, имеющих у говорящего. При помощи todo eso квантифицируется не только desterrado и privado, но и все сущности, проистекающие из ситуации гонения. Иными словами, для понимания того, с чем соотносится и как квантируется todo esto, todo aquello, важным оказывается контекст и знания стереотипной ситуации, проистекающие из общей картины мира.

В естественном устном дискурсе анафорическая квантификация имеет специфическую особенность: в контексте может отсутствовать компонент, соотносимый с указательным местоимением.

(6) Entones, cuando estaa e habían máquinas, bulldóceres y todo eso ... (Bogotá, 267) Ну, когда там были машины, бульдозеры ну все такое. (7)... el padre estaba celebrando y todo eso (Bogotá, 224) ... отец праздновал и все такое. Словосочетание ... у todo eso в данном высказывании не имеет соотносимого референта, который бы квантировался. Говорящий, испытывая затруднения при формировании высказывания, прибегает к использованию конструкции ... у todo eso, которая должна заставить слушающего самостоятельно домыслить, какие сущности могли бы выступать в роли референтов. В подобных упот-

реблениях просматривается намек на реальный референт. Семантика todo допускает такое употребление, поскольку происходит отсылка к типичной ситуации, известной слушающему. Собеседник может представить себе другие элементы, типичные для подобных описаний, добавляя элементы, присущие описанным событиям, состояниям. В примере (6), можно представить, какие могли бы быть машины, или как можно отмечать праздник (пример 7). Иными словами, мы имеем в данном случае отсылку к знаниям и опыту слушающего. При этом говорящий в ходе построения высказывания предполагает, что слушающий способен дополнить высказывание, восстановить «пропущенные» референты. В примерах 4,5 мы видели иную ситуацию: автор давал описание, а затем делал обобщение, исходя из наличия конкретных референтов. Специфическое использование такого словосочетания ... у todo eso в естественном устном дискурсе связано с отсутствием четкого планирования высказывания, именно поэтому местоимения в определенном смысле «повисают», не поддерживаемые контекстом.

В качестве итога отметим, что квантификация в естественном языке неоднородна, выделяются разнообразные способы квантификации: с опорой на прагматическую оценку, с опорой на логическую оценку множества, с опорой на анафорическую соотнесенность. В первом случае приобретают особое значение знания и стереотипы, в последнем случае важны характеристики контекста. В рамках естественного устного дискурса отмечается наличие особого типа квантификации, при котором отсутствует антецедент и важен общий фонд знаний собеседников. В качестве языковой основы разнообразных типов квантификации мы выделяет две операции: генерализации и партикуляции, показанные нами при помощи векторного анализа. Психосистематика Г. Гийома позволяет наглядно показать движение мысли при формировании различных видов квантификации.

БОГУСЛАВСКИЙ И. М., 1985. Исследования по синтаксической семантике: сферы действия логических слов. М.

ГИЙОМ Г., 1992. Принципы теоретической лингвистики. М.

ШМЕЛЁВ А. Д., 2002. Русский язык и внеязыковая действительность. М.

ЯЗЫК В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР

Интеллект и личность человека осуществляют выбор, принимают решения на перекрестках истории

И. В. Арнольд

Н. Н. Бочегова

ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВАЦИИ КАТЕГОРИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СВОЕОБРАЗИЯ В ИММИГРАНТСКОМ ДИСКУРСЕ ЛИТЕРАТУРЫ США

В ряде работ национально-культурное своеобразие рассматривается как языковая функция, проявляющая себя через культурно-специфическую лексику, этнически коннотации и особенности грамматической категоризации. Исследования, проведенные нами в рамках текста, позволяют говорить о том, что национально-культурная отнесенность является полистатусной категорией, имеющей свой инвентарь средств выражения на всех уровнях текста — от лексического до концептуального. Особенно ярко специфика этой категории проявляется в текстах, характеризующихся бикультурализмом — написанных на языке, являющемся внешним по отношению к описываемой культуре — таких как, например, произведения американской литературы, относящиеся к «дефисным» культурам (напр., *Chinese — American, Puerto — Rican — American*, и др.).

В современной лингвистике есть два подхода к тексту: 1) как к целому речевому произведению (или сложному синтаксическому целому) и 2) как к знаку особого типа. В рамках первого подхода текст обычно определяется как связанное законченное целое, обладающее идейно-художественным единством, служащее для передачи по каналу художественной литературы предметно-логической, эстетической, образной, эмоциональной и оценочной информации. Он способен к образно-эстетическому воспроизведению действительности и предназначен для эмоционального воздействия на читателя [Арнольд, 1980: 7].

Второй подход включает в себя несколько концепций. Для представителей классической теории языкового знака он трактуется как двусторонняя сущность, сформированная отношением формы знака и его значения [Маслов, 1987].

Существует также иное, расширительное понимание языкового знака. В этом случае исходят из того, что не только слова и морфемы, но и речевые высказывания представляют собой единицы, имеющие две стороны — план выражения и план содержания. Другие отличительные признаки языкового знака при этом опускаются. В данном случае становится возможным распространить понятие языкового знака на предложение и текст. Подобная точка зрения представлена в работах Л. Ельмслева и его последователей.

Согласно семиотической теории Ю. М. Лотмана текст рассматривается как смыслопорождающее устройство. Особенно плодотворным нам представляется его утверждение о том, что текст — это конденсатор культурной памяти, он обладает способностью сохранять память о своих предшествующих контекстах. По Ю. М. Лотману, для воспринимающего текст — всегда метонимия реконструируемого целостного значения, дискретный знак недискретной сущности. Таким образом, текст есть конденсатор культурной памяти, он сохраняет память о своих предшествующих контекстах. Сумма контекстов, в которых данный текст приобретает осмысленность и которые определенным образом инкорпорированы в нем, представляет из себя «память текста» [Лотман, 1991: 112].

В рамках данного исследования текст определяется как сложный знак, реализующийся как речевое произведение и обладающий текстовостью, то есть совокупностью свойств, отличающих текст как вербальный объект от не-текста и определяющих его специфику [Воробьева, 1993: 5; Мороховский, 1981: 6–13].

Обращаясь к проблеме текстовых категорий, необходимо отметить, что уже у Аристотеля проблема категории выступила как проблема соотношения содержания высказывания о некотором существе с самим этим существом.

Текстовые категории отличны от языковых категорий, их нет в языковой системе, так как они возникают вместе с текстом и отражают качества, присущие тексту как процессу и продукту

речи, как принципиально особому единству, отличному от других языковых явлений. Текстовые категории носят универсальный характер и проявляются во всех связанных текстах независимо от языка и типа текста [Воронцова, 2004]. Они подразделяются на концептуальные (содержательные) и формально-структурные. При этом строгое разграничение практически невозможно в силу их взаимообусловленности: формально-структурные категории имеют содержательные характеристики, а концептуальные категории выражены в структурных формах [Гальперин, 1981: 5; Тураева, 1986: 80–81]. Инвентарь текстовых категорий рассматривался и продолжает изучаться в русле лингвистики текста и количество текстовых категорий постоянно увеличивается по мере развития этой науки. Изучением текстовых категорий занимался и занимается целый ряд учёных — филологов (И. В. Арнольд, И. Р. Гальперин, З. Я. Тураева, В. А. Кухаренко, Т. В. Юдина и др.). К. А. Филиппов отмечает, что определение круга специальных текстовых понятий, особых текстовых категорий составляет предмет новейшей лингвистики текста. Любая текстовая категория характеризуется определённым идеальным содержанием и системой средств её реализации в тексте. План содержания — это значение текстовой категории, лингвистическая интерпретация понятия о категориальном признаке. План выражения формируется самыми разнообразными средствами: и собственно лингвистическими, принадлежащими различным уровням языковой системы, и средствами, выходящими за рамки языковой системы [Юдина, 2005].

В рамках данной статьи мы стремимся показать, что национально-культурное своеобразие художественного текста является одной из его важнейших категорий. Если некоторые другие текстовые категории могут иметь спорный характер, то национально-культурная и этнопсихологическая составляющие текста являются его неотъемлемыми характеристиками, так как любые общечеловеческие истины, ценности и идеалы могут проявляться в тексте только через национально-своеобразное.

Как любая текстовая категория, категория национально-культурного своеобразия имеет свой план содержания и план выражения. Идеальным содержанием данной категории, по нашему мнению, является национальный этос, а система средств её ре-

лизации распределяется по текстовым уровням — на лексическом уровне — это этноконнотированные ключевые слова, имена собственные с национально-культурной символикой, этноэидемы, слова, обозначающие специфические элементы внутренней культуры. На уровне композиции — это наличие сентенциальных предложений определённого типа, выражающих в сжатом виде моральные установки текста и, следовательно, той культуры, которую он представляет. На уровне сюжетных особенностей — это может быть наличие излюбленных сюжетных ходов, например, традиционного «happy end» для американской литературы. Как показало наше исследование, элементы структуры текста — заголовок, эпиграф, интертекстуальные и интермедийные включения также часто являются средством передачи национально-культурной информации.

Национально-культурное своеобразие относится к содержательным категориям, которые осуществляют связь между текстом и объективной действительностью, отраженной и преломлённой в тексте. Если исходить из того, что антропоцентризм языка, проецируясь на художественный текст, делает ведущей категорией образ автора, определяя выбор языковых средств, необходимо осознавать, что каждый автор принадлежит к тому или иному этносу, и эта принадлежность определённым образом обуславливает концептуальный аспект текста. Объединяясь с «инкапсулированными» в словах каждого языка «основными силовыми линиями общества», «главнейшими культурными интересами» и «первичными мотивациями» [Клакхон, 1998: 53] этот аспект обуславливает национально-культурное своеобразие текста, которое является его константой. Таким образом, эгоцентризм и этноцентризм речемыслительной деятельности должны рассматриваться в диалектическом взаимодействии.

Достижения когнитивной лингвистики позволили по-новому взглянуть и на проблему текста. Стало очевидным, что текст как объект научного анализа может параллельно рассматриваться и с коммуникативных (как т р а н с ф о р м и р о в а н н о е знание) и с когнитивных (как трансформированное з н а н и е) позиций [Шабес, 1989: 141]. Когнитивный подход к тексту сейчас успешно разрабатывается в работах Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина, Н. С. Болотновой, А. Г. Гурочкиной, Т. И. Воронцовой и В. Я. Шабеса.

Фреймовый подход (П. Джонсон — Лэйрд, Т.А. ван Дейк, М. Минский) позволил упорядочить наши представления о процессах порождения — восприятия текста. Как известно, фрейм — это структура данных для представления стереотипных ситуаций. В рамках более развёрнутого определения фрейм — это взаимосвязанная система когнитивных компонентов (совокупность данных), обобщённая, абстрактная репрезентация информации [Минский, 1979]. Как известно, существуют фреймы значений слов, фреймы предложений, фреймы текстов (историй).

Несмотря на неоднозначность целого ряда теоретических вопросов и проблем когнитивной лингвистики, исследователям удалось достичь определённых результатов в области концептуального анализа художественного текста. В данной работе мы будем использовать возможности когнитивного подхода к тексту для выявления национально-культурной специфики его концептуальной модели. Ментальные модели, существующие в нашей памяти как упорядоченные во времени последовательности стереотипных событий, связаны с моделями связного текста, обеспечивают его локальную и глобальную связность, основаны на стратегии планирования текста и на процессе его восприятия [Гурочкина, 2000, 235–239].

Так, концептуальная модель стихотворения современного американского поэта китайского происхождения Ли-Янг Ли «Хурма» («Persimmons»): может быть представлена в виде обобщённого фрейма «иммигрант и его аккультурация». В качестве ведущей темы рассматривается диалог: «новая» культура — «старая» культура. Ключом к пониманию идейного содержания текста является образ «persimmon» (хурма), который символизирует родную для автора природу и отчий дом:

*Oh, the feel of the wolftail on the silk,
The strength, the tense
Precision in the wrist.
I painted them hundreds of time
Eyes closed. These I painted blind.
Some things never leave a person:
Scent of the hair of one you love,
The texture of persimmons,
In your palm, the ripe weight.*

Знаковый подход к тексту позволяет нам определить роль этноспецифических концептов в формировании денотативного и концептуального пространства текста. В романе В. Отто «Лоскутное одеяло» («How to make an American quilt») денотативное пространство формируется целым рядом культурноспецифичных элементов, иерархически организованных в соответствии с текстовой структурой. Название романа актуализирует концепт «quilting», содержание которого претерпело те же изменения, что и многие другие концепты традиционной культуры: необходимое ремесло, искусство, национальное увлечение, поддерживающее «код памяти» нации. Структура романа определяется семью макропозициями, названными инструкциями и пронумерованными в последовательном порядке. Это сигналы внутренней адресации, формирующие образ прогнозируемого адресата — американской женщины, знакомой с данным ремеслом и сохраняющей, таким образом, культурную память своего народа. Тщательное перечисление всех деталей и видов материалов, необходимых для изготовления лоскутного одеяла, убеждает читателя в компетентности автора и способствует, таким образом, более успешному восприятию читателем имплицитной информации, заложенной в тексте:

Take a variety of fabrics: velvet, satin, silk, cotton, muslin, linen, tweed, men's shirting, mix with a variety of notions: buttons, lace, grosgrain, or thick silk ribbon lithographed with city scenes, bits of drapery, appliques of flora and fauna, honeymoon cottages, and clouds. Puff them up with: down, kapok, soft cotton, foam, old stockings. Lay between the back cloth and large expanse of cotton battings. Stitch it all together with silk thread, embroidery thread. The stitches must be small, consisted, and reflect a design of their own. (W.O. — 161).

Символическое употребление образа «quilt» подчёркивает идею многообразия, лежащего в основе формирования американской нации:

Do not forget that the Norse, Spanish, French, Italians, and God knows who else arrived before the English, relative latecomers to this place, and that the Indians stood on the shores, awaiting them all (W.O. — 9).

Диалектика жизни и смерти, истории, добра и зла заключена в концептуальном поле слова «quilt» и формируемой им сю-

жетной метафоре: человеческая жизнь — как лоскутное одеяло — это переплетение предательства, потерь, непонимания и дружбы, прощения и любви. В каждом человеке уживаются два противоречивых желания — быть независимым и в то же время являться частью определённого сообщества:

What you should understand when undertaking the construction of a quilt is that it is comprised of spare time as well as excess material. Something left over from a homemade dress or a man's shirt or curtains for the kitchen window. It utilizes that which would normally be thrown out, "waste", and eliminates the extra, the scraps. And out of which is left comes a new, useful object (W.O. — 9).

Денотативная ситуация, стоящая за текстом рассказа Дж. Коуфера «Беззвучный танец» — это процесс ассимиляции определённой группы иммигрантов в систему культурных ценностей принимающей страны — США. Концепт целого текста, представляющий из себя совокупный смысл, образующийся в результате взаимодействия авторской суггестии и читательского восприятия, можно определить как конфликт культур в процессе ассимиляции и проблема роли культурных «корней» в процессе американизации. В концовке текста в сжатой форме художественного образа «лицо» выражается мысль о том, что каждый человек действительно является пленником своей культуры и, что как бы сильно он не изменил себя, пытаясь приспособиться к новой ситуации, его корни «держат» и «питают» его, не давая превратиться в «среднего» американца:

«My father's uncle is last in line. He is dying of alcoholism, shrunken and shriveled like a monkey, his face is a mess of wrinkles and broken arteries. As he comes closer I realize that in his features I can see my whole family. If you were to stretch that rubbery flesh, you could find my father's face, and deep within that face — mine. I don't want to look into those eyes ringed in purple. In a few years he will retreat into silence, and take a long, long time to die. Move back, Tio, I tell him. I don't want to hear what you have to say. Give the dancers room to move, soon it will be midnight. Who is the New Year's Fool this time?» (J.O.C. — 282).

Категория национально-культурного своеобразия является ведущей категорией художественного текста, обуславливающей

особенности проявления других его категорий, таких как образ автора, модальность, эмотивность, хронотоп. Этнопсихологические особенности определяют авторский взгляд на мир, проблематику и выбор темы. Это положение можно подтвердить анализом стихотворения Ч. Дивакаруни «Indian Movie, New Jersey». Национальный этос определяет авторское видение мира, тематику и проблематику стихотворения. Уже само название задаёт вектор тематической направленности произведения, так как содержит два концепта, принадлежащих к разным культурам — иммигрантской индийской и американской. Диалог культур, как всегда, амбивалентен, включая в себя ассимиляцию и конфликт. Конфликт поколений и утрата традиционных ценностей заключены в следующих концептах: *sons who want Mohawks and refuse to run family store, daughters who date on the sly*. Национально-специфические концепты передаются на родном языке выходцев из Индии, так как национально-специфические прототипы индийского *qurbani* и английского *sacrifice*, индийского *dosti* и английского *friendship* не совпадают. Национально-специфическим является также слово *pakoras*, являющееся названием традиционной индийской пищи, а одноимённый концепт содержит в себе весь эмоционально-смысловой комплекс, связанный с культурой, компонентом которой данная пища является и призван вызвать ассоциации с понятиями дом, родина. Концепты, порождённые новой культурой, делятся на две группы. С одной стороны, это концепты, связанные с идеей материального успеха: *a new gold chain, a trip to India, a yellow two-storeyed house, our own Ambassador car*. С другой стороны — концепты, отражающие расовую враждебность и конфликт культур: *we do not speak of motel raids, cancelled permits, stones thrown through glass windows, daughters and sons raped by Dotbustres*. Ценностные концепты иммигрантского этоса, связанные с идеей американской мечты, выражены лексемами *success, love u luck*, а их расположение в сильной позиции позволяет сделать предположение об их универсальности для иммигрантского сознания.

Проанализированный материал позволяет сделать вывод о том, что изучение художественных текстов является важным направлением когнитивной лингвистики, так как художественный дискурс, являясь, в определённой мере, воплощением коллектив-

ного бессознательного, служит «зеркалом» самоидентификации и наиболее объективным источником изучения национального этоса. Авторская система представлений о мире, направленная адресату, обусловлена его национальной идентичностью и отражает как универсальные законы мироустройства, так и уникальные, индивидуальные идеи. Анализ текстов американской литературы на денотативном и концептуальном уровнях показал, с одной стороны, стабильность национальных культурных идеалов, представленных в текстах в виде ключевых концептов, и, с другой стороны, наличие инокультурных и иноязычных влияний. Национально-культурное своеобразие американского варианта английского языка, объективированное в американских текстах, следует рассматривать, таким образом, как двуединую сущность, объединяющую в значительной степени устоявшиеся свойства доминирующей американской (в основе своей англо-саксонской) культуры и разнообразных пополняющих её иммигрантских культур, вливающих в неё и в определённой степени трансформирующих её. Проанализированные тексты демонстрируют объективацию двух взаимосвязанных и в то же время противоположных тенденций развития национальной идеи — «a melting pot» и «a nation of nations». Национально-культурная специфика является ведущей текстовой категорией, так как она отражает тот «круг восприятия», который язык очерчивает вокруг социума и определяет вектор направленности других важных текстовых функций, таких как, например, образ автора, модальность и эмотивность.

* * *

АРНОЛЬД И. В., 1980. Стилистика декодирования английского языка. Л.

ВОРОБЬЁВА О. П., 1993. Лингвистические аспекты адресованности художественного текста (одноязычная и межъязыковая коммуникация): Автореф. дисс. ...д-ра филол. наук. М.

ВОРОНЦОВА Т. И., 2004. Концептуальная картина мира текста баллады. Хабаровск.

ГАЛЬПЕРИН И. Р., 1981. Текст как объект лингвистического исследования. М.

ГУРОЧКИНА А. Г., 2000. Понятия «скрипт» и «сценарий» и их роль в процессе восприятия и интерпретации текста // *Studia Linguistica* 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка. СПб.

КЛАКХОН К. К. М., 1998. Зеркало для человека: Введение в антропологию. СПб.

ЛОТМАН Ю. М., 2001. Семиосфера. СПб.

МАСЛОВ Ю. С., 1987. Введение в языкознание. М.

МИНСКИЙ М. 1979. Фреймы для представления знаний. М.

МОРОХОВСКИЙ А. Н., 1981. Некоторые аспекты понятия стилистики и лингвистики текста // *Лингвистика текста и методика преподавания иностранного языка*.

ТУРАЕВА З. Я., 1986. Лингвистика текста: (Текст: структура и семантика). М.

ШАБЕС В. Я., 1989. Событие и текст. М.

ЮДИНА Т. В., 2001. Напряженность как энергодинамическое свойство текста и предложения // *Проблемы теории европейских языков. Studia Linguistica* 10. СПб.

Источники и принятые сокращения

JOС — Cofer J. O., 1993. *Silent Dancing*// Ford M. *Coming from Home: Readings for Writers*. N. Y.

ChD — Divakaruni Ch., 1993. *Indian Movie*, New Jersey Ford M. // *Coming from Home: Readings for Writers*. N. Y.

LYL — Lee L-Y., 1998. *Persimmons. The Norton Anthology of American Literature. Fifth Edition. Volume 2*. W.W. Norton & Company. N. Y. / L.

WO — Otto W., 1994. *How to Make an American Quilt*. Villard Books. N. Y.

Н. А. Бондарева

СМЫСЛОВОЙ ХАРАКТЕР ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОСИСТЕМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ

Система понятий любой отрасли науки обусловлена познавательной деятельностью людей, отождествлением и разграничением в ходе этой деятельности явлений окружающей деятельности.

Известно, что одним из наиболее важных и универсальных методов познания является классификация. Цель научной классификации — установление взаимосвязей между отдельными явлениями действительности на основе общности или различия составляющих их компонентов.

Расчленяя и объединяя части, стороны предмета на основе логического анализа и синтеза в процессе научного познания, специалист оперирует терминами, организуя их, как и понятия в четкую классификационную схему.

Вопрос о системных связях терминов может быть решен на основе моделирования понятийной системы той или иной отрасли знания. Системная организация терминологического поля на основе научной классификации обуславливает системную организацию терминологической лексики. При построении модели терминополья необходим метаязык, в качестве которого может выступать естественный язык, где минимальный отрезок смысла, элементарное значение приравнивается к слову [Караулов, 1976: 65]. Так как термин — это не только слово, но словосочетание, отражающее сложное понятие, то и отрезок смысла, при помощи которого осуществляется дифференциация понятий внутри терминополья, может быть представлен в метаязыке словосочетанием.

Следуя при моделировании терминополья на логико-понятийной основе за научной классификацией, нужно учитывать то, что объекты действительности внутри каждой области знания могут быть классифицированы по нескольким основаниям.

Вершинами логико-понятийных моделей терминополья в современной юридической терминологии русского и английского языков будут соответственно понятия, передаваемые терминами право и law. Дифференциальные признаки, выделяемые в рус-

ском и английском праве, по своему содержанию могут по-разному соотноситься между собой. В одном терминополье объекты действительности могут быть классифицированы более подробно, в другом терминополье одинаковые объекты включаются в более крупные группы.

Так, в российском праве в микрополе «Преступление» выделяются следующие классификационные признаки:

- преступления против личности
- преступления против общественной безопасности и общественного порядка
- преступления в сфере экономики
- преступления против государственной власти
- преступления против военной службы
- преступления против мира и безопасности человечества.

В английском праве классификация преступлений иная. В нем выделяются следующие виды преступлений:

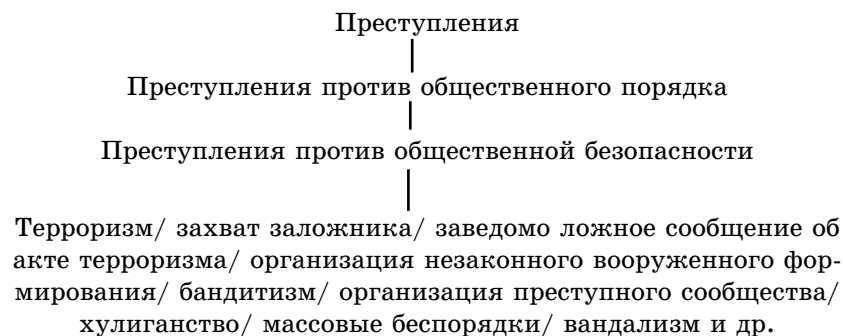
- преступления против государства
- преступления против собственности
- преступления против правосудия
- преступления против религии
- преступления против чести
- преступления против телесной безопасности
- преступления против нравственности.

Различия в классификации довольно значительны. Так, термин «преступления против собственности» в английском праве является родовым, а в российском — видовым по отношению к термину «преступления в сфере экономики», что отражает разный подход юристов к классификации сходных явлений.

Поскольку общественный опыт носителей языка, их мировоззрения могут не совпадать, то и «отражение мира в различных языках, будучи адекватным, не является однолинейным». Следовательно, состав терминов в разных языках, деление терминополья на отдельные макро- и микрополя отражает существующую систему научных представлений, основанных на общественном опыте.

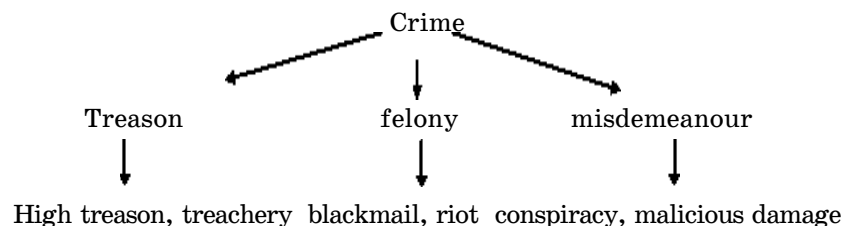
Логическими отношениями внутри терминополья являются отношения род-вид, вид-подвид, следовательно, следует предположить поэтапное усложнение структуры термина, которое на са-

мом деле и происходит (право-материальное право, law-common law). Понятия предельной степени дифференциации могут быть выражены как словосочетанием, так и словом, а общие понятия могут быть выражены словосочетанием:



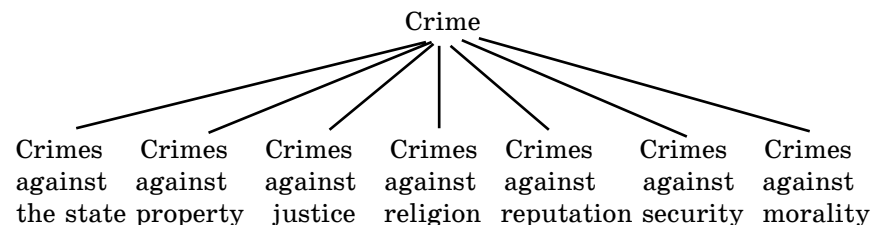
В иерархической структуре терминополья нельзя установить жесткой закономерности между степенью детализации понятий и их языковым выражением. Усложнение терминов на следующих ступенях дифференциации существует в виде тенденции, но не правила. Происходит это по разным причинам, которые осознаются лишь в плане диахронии и имеет экстралингвистическую обусловленность.

Так, в английском праве исторически сложилась следующая классификация преступлений:



В этой классификации заметна тенденция к усложнению структуры терминов последней степени дифференциации. Составные термины high treason, malicious damage обозначают периферийные понятия терминополья.

С конца XIX в. различия между понятиями, обозначенными терминами felony и misdemeanour, начинают ослабевать. Место этой классификации занимает дифференциация по направленности преступления. В старой классификации выпадает классификационный ряд, представленный терминами treason, felony, misdemeanour. Их место занимают другие термины, представляющие собой языковое распространение термина crime:



Термины предельной степени дифференциации сохранились и лишь перераспределились по группам. Видовой термин может стать родовым, а родовой — видовым. Примером первого может служить английский термин felony, а примером второго — русский термин «воровство», который в древнерусском языке обозначал также любое преступление, а со временем отошел на периферию терминосистемы, приобретая значение конкретного вида преступления.

Изменение в структуре терминополья могут быть вызваны и появлением нового классификационного ряда. В этом случае происходит перераспределение терминов по различным группам. Так, в русской терминологии, как и в английской, в начальные периоды существования не было промежуточной классификации преступлений и их деления по направленности (преступления против государственной власти, преступления против личности и др.). Появление новой степени вызвало распределение уже существовавших терминов по группам, в которых видовые понятия были обозначены словосочетаниями, а подвидовые как словами, так и словосочетаниями.

Большое значение для перераспределения терминов имеет интеграция понятий в процессе классификационной деятельности специалистов. Системная организация терминологии основыв-

вается на дефиниции терминов. Выделяют несколько типов дефиниций: а) условные (даваемые определенным человеком для каких-либо практических целей); б) характеристические, в которых выявляется сущность понятия; в) критериальные, в которых указывается один из отличительных признаков понятия; г) описывающие употребление [Fillmore, 1971: 50–51].

подавляющее большинство дефиниций терминов права являются условными. Так, разница между jail и prison в ряде штатов США определяется сроком тюремного заключения. Условность юридических терминов проявляется и в значительной доле неясности и размытости толкований таких понятий, как intention — намерение, malice — злой умысел [Fillmore, 1971: 52] в американском праве, терминов «вред», «намерение» в русской терминологии права.

Таким образом, смысловая системная организация терминологической лексики детерминирована научной классификацией, в которой отражаются экономические отношения в обществе, специально-юридические, исторические и гносеологические факторы, определяющие различный подход к выделению и классификации явлений действительности и обуславливающие изменение существующей классификации, что влечет за собой перераспределение терминов по вновь выделяемым микрополям и нарушение тенденции к усложнению терминов в соответствии с усложнением понятий.

* * *

КАРАУЛОВ Ю. Н., 1976. Общая и русская идеография. М.
FILLMORE С. J., 1971. Studies in linguistics. N.Y.

Г. В. Елизарова

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ГУМАНИТАРНОЕ

Общеизвестно, что мы живем не только в новом веке и новом тысячелетии, но и в новом, глобальном, мире. Готовя выпускников к жизни в нем, мы должны учитывать его особенности, включая сферу межкультурного общения.

Специалисты нового типа должны владеть технологиями общения, взаимодействия и воздействия, позволяющими обеспечивать непротиворечивое, продуктивное сотрудничество личностей на благо каждой из них и общества в целом. **Обобщенно такие технологии можно назвать «гуманитарными», основанными на «человеческом измерении» бытия и направленными на его совершенствование.**

Становление такой системы во многом зависит от установления закономерностей межличностного взаимодействия нового типа и «оснащения» личностей студентов вузов такими качествами, такими гуманитарными технологиями, которые позволят им плодотворно работать и жить в условиях XXI века.

Определение требуемых качеств личности посредством исследования и учета условий и потребностей общения, выработка методик их формирования в процессе обучения в вузе выдвигаются как первоочередные цели образовательного процесса. Способность достигать желаемого результата не на основе давления и вынуждения, а за счет взаимопонимания и взаимной приемлемости положения дел для всех участников общения становится нормой поведения в современном демократическом обществе. Взаимопонимание — это и цель, и результат современного общения. Для его достижения личность должна обладать не только способностью к межкультурному общению, но и способностью к эвристическим процедурам постоянного познания новых элементов (значений, способов) общения.

Процесс обучения в современном вузе призван не столько снабжать обучающихся знаниями и формировать их профессиональные умения в предметной сфере, сколько оказывать такое воздействие на личность, в результате которого она на основе собственных потребностей и усилий преобразуется в саморазви-

вающийся, эмоционально зрелый интеллектуально-познавательный организм, способный справляться с непредвиденными ситуациями общения посредством применения гуманитарных технологий. Суть последних заключается в способности определения или создания уникальных для каждой личности инструментов поиска, обработки и практического применения информации; способов взаимодействия с людьми и методов ненасильственного воздействия на людей с целью достижения взаимоприемлемых результатов сотрудничества.

Одну из главенствующих ролей в формировании личности, определенной выше, играет ее культурная принадлежность (культурная идентичность) и способность к межкультурному взаимодействию. Культура представляет собой сложнейший феномен, определяющий систему ценностных ориентаций, как общества в целом, так и отдельной личности — носителя определенной культуры. Национальные культуры формируются в столь различных природных и социальных условиях, что их прямое сравнение ведет к искажению аутентичных представлений и формированию стереотипов. Сопоставительное изучение культур гораздо более продуктивно через механизм культурных универсалий и рассмотрения параметров каждой культуры в эмическом (внутренне обоснованном) аспекте. При этом каждая культура находит уникальное отражение в языке — ее носителе. Усвоение только формы этого языка без учета культурного компонента его значения ведет к поведению, отражающему собственные культурные нормы человека, владеющего иностранным языком, и входящему в конфликт с поведением носителей иноязычной культуры.

Всеобъемлющее влияние культуры на личность детерминирует не только лингвистические, но и психологические аспекты общения, облегчая общение носителей одной и той же культуры и затрудняя общение носителей разных культур. Межкультурное общение имеет собственные закономерности, которые радикальным образом влияют на взаимодействие субъектов такого общения.

Для осуществления продуктивного межкультурного общения, опирающегося на учет его лингвистических и психологических особенностей, личность должна обладать межкультурной компетенцией. Это компетенция особой природы. Она не тождественна коммуникативной компетенции носителя языка и может быть

присуща только некоему межкультурному посреднику — личности, познавшей посредством изучения языков и культур, как особенности разных культур, так и особенности их (культур) взаимодействия. **Межкультурная компетенция — это такая способность, которая позволяет человеку выйти за пределы собственной культуры и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности.** Межкультурная компетенция обладает комплексной структурой. Ее формирование происходит не только в интеллектуально-когнитивной области, но затрагивает психические и эмоциональные процессы.

Однако прежде чем формировать межкультурную компетенцию, необходимо разобраться в природе самого феномена культуры, понять его релятивную природу, неразрывную и весьма сложную связь с языком; осознать специфику процесса атрибуции значений всему происходящему на основе родной для носителя культуры и многое другое.

Культура является чрезвычайно сложным феноменом. Исследовать его можно с различных позиций. Наиболее продуктивным для взаимодействия людей в современном обществе является такое понимание культуры, которое демонстрирует сходство ее природы с природой человеческого языка и одной из его самых распространенных форм — текста. С этих позиций культура может пониматься в единстве трех функций: семиотической, социальной (как существующая только в обществе, обеспечивающая его целостность и передачу системы ценностей от одного поколения к другому) и когнитивной, заложенной в ментальных структурах индивида и позволяющей ему интерпретировать происходящее вокруг и с ним самим.

Все проявления культуры: материальные, духовные, речевые и прочие могут рассматриваться по аналогии с языком как «означающие», обладающие определенным культурным значением. Культурное значение носит комплексный характер. Его основной чертой является индексальная природа. Это означает, что в событиях, фактах, тенденциях зачастую невозможно вычленивать такие компоненты, которые отражают в качестве «означающего» некоторую культурную ценность. В большинстве случаев события, явления, институты общества, человеческое поведение отсылают к культурным ценностям, связывают посредством

единой системы таких ценностей всех носителей конкретной культуры в единое целое — культурную общность.

Единство системы ценностей, имплицитно присутствующее в жизнедеятельности культурной общности, обеспечивает общее культурное значение конкретных проявлений культуры на различных уровнях, благодаря которому индивиды и коллективы могут эффективно общаться в рамках одной культуры. При общении представителей различных культур на едином языке (либо родном для одной из сторон, либо иностранном для всех участников общения) **культурный компонент значения определяется родной культурой**, находится в области бессознательного и при его игнорировании может стать причиной разногласий в трактовках явлений и событий и привести к нарушению общения. Подлинное общение базируется на выработке, создании общего для участников общения культурного компонента значения.

Создание такого значения возможно и реально происходит в ходе совместной деятельности при доминировании деятельности речевой. Для того чтобы обрести умение создавать общее культурное значение при общении представителей различных культур, необходимо в первую очередь знать, каким образом и какие именно культурные ценности индексально представлены в языке, используемом для общения, и в речевых произведениях, исполненных на этом языке.

Итак, как было отмечено выше, наиболее рациональным представляется такое понимание феномена культуры, которое сближает культуру с языком и широко понимаемым текстом, включающем, наряду с вербальными, и невербальные компоненты.

Человеческий язык выполняет, как минимум, три основные функции: социальную функцию общения, семиотическую функцию репрезентации явлений различной природы и когнитивную функцию формирования мысли [см., например, Будагов, 1983: 250]. Если исходить из аналогии культуры и языка, возможно, такое понимание культуры, которое отражает ее социальный характер, акцентирует ее релятивную знаковую природу, а также учитывает тот факт, что явление такой природы должно иметь отражение в когнитивных структурах индивида.

Мы берем за основу семиотическое (знаковое) понимание культуры, при котором все ее формальные проявления, включая речевую деятельность, отсылают носителей этой культуры к системе

присущих ей значений. При этом считаем, что конвенциональные культурные значения, с одной стороны, кристаллизуются в ходе социальной практики, а с другой, отражаются в ментальной реальности носителей культуры и обуславливают интерпретацию индивидами окружающей действительности. Однако культурные значения не замыкаются на мыслительных концептах, они обладают динамичной природой, связаны с действительностью и существуют во взаимодействии с нею.

Акцент на семиотической сущности культуры позволяет трактовать ее как широко понимаемый текст, интерпретация которого в эмических терминах, то есть сообразно его внутренним закономерностям, позволяет понять его исходное значение и действовать в соответствии с таким пониманием.

Совершенно очевидно, что культура представляет собой сложнейшее явление. Задача установления исчерпывающего перечня ее компонентов еще ждет своего решения. Ограничимся такими аспектами ее содержания, которые, получили если не единодушное признание, то хотя бы признание большинства исследователей культурной антропологии и антропологической лингвистики. Если трактовать культуру аналогично тексту, то в ней должны быть означаемое и означающее.

Прежде всего, на поверхности любой культуры как семиотической, текстовой системы находятся *формы*. Материальные формы искусства и быта, ритуальные формы поведения, институциональные формы общества и т. д. В нашем понимании разными, но равноправными, являются, например, такие формы культуры, как стол и стул и система выборов. При взаимодействии с любой культурой мы сталкиваемся не только с дискретными формами, но с различными взаимоотношениями между формами. Эти отношения могут быть пространственными, временными, семантическими и символическими, отношениями включения или исключения, инструментальными и другими и по аналогии с анализом текста могут быть названы *пропозициями*. Например, в качестве пропозиции может выступать «взаимодействие» стола и стула: их форма, дистанция и т.д. Например, столы и стулья в учебных или государственных учреждениях.

Так, в аудиториях университетов США стол часто совмещен со стулом, предназначен для одного студента, свободно переме-

щается по аудитории и вместе с другими столами такой же формы располагается полукругом относительно той точки, в которой размещен преподаватель.



В российской университетской аудитории столы, как правило, рассчитаны на двух человек, фиксированы в определенных местах и все обращены лицом к преподавателю



В рамках культуры пропозиции, принимаемые как истинные, представляют собой *убеждения* (*beliefs*). Истинность убеждений никак не связана с логикой или эмпирическими соображениями [Davidson, Thompson, 1980]. Они истинны просто в силу того, что принимаются таковыми практически всеми носителями определенной культуры. Задача не в том, чтобы установить причины конкретных культурных значений, а в том, чтобы определить сами эти значения, тем более что большинство из них абсолютно произвольны. Например, приведенные выше пропозиции переходят в категорию убеждений если и именно тогда, когда американцы и россияне считают описанное расположение мебели в учебных аудиториях приемлемым и верным.

Приведем другой пример. В российской культуре белый цвет ассоциируется с чистотой, праздником и свежестью, а черный — со строгостью, официальностью и трауром. Однако традиционными нарядами на свадьбе являются белый — для невесты и черный — для жениха. Возникает вопрос, прозвучавший в старом анекдоте, когда внучка спрашивает у бабушки «Почему невеста вся в белом?» Бабушка отвечает «Потому, что это самый светлый день в ее жизни», внучка задает следующий вопрос «А почему тогда жених весь в черном?», ибо черное ассоциируется с трауром и юмор анекдота в подразумеваемом значении относительно того, что для жениха свадьба — самый «черный» день в его жизни.

Примеров произвольности убеждений, то есть представлений о том, как принято, как должно быть, можно привести очень много. Среди таких примеров представления о символическом значении количества цветов в букете. В российской культуре нечетное число ассоциируется с радостными событиями (дни рождения, юбилеи, признания в любви и прочие), а четное — с печальными (похороны). В других культурах таких ассоциаций нет и цветы, как правило, продают дюжинами, то есть четными количествами. Если не иметь представлений о значении названного убеждения, можно совершить поступок, который будет воспринят в рамках конкретной культуры как негативный. Такое может произойти, если французский молодой человек преподнесет своей российской подруге букет из четырех цветов.

В рамках каждой культуры убеждения группируются во внутренне сбалансированные системы. Некоторые из убеждений ко-

ренятся в каждодневной практике, являются осознаваемыми и воспринимаются как самоочевидные истины. Например, в российской культуре большинство ее носителей убеждены в том, что если женщина переносит тяжелые вещи, мужчине следует ей помочь; в американской культуре убеждение большинства состоит в том, что делать этого ни в коем случае не следует. Оба названных убеждения вполне осознаваемы. Необходимость оказания помощи в российской культуре проистекает из убеждения в том, что женщины слабее мужчин и помощь есть проявление заботы; в американской культуре предложение помощи расценивается как указание на женскую слабость, а значит, на превосходство мужчин и, в конечном счете, на неравноправие.

Другие убеждения являются производными от первых, логически с ними совместимыми и могут быть как осознаваемыми, так и бессознательными. Так, не вполне осознаваемым в терминах «почему мы так делаем», но разделяемым подавляющим большинством носителей культур, является представление об очереди. В российской культуре вполне приемлема такая модель поведения, в которой к **одному** человеку, стоящему в очереди, присоединяются другие — члены семьи, друзья и просто знакомые. У окружающих такое положение дел вызывает неудовольствие от увеличения времени ожидания, но не вызывает возражений, поскольку в других обстоятельствах эти самые «окружающие» ведут себя аналогичным образом. В американской культуре поведение подобного рода абсолютно неприемлемо и недопустимо, а попытка его осуществить (встать в очередь перед своим другом или вместе с ним) вызовет не просто осуждение, но бурное негодование и не будет допущена. Если попросить и русских, и американцев объяснить, почему они так реагируют, то совсем немногие найдут убедительные аргументы в пользу описанного поведения. Оно расценивается как само собой разумеющееся и наиболее типичной реакцией у носителей обеих культур будет «Неужели непонятно?!» В основе представленных бессознательных убеждений, конечно, лежат довольно стройные представления о необходимом порядке вещей. У россиян это представления о том, что необходимо заботиться не только о себе, но и друзьях, что коллектив, группа, круг друзей или родственников для того и нужен, чтобы извлекать из его существования преимущества и

пользоваться ими. У американцев это представления о том, что все люди в равной ситуации (в данном случае в ситуации наличия очереди) должны быть равны и получать нечто в порядке этой самой очереди, что использовать численное преимущество своей группы — это дискриминация, несправедливость по отношению к другим людям, у которых в данный момент отсутствуют друзья или родственники, но каждый из которых в отдельности равен в правах каждому члену временно присутствующей группы. Кроме того, при включении в очередь новых людей, нарушается представление уже стоявших в ней о времени, которое потребуется для достижения цели, что тоже очень существенно для американцев.

Очень важной для существования человеческих сообществ является тенденция систематизации убеждений в ходе рационального осмысления опыта. Персональное восприятие отдельных пропозиций в системе убеждений отдельных личностей может сильно варьироваться, однако они разделяют общую приверженность системе убеждений как таковой. Существенным для координации социального взаимодействия и взаимопонимания является не всеобщая приверженность определенному набору пропозиций, но наличие у всех участников общения представления о таком наборе пропозиций, на основе чего действия или явления обладают предсказуемостью. Так, молодые люди могут не соблюдать общепринятых норм поведения, могут, например, делать себе вызывающие прически или носить нестандартные одежды, однако все они понимают, что система стандартных представлений и образцов существует в обществе. Более того, сам факт нестандартного поведения воспринимается таковым только на фоне стандартов и часто несет вполне конкретное значение несогласия с ними.

Эмоциональные факторы желания и нужды, привносимые в убеждения, приводят нас в область *ценностей*. «Ценности — это внутренние... стандарты для направления действий... стойкая уверенность в том, что специфическая модель поведения... лично и социально предпочтительнее альтернативных моделей...» [Rokeach, 1968: 160]. **«Ценности — это разделяемые (всеми) представления о целях общественной жизни и средствах их достижения. Они выражают коллективное мнение о том, что важ-**

но и не важно, хорошо и плохо» [Gudykunst, Kim, 1992: 35] и являются одним из важнейших признаков этноса [Караулов, 1987: 47]. Они могут быть представлены как сложные, но определенным образом смоделированные принципы, которые придают порядок и направление вечному потоку человеческих действий и мыслей. Люди не оценивают явления только как положительные и отрицательные. Одни и те же объекты и события могут огорчать и радовать одновременно. В восприятии и оценивании люди прибегают к всевозможным психологическим механизмам, таким как сублимация, проецирование, компрессия и другим, которые в итоге могут привести к образованию убеждений, лишенных логики, и обычаев, которые на поверхности кажутся непосвященному наблюдателю совершенно нелепыми или даже болезненными.

Для того чтобы ценности отдельных людей не входили в противоречия друг с другом, культура вырабатывает социальные *правила*, представляющие собой *системы ценностей*. Правила носят конституирующий характер и накладывают ограничения на любую деятельность, в том числе и на импровизационную. Они придают деятельности всеобъемлющую, определенную рамками каждой культуры, структуру.

Убеждения и ценности представляют собой точки отсчета и определяют все остальное поведение [Humes, 1995: 274]. Отдельный человек воспринимает любую ситуацию, включая поведение других, как совокупность или последовательность форм, отражающих пропозиции и понимает, интерпретирует их по определенным правилам. Убеждения, касающиеся взаимоотношений форм, и ценности, которые ассоциируются с этими убеждениями, и позволяют ему соотносить их со своим внутренним состоянием и конструировать свое поведение. Поведение не является хаотическим, и индивиды не строят его каждый раз заново. Они «пользуются» тем, что В. Гудинаф называет *рецептами* [Goodenough, 1981: 81], а М. Агар [Agar, 1994: 119] — *моделями*. Рецепты, или модели, относятся к представлениям (осознанным или бессознательным) о том, как надо действовать, вести себя, так чтобы поведение носило приемлемый характер. Само актуальное поведение относится к разряду *обычаев и типичных действий*. В рамках одной и той же модели в зависимости от

качеств личности и обстоятельств возможны варианты обычаев и действий.

Здесь необходимо отметить, что носители различных культур могут обладать одинаковыми или похожими ценностями, но воплощать их в совершенно различных обычаях и наоборот. Обычай, как большинство проявлений культуры, часто утрачивают ощутимую связь с лежащей в их основе моделью и породившей ее системой ценностей, и рассматриваются просто как «естественные». Однако функция обычая всегда включает его значение и ценность, которые являются важными для понимания того, почему определенная модель продолжает реализовываться в обычаях и составлять институт жизни.

Перечисленные компоненты характерны для любой культуры и составляют то, что можно назвать *культурой вообще* (culture general). Наполнение и пропорции этих универсальных компонентов в отдельно взятой культуре будут уникальными и составят специфику конкретной культуры (culture specific).

Итак, глобальный вопрос о соотношении универсалий и вариаций в области культуры приобретает форму соотношения некоторых универсальных составляющих, которые в каждой культуре наполняются специфическим образом. До некоторой степени такое деление можно сопоставить с широко употребляемыми терминами «общечеловеческого» и «специфического», но только, если под «общечеловеческим» понимать не морально-этические ценности, а ценности, носящие универсальный характер в силу своего присутствия в каждой из отдельных культур.

Иными словами, «универсалии ни в коем случае не гарантируют единообразие, точно так же как вариативность не предполагает отсутствия универсалий. Не существует таких приобретенных человеческих навыков, которые одновременно не поддерживались бы когнитивными предрасположениями и не трансформировались бы специфической культурной традицией» [Levinson, 1996: 141].

Определив составляющие культуры, попробуем наполнить «означаемое» — содержательную сторону культуры, ее систему ценностей — конкретными значениями. «**Ценности**» и «**ценностные ориентации**» употребляются как синонимы, обозначающие «**системно связанные ценностные представления, реально детерминирующие поступки и действия человека, проявляющиеся и**

обнаруживающиеся в практическом поведении, определяющие качественное своеобразие жизнедеятельности личности» [Бакиров, 1988: 152]. Параметры, по которым могут определяться ценностные ориентации конкретной культуры, включают в себя отношение к: времени, пространству, природе, деятельности, характеру общения, характеру аргументации в ходе общения, личной свободе и автономности личности, соперничеству, власти, природе человека. По отношению к каждому из перечисленных параметров, культуры находятся в некотором континууме от одного из полярных значений до другого.

Способность определить значения перечисленных культурных ценностей в каждой из взаимодействующих культур, включая собственную, и действовать таким образом, чтобы они гармонично взаимодействовали при межкультурном общении, и есть гуманитарная технология, которой должны владеть наши выпускники.

* * *

БАКИРОВ В.С., 1988. Ценностное сознание и активизация человеческого фактора. Харьков.

БУДАГОВ Р. А., 1983. Язык — реальность — язык. М.

КАРАУЛОВ Ю. Н., 1987. Русский язык и языковая личность. Наука. М.

AGAR M., 1994. Language Shock: Understanding the culture of conversation. N.Y.

DAVIDSON A., THOMPSON E., 1980. Cross-cultural studies of attitudes and beliefs // Triandis H., Brislin R. (eds.) Handbook of cross-cultural psychology. Boston.

GOODENOUGH W.H., 1981. Culture, language, and society. — London, Sydney: Amsterdam.

GUDYKUNST W.B., KIM Y.Y., 1992. Communicating with strangers: an approach to intercultural communication. N.Y.

HYMES D., 1995. The Ethnography of Speaking // Blount B. G. (ed.) Language, culture and society.

LEVINSON S.C., 1996. Introduction to Part II // Gumperz J. J., Levinson S. C. (eds.) Rethinking linguistic relativity.

ROKEACH M., 1968. Beliefs, attitudes and values. San Francisco.

В. В. Кабакчи

ВСТУПАЯ В КРУГ ДРУГОГО ЯЗЫКА (ЗЮСКИНД, НАБОКОВ, РУБИНА)

Расширение межкультурных контактов делает необходимым изучение самых разнообразных случаев международного языкового общения. Важное место при этом занимает проблема *иноязычного описания родной культуры* [Кабакчи, 1998]. Сейчас уже ни один народ, включая и те, которые сами изъясняются на языках международного общения, не может оставаться в изоляции. Становится необходимым, превратить ведущие языки во *вторичное средство своего культурного самовыражения*.

В ходе изучения это проблемы мы учитываем *функциональный дуализм языка*: язык является средством общения конкретного народа, будучи в то же время универсальным средством общения, в том числе и в контактах с иноязычным миром.

Язык, если это естественный язык, не существует вне тесной связи с исторически обслуживаемой им культурой, образуя при этом диалектическое единство — *лингвокультуру*. На базе *логистики* данного языка, то есть базовых лексико-грамматических правил соединения слов в текст, язык постепенно создает *инфраструктуру*: словарь, включающий культурную номенклатуру (*культуронимы*), фольклор, эпос, художественную литературу, речевой этикет; фонд идиоматических выражений. В конечном счете, оформляется национальная литературная норма. Говорящий на родном языке имеет в своем распоряжении богатый выбор языковых средств, позволяющих ему принимать участие в самых разнообразных коммуникативных ситуациях.

Вместе с тем, будучи универсальным средством общения, язык вырабатывает также языковые средства, обеспечивающие ему возможность вступать в контакт с окружающим миром. Иными словами, язык не остается в рамках «своей» (*внутренней*), культуры, будучи также средством описания мира «внешних», то есть иноязычных, культур. Особенности изучения последнего вида общения, в первую очередь — в рамках англоязычного описания русской культуры, и привлекают наше внимание.

Описание иноязычной культуры — это самостоятельная сфера коммуникации, в рамках которой формируется автономная разновидность языка — *язык межкультурной коммуникации* (ЯМК), то есть тот вид общения, в ходе которого *язык обращен в область иноязычной (внешней) культуры*.

Тезис о единстве языка и культуре, лингвокультуре, подтверждает это многократно цитируемое мнение: «...каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка». [Гумбольдт, 1984: 80]

Интересующий нас вид языкового общения, межкультурная коммуникация, фактически являет собой пересечение двух лингвокультур, и, как показали проведенные нами исследования, вторжение языка в иноязычную культуру непременно сопровождается появлением в языке общения иноязычных элементов — *инолингвокультурного субстрата* (ИЛКС). Причем чем глубже проникновение языка в иноязычную культуру, тем разнообразнее виды ИЛКС. Иноязычные элементы в тексте описания иноязычной культуры — это неотъемлемая черта *языка межкультурной коммуникации*.

Поскольку англоязычные тексты, созданные нами самими, то есть написанные на иностранном языке, не могут служить объективной базой изучения языка межкультурной коммуникации, мы обращаемся к тем текстам, которые созданы *носителями либо родного, либо второго языка общения*. Подобные тексты мы называем *аутентичными*. При этом мы исходим из положения, что язык межкультурной коммуникации — это универсальное явление, которое существует вне зависимости от конкретного соединения языка и культуры. Иными словами, русскоязычное описание китайской культуры в своей основе схоже с описанием русской культуры на японском языке, хотя, безусловно, при этом будет присутствовать и своя специфика. Это, в частности и объясняет выбор анализируемых в статье трех авторов — Зюскинд (родной немецкий язык); Рубина (родной русский язык) и Набоков (второй английский язык).

Иноязычные описания культуры могут быть самых разнообразных жанров и стилей: научные и популярные; публицистические и художественные; устные и письменные, оригинальные

и переводные. Наша цель — проследить появление в этих текстах ИЛКС и то, в какой мере автору удается передать специфику описываемой культуры. Инолингвокультурный субстрат (ИЛКС) наилучшим образом проявляется в художественных текстах, которые и становятся здесь объектом обсуждения.

Patrick Süskind. Das Parfum. Die Geschichte eines Mörders.

Патрик Зюскинд (род. 1949 г.) — немецкий писатель. Учился в университетах Мюнхена и Aix-en-Provence (Франция). Роман **Das Parfum**, опубликованный в 1985 г., мгновенно стал международным бестселлером.

Герой романа, Жан-Батист Гренуй, гений-убийца, опровергающий, следовательно, мнение, что гений и злодейство две вещи несовместные. У него патологически обостренная способность распознавать запахи и создавать их новые комбинации, что, безусловно, является бесценным даром для парфюмерии. Талант Гренуя — его счастье и его трагедия, которая и приводит его к преступлениям и, в конечном счете, гибели.

Поскольку вся эта трагическая история происходит во Франции, а роман написан на родном немецком языке, нас в первую очередь интересует, в какой мере автору удалось передать колорит французской культуры и какую роль при этом играет ИЛКС.

Роман держит читателя в напряжении с первой до последней страницы и вызывает восхищение глубиной проникновения автора в суть описываемого явления, знанием огромного количества деталей парфюмерного дела и мира источников запахов. Однако, «лингвиста-межкультуролога», изучающего языковые приемы передачи специфики описываемой иноязычной культуры, роман Зюскинда разочаровывает.

Знакомство с романом не вызывает никаких сомнений относительно превосходного знания автором французского языка, но собственно культура в романе отсутствует. Более того, возникает впечатление, что автора она не очень-то интересует, что для него это не самое главное. ИЛКС (инолингвокультурный субстрат) представлен в романе весьма однообразно.

Действительно, читатель обнаруживает в романе обилие трансплантированной французской общей и городской топонимики:

... zunächst nach Westen hin zum Foubourg Saint-Honoré, dann die Rue Saint-Antoine hinauf bis zur Bastille, and schließlich sogar

auf die andere Seite des Flusses hinüber in das Sorbonneviertel und in den Foubourg Saint-Germain ... [Süskind: 42] = ...сначала на запад к предместью Сент-Оноре, потом вверх по улице Сент-Антуан до Бастилии и, наконец, даже на другой берег реки до квартала Сорбонны и предместья Сен-Жермен... (44)

Посоветуем, обратить внимание на проникновение ИЛКС и в текст русского перевода (Э. Венгеровой).

Приводятся в романе Зюскинда и трансплантированные названия журналов: *Journal des Sçavans*; *Courier de l'Europe* [Süskind: 183]

Вместе с тем, в текст включаются типично немецкие речевые обороты там, где авторы аутентичных художественных текстов описания иноязычной культуры обычно включают заимствования:

“Gott zum Gruße, Pater Terrier, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag!” [Süskind: 12] <> ... weiß Gott! [Süskind: 227]

Wie sollte er riechen? Duziduzi? Gar nicht! [Süskind: 20].

Зато чисто бытовые франкизмы чрезвычайно редки:

zwanzig Livre [Süskind: 101] <> zwanzig Franc [Süskind: 119] <> “Monsieur”, begann er ... [Süskind: 164] <> Marquis de la Taillade-Espinasse [Süskind: 158]

Повсюду, где это возможно, автор приводит немецкие кальки, в частности, названий духов:

Vierräuberessig; Waldblume; Türkische Nächte [Süskind: 62].

А если появляется заимствование, то логика его предпочтения непонятна: *Bouquet de la Cour* [Süskind: 62]. Кстати, в русском переводе также калька: «Букет королевского двора» (65)

В романе полностью отсутствуют «параллельные конструкции», то есть вводно-поясняющие обороты, столь присущие текстам этого типа [Кабакчи, 1998: 52].

В целом для профессионального переводчика текст больших проблем не представляет, поскольку названия многочисленных растений, предметов домашней утвари и прочее без труда присутствуют в любом развитом языке. Достаточно сравнить оригинал с русским переводом:

1. Er machte Jagd auf Winterfliegen, Larven, Ratten, kleinere Katzen und ertränkte sie in warmem Fett. Nachts schlich er sich in Ställe, um Kühe, Ziegen und Ferkel für ein paar Stunden mit

fettbeschmierten Tüchern zu umhüllen oder in ölige Bandagen ein zuwickeln. [Süskind: 210] Ср.: Он стал ловить зимних мух, личинок, крыс, мелких кошек и топить их в горячем жире. По ночам он залезал в сарай к коровам, козам и пороссятам, чтобы на несколько часов завернуть их в обмазанные жиром холсты или обмотать промасленными бинтами. (217)

2. Das Jahr began mit der gelben Flut von Kassien, mit Hyazinthen, Veilchenblüte und narkotischen Narzissen. [Süskind: 215] Ср.: Год начался желтым потоком кассий, гиацинтами, фиалками и сладким дурманом нарциссов. (222)

В результате роман очень удобен для культурного римейка: место действия без каких-либо серьезных проблем может быть перенесено, например, в Швейцарию, Польшу или Россию соответствующего периода.

Значительно больший интерес в плане изучения инолингвокультурного субстрата представляет так называемая «второязычная литература».

«Второязычная литература».

Во второй половине 20-го века специалисты заговорили о существовании вида литературы, у которой даже не было названия. Литераторы с удивлением и подозрением обнаружили, что у них появились незванные конкуренты: иностранцы, которые пишут на их родном языке. В 1974 г. выходит работа Б. Кинга с характерным заглавием *Literature of the World in English*. В 1983 г. А. Л. Weir признает, что исследования того, что он называет *New English Literatures*, остаются на периферии традиционных областей изучения английского языка [Weir, 1983: 307]. Почти одновременно с ним аналогичное суждение звучит в СССР: «Мы имеем дело с литературой, которая выходит за рамки общепринятых норм» [Мазанаев, 1984: 12].

Фактически и до сих пор не найден общепринятый термин для этой литературы, которую чаще всего называют «второязычной литературой», поскольку в основном здесь речь идет о писателях «третьего мира», которые в поисках широкой аудитории читателей пишут не на родном, обычно европейском, языке.

Десять лет спустя Pico Iyer пишет об этом пространную статью в журнале *Time* под характерным заглавием «The Empire Writes Back», указывая, что в конце 20-го в. в канонах английской

литературы произошли радикальные изменения. Вместо знакомых многим поколениям студентов фамилий писателей Graham Greene, Evelyn Waugh и Aldous Huxley стали мелькать далеко не англо-саксонские имена: Rushdie, Okri, Мо, кстати «более привычные студентам, для многих из которых родным языком были такие языки как Cantonese или Urdu». [Iyer 1993: 50].

Нобелевскими лауреатами стали Czeslaw Milosz, Wole Soyinka, Иосиф Бродский, Isaac Singer, Saul Bellow. Букеровскую премию получает выходец из Индии Salmon Rushdie (заочно приговоренный фанатиками-мусульманами к смерти за его книгу *Satanic Verses*), писатель из Новой Зеландии Keri Hulme, а также нигериец Ben Okri.

Исследователи устанавливают, что в лучших произведениях «второязычной литературы» адаптация языка к иноязычной культуре — «локализация» или, в терминологии Б. Качру, «нативизация» [Kachru, 1986: 130] — осуществляется с помощью следующих основных приемов: введение в текст иноязычных заимствований; использование заимствований с их параллельным переводом; передача диалога на языке описываемой культуры [Platt, 1984: 183]. Однако, практика показывает использование значительно большего числа стилистических средств.

V.V. Nabokov, *Pnin*.

Без всякой натяжки следует признать, что арсенал разнообразных форм ИЛКС из рассматриваемых нами трех авторов богаче всего именно у В. Набокова. В частности, в его романе *Pnin*, трагикомической истории русского интеллигента, Тимофея Павловича Пнина, выброшенного революцией из России в США. Автор использует богатый арсенал стилистических приемов, описывая раздвоенные личности Тимофея Павловича. Русскоязычный Пнин — это ироничный, остроумный умница, мечущий академический бисер перед американскими студентами на ломаном английском языке; англоязычный Пнин — это смешной, косноязычный иностранец, так и не вписавшийся в ритм жизни его новой родины.

Инолингвокультурный субстрат проявляется в различных коммуникативных ситуациях. В одних случаях — это чисто информативные заимствования, лишённые какой-либо стилистической окраски: [Pnin] began to stir the sour cream in his red

botvinia (chilled beet soup), wherein pink ice cubes tinkled ... [Набоков: 460].

Однако, значительно больше в романе заимствований чисто стилистических. Например, использование слова *summers* вместо *years*:

This Betty Bliss, a plump maternal girl of some twenty-nine summers ... [Набоков: 399].

Дело в том, что Пнин, даже говоря на своем ломаном Pninian English, продолжает думать по-русски, измеряя расстояния в привычных верстах, а размеры дома в аршинах: ...a Friday-evening lecture at Cremona — some two hundred versts west of Waindell ... (Набоков 376) <> ... a frontage of about fifty arshins... [Набоков: 471].

Даже американский поезд для Тимофея Павловича мчится не по прерии, а в степи: A train whistled afar as mournfully as in the steppes ... [Набоков: 428].

В другом случае в поисках нужного слова Пнин прибегает к ложному другу переводчика, хватаясь за него, как за соломинку: 'Quittance?' queried Pnin, Englishizing the Russian for receipt' (*kvitantsiya*). [Набоков: 382]. <>

Автор нередко прибегает к заимствованиям для передачи устной или внутренней речи героя. В частности, в данном примере Пнин описывает свои приключения по-русски, поэтому Набоков вводит в англоязычный текст транслитерированный русизм: How Pnin came to the *Soedinyonnie Shtati* (the United States). [Набоков: 377].

Изредка Набоков с той же целью использует семантически прозрачные «локалоиды» [Кабакчи, 1998: 63], то есть слова-интернационализмы в их русскоязычно форме (в транслитерации):

'Huliganī,' fumed Pnin, shaking his head ... [Набоков: 421].

His so-called *kabinet* now looked very cosy ... [Набоков: 484]

Очевидно, что автор упоминает этот «so-called *kabinet*», поскольку для Пнина его рабочая комната это и «кабинет» в русскоязычной речи, и *kabinet*, когда он переходит на Pninian English.

Широко распространенным приемом следует считать введение в повествование элементов диалога персонажей с включение отрывков речи на языке описываемой культуры:

'What a gruesome place, *kakoy zhutkiy dom,*' she said ... [Набоков: 407].

Особенно любят авторы демонстрировать неграмотную речь своих героев, а в случае Пнина такая возможность появляется очень часто, например:

‘Information, please,’ said Pnin, ‘Where stops four o’clock bus to Cremona?’ [Набоков: 382].

... The wife of colossus, colossus Tolstoy, liked much better than him a stooped moozishan with a red noz!’ [Набоков: 399].

Автор демонстрирует привычку русских утраивать некоторые слова, в особенности междометия (вроде «ой-ой-ой»):

‘May I give you a lift, Mr. Pnin?’ ‘No-no-no ...’ [Набоков: 416].

Типичным следует считать введение в текст эмоциональный ИЛКС: междометия, восклицания речевого этикета:

Pnin sighed a Russian ‘okh-okh-okh’ sigh ... [Набоков: 447].

His hand flew to his right side. It was there, *Slava Bogu* (Thank God)! [Набоков, Пнин: 383].

И, естественно, появление русскоязычных пословиц и поговорок, любовь к которым иностранцы непременно отмечают. Как правило, эти идиоматические обороты калькируются:

... illustrating it by the proverb, ‘He wishes to climb the fir tree but is afraid to scrape his shins.’ [Набоков: 423].

Причем Набоков, вербальный жонглер, не упускает случая продемонстрировать изысканные приемы. Так в приводимом ниже примере Пнин образует гибрид двух пословиц: английской «to let the cat out of the bag» и русской «шило в мешке не утаишь»:

The cat, as Pnin would say, cannot be hid in a bag. [Набоков: 399] <>

В результате, подобный текст оказывается эзотерическим, с двойным дном: в полной мере он доступен лишь тем, кто, хотя бы немного, знаком с русским языком. В частности, когда автор упоминает студента Ивана Дуба, который записался на курс русского языка, но так и не появился: a mere name (Ivan Dub, who never materialized) [Набоков: 376]. Пишет о волосатом композиторе по фамилии Иван Нагой: ... I noticed her sitting next to a repulsive hairy young composer, Ivan Nagoy ... [Набоков: 494]. Или упоминает композитора Бедняжкина, расстрелянного большевиками: Vanya Bednyashkin, shot by the Reds in 1919 in Odessa ... [Набоков: 389]. Не случайно, была даже написана книга, толкующая этот роман Набокова (Barabtarlo G.).

Подробнее см.: Кабакчи 1998, глава 9, а также интересную работу З.М. Тимофеевой, 1995 г.

Дина Рубина. Яблоки из сада Шлицбутера.

Определить место Д. Рубиной в литературе трудно. Она родилась в 1953 г. в Ташкенте в семье украинских евреев. Окончив ист-фак Ташкентского ГУ, она стала заниматься переводами с узбекского на русский и русскоязычной литературной деятельностью. В 1990 г. она уехала в Израиль. Отнести ее к «второязычным» писателям было бы не совсем корректно, поскольку русский язык — единственный, которым она в полной мере владеет, о чем она, в частности, и пишет в рассматриваемом нами рассказе.

С точки зрения социолингвистики Д. Рубина относится к культурным маргиналам. Трагедия Рубиной заключается в том, что она не знает родного языка своей новой родины. Счастье Рубиной в том, что она, владея прекрасно русским языком, не стоит перед необходимостью перехода на другой язык, и в этом ее отличие от ситуации Набокова, отлученного от русскоязычной аудитории СССР и вынужденного перейти на английский язык. Произведения Дины Рубиной популярны в русскоязычной аудитории, в том числе в России, привлекают внимание режиссеров.

В рассказе «Яблоки из сада Шлицбутера» женщина-писатель приезжает по своим делам в Москву и, выполняя просьбу знакомого писателя, заезжает в еврейский журнал (рассказ написан на еврейскую тему), чтобы передать его в редакцию. Почему-то она постеснялась сказать, что и она писатель, и представилась бухгалтером. В редакции она встречается с редактором Гришей и его дочерью, тоже сотрудником журнала.

Медленное повествование в середине рассказа стремительно ускоряется и достигает шекспировских высот, когда Гриша узнает, что посетительница — его землячка с Украины, из местечка Золотоноша, где он не был пятьдесят лет. Он вспоминает Фриду, свою первую и безответную любовь, память о которой он пронес через всю жизнь. Фрида для него все еще юная красавица, хотя он понимает, что она уже постарела и, скорее всего, растолстела. И тут он с ужасом узнает, что Фриды уже давно нет в живых, что ее повесили немцы за то, что она отказалась спать с немецким майором.

Языковым субстратом в этом рассказе служит *идиш* (на идише, в частности, писал Шолом-Алейхем), один из трех языков в истории еврейской культуры наряду с ивритом (язык Ветхого Завета) и арамейским (язык Иисуса Христа). Идиш (Yiddish), близкий к немецкому языку, вообрал в свой словарь множество славянских, в особенности русских, он использует письменность иврита. Возродив в Израиле иврит, идеологи страны практически исключили идиш из своей культуры и начали к нему терпимо относиться лишь недавно. Не случайно Д. Рубина так описывает идиш; «совершенно не нужный мне язык — бедный скарб в холщовой суме вечного скитальца» [Яблоки из сада Шлицбутера, 75]. Но, как показывает этот рассказ, язык, который был родным для ее дедушек и бабушек, оказывается полезным и ей.

Приемы, к которым прибегает Рубина, во многом вписываются в практику стилизации текста второязычной литературы.

В частности, незнакомый всем присутствующим язык нередко используется в целях создания коммуникативной изоляции, то есть как средство разобщения. Так, дочь Гриши, полагая, что посетительница не знает идиш, фактически издевается над ее старенькой шубой и привезенным ею «рассказом узбекского писателя на русском языке, на еврейскую тему»:

«\Она\ сказала на идише: «Гриша, хватит лысину чесать. Тут приехала одна счетовод в тулупе, привезла какого-то турка на итальянской подкладке». [Яблоки: 74–75].

Автор часто прибегает к передаче неграмотного языка диалога персонажей. Вот на таком *русском* языке ее бабушка и дедушка объясняли ей необходимость изучать идиш:

«Надо учить родного языка!» [Яблоки: 75].

А вот так разговаривает с жалостливым дедушкой бабушка, которая не хочет отпустить провинившуюся внучку в кино:

«Дувид, не жалея эта петлюровка! Ей будет сегодня то кино! Пусть сначала махт ди арбайт чистить картошка!» [Яблоки: 87].

Естественно и появление элементов идиша в диалоге: «Киндэ-лэ манц!» [Яблоки: 92].

Узнав с удивлением, что посетительница понимает идиш, редактор спрашивает ее: «Ди бист аидышке?» [Яблоки: 89].

Характерно и появление элементов речевого этикета идиша:

«До свидания», — сказала я. «Зай гезинд», — ответил он строго. [Яблоки: 101].

Автор включает в текст элементы еврейской культуры: дочь Гриши раскачивается, «как цадик в молитве» [Яблоки: 88]; свою первую любовь Гриша сравнивает с Суламифь [Яблоки: 94].

Диалог в редакции порою во многом, по крайней мере, на первый взгляд, представляется состоящим из простых русских фраз:

«Нет, она мне рассказывает!!» — вскричал вдруг Гриша страшным голосом. [Яблоки: 91].

«Ей будет сегодня то кино!» [Яблоки: 87].

Однако читатель, знакомый с одесским диалектом, видит за этими фразами ИЛКС еврейской культуры, вспоминает одесские шутки типа «Вы денег хотите — их есть у меня», наполняет эти фразы еврейским акцентом, который ушел в прошлое вместе с языком идиш.

Работы талантливых писателей, описывающих иноязычную культуру, опровергают тезис известного философа: «Тот факт, что мир есть мой мир, проявляется в том, что границы языка (единственного языка, который понимаю я) означают границы моего мира». [Витгенштейн, 1958: 81]. В частности, мир Набокова и Рубиной — это вся вселенная, а для таких развитых языков, как английский и русский, нет границ, при условии, что мы в полной мере используем потенциал этих языков. Границы языка не ограничиваются собственно ареалом данного языкового коллектива. Русский субстрат «русскокультурных текстов» в значительной мере распространяет влияние русского языка далеко за его пределами.

* * *

ВИТГЕНШТЕЙН Л., 1958. Логико-философский трактат. М. ГУМБОЛЬДТ В., 1984. Избранные труды по языкознанию. М. КАБАКЧИ В. В., 1998. Основы англоязычной межкультурной коммуникации. СПб.

МАЗАНАЕВ Ш. А., 1984. Русскоязычная литература Дагестана. Махачкала.

ТИМОФЕЕВА З.М., 1995. Лингвистические особенности гетерогенного художественного текста (языковые средства выражения национального колорита в англоязычных произведениях В.В. Набокова). СПб.

BARAVTARLO G., 1989. Phantom of Fact. A Guide to Nabokov's Pnin. - Ardis, Ann Arbor

IYER, 1993. Pico "The Empire Writes Back", Time.

KACHRU B., 1983. (ed.). The Other Tongue. English Across Cultures. Oxford-NY

KACHRU B., 1986. The Alchemy of English. The Spread, Functions and Models of Non-Native Englishes.

KING B., 1974. Literature of the World in E.

PLATT J., Weber H., Ho Mian Lian. The New Englishes. L., 1984.

WEIR A.L. Style Range in New English Literatures / in: Kachru B. The Other Tongue.

Источники и принятые сокращения

НАБОКОВ В.В., 1990. Избранное. Радуга. М.

РУБИНА Д., 2007. Один интеллигент уселся на дороге. Рассказы. Эксмо М.

SBSKIND P., 2006. Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders: 1985 = Зюскинд П. Парфюмер. История одного убийцы. Пер. с нем. Э. Венгеровой. СПб.

ИЛКС: инолингвокультурный субстрат.

Н. А. Кобрин

LANGUAGE AND CULTURE

The term culture is taken here to mean human activity in all spheres of life, including literature and art, social life and the sciences, education and upbringing, morality and humanitarianism, etc. As both language and culture are natural products of man's mental activity, they are closely connected and often influenced by one another in their development. As such modern linguistics (specifically cognitive linguistics) does not treat language as an autonomous object of study.

Although it is frequently asserted that concepts and language forms reflect reality, their scope is greater in that concepts and language forms may refer to abstract ideas, to non-existent entities and events, fantastic things, they may convey attitude (psychic, emotive, ethical, etc.), evaluate types of behaviour, and give expression to other cultural manifestations, often accepted unconsciously by man because of their regularity. The fact that they do so is largely due to the influence of culture, an influence multi-dimensional in terms of its role in man's life, especially in the sphere of man's social behaviour and norms of intercourse. Language is an object of its influence, but is also an indispensable influence in the development of culture, for culture cannot develop without language. This is nowhere more true than in the sphere of social behaviour and norms of intercourse. Intercourse comprises two elements of mental activity — speech and acquisition. Mental activity is also involved into this differentiation.

In general the influence of culture on language is realized in our decisions regarding the appropriacy of what we say in relation to context. There are several marked tendencies in this respect suitable for the purpose of communication:

I. First and foremost is the choice of communicative strategy; that is the choice of suitable patterns of structure, words, prosodic features (formation of syntagms). The mechanisms involved here have been the focus of attention in the areas of pragmalinguistics and sociolinguistics, where linguistic phenomena are viewed in relation to cultural peculiarities and the pragmatic competence of people engaged in the process of communication.

Strategies always have a cognitive basis and seek to achieve a certain effect in communication, thereby influencing the behaviour of the addressee.

Particular strategies presuppose suitable linguistic forms or patterns of structure, and those of them which serve to establish mutual understanding become more common and fixed in language. In certain cases they may become formalized and obligatory, in ceremonial or ritualistic contexts and exchanges for example. This can be seen in the linguistic forms used to express the functions of introducing, greeting, parting, apologizing, expressing gratitude, etc., all of which acknowledge the importance of the addressee.

However, one should not regard linguistic means as fixed and absolute or the correspondence between form and function as straightforward. Different factors may determine the manner in which the addressor speaks; these include their personal habits, personality and national characteristics, social standing (whether the speaker is socially independent or not), age, physical state, and the nature of the addressee (for instance, we speak in a different register when addressing children). In recent decades pragmatics has played an increasingly prominent role in linguistic research and description. Numerous strategies and their verbalization have been analyzed in detail and described, including politeness and etiquette, praise, compliments and flattery, requests, irony, disagreement, appeal to sincerity, orders and directions, interpretation of silence on the part of the addressee, understatement, etc. [Gumperz, 1982; Goffman, 1967; Meier, 1995 among others]. Many researchers have focused on suggestive or persuasive tactics in advertising or political campaigns. In this case strategies are carried out with a definite purpose — to persuade people to buy things or to support a party. Strategies of this kind fall within the realm of what is often referred to as “hypnotic suggestion” [Гончарова, 2001].

Most communicative strategies can express contrasting types of activity (oppositions), thus forming correlative pairs, for instance: etiquette tactics / ordinary tactics, politeness / impoliteness, refined behaviour / vulgar behaviour. Degrees of graduation can also be identified between these dichotomies, suggesting the existence of a continuum in each case. The dynamic character of strategies and tactics is described by the term ‘key’, which implies the possibility

of different results — positive, negative, and intermediate. In this respect strategies and tactics resemble language categories, also admitting of opposition and sometimes of intermediate qualities.

II. Another sphere of culture influence on language is within texts. Here it can help create coherence and consistency, as well as enhance information content.

It is well known that the mechanism of communicative dynamism, that is the segmentation of the sentence into theme and rheme reflects the stream of thought and both have their role in communication: the theme contains mainly given information, whereas the rheme tends to introduce new information, so contributing to the completeness of the sentence. However, a new trend has appeared whereby sentences are composed only of rhematic elements; that is they contain only new information. This tendency is characteristic of detective stories and novels, where descriptive and secondary details are generally omitted, thus imitating a ‘business style’ and tempo in the description of events (“A kitchen — empty”, a sentence pronounced by a policeman while inspecting the house in Agatha Christie’s story).

In some cases sentence segmentation may not be so strict and theme and rheme may overlap. In such cases formal syntactic segmentation may overlap with prosodic segmentation.

III. Another recent tendency is the deliberate manipulation of the communicative value of sentence elements, with a view to increasing or decreasing their informative value of this element of the sentence and thereby changing the meaning of the whole text. I.V. Nedyalkov refers to such manipulation as psychosemantics [Недялков, 2000: 58]. The most common device used to increase the information value of the element within the sentence is to include it as an additional element without breaking it or overburdening it. This may be achieved by excluding it from syntagmatic relations within the sentence structure. Inserted information may consist of an individual’s speech being integrated into that of the author’s, or vice versa, — the author’s voice into the speech of the personage (as an intertextual incorporation). It may be also a word or a phrase inserted as a parenthetical or an appended element.

The information value of some elements may be limited in order to avoid superfluity or the overshadowing of more important

meaningful elements in the structure. There exist some special mechanisms for making some parts of the structure primary (i.e. foregrounding) and other parts secondary (backgrounding) in terms of their communicative value. These include deictic expressions of all kinds, partial or complete ellipsis, mostly omitting secondary parts of the sentence.

In complex sentences it is the main clauses that often acquire the status of background elements. The subordinate clause may be used as a separate sentence, fulfilling different communicative functions — emotive, evidential, etiquette and others ('As if it were true!', 'If only I could!').

IV. Another characteristic tendency aimed at improving texts is to create new means of connecting sentences. Alongside the existing grammatical connectors, which do not always express adequately more specialized or particular relations, additional types of connectors — conjunctive adverbs, or conjuncts (moreover, besides, nevertheless, etc., and phrases like for all that, at the same time, on the contrary, etc.) are widely used nowadays [Kobrina, 1956].

* * *

ГОНЧАРОВА Е. А., 2001. Персуазивность и способы её языковой реализации в дискурсе рекламы // *Studia Linguistica* № 10. Проблемы теории европейских языков. СПб.

КОБРИНА Н. А., 1956. К вопросу о «союзных наречиях» в современном английском языке // Уч. записки ЛГПИ им. А. И. Герцена. Т. 21. Л.

НЕДЯЛКОВ И. В., 2000. Проблемы классификации и иерархии грамматических категорий // *Язык и речевая деятельность*. Т.3, ч.1. СПб.

GUMPERZ J. J., 1982. *Discourse strategies*. NY, Cambridge University Press.

GOFFMAN E., 1967. *Interaction ritual: essays on face-to-face behavior*. NY.

MEIER A. J., 1995. *Passages of politeness* // *Journal of Pragmatics*. Vol. 24.

Е. Н. Михайлова

ПРАКТИКА РАНИХ ОПИСАНИЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ РЕНЕССАНСНОЙ КУЛЬТУРЫ

В историко-лингвистических исследованиях последних лет заметно возросло внимание к ренессансному периоду в развитии европейского языкознания. Одна из причин важности его изучения состоит в том, что он стал начальным этапом в формировании национальных лингвистических традиций. Другая, не менее значимая причина внимания к нему состоит в том, что он является ярким примером смены научных парадигм в языкознании. Первые опыты описания французского языка относятся именно к этому периоду в истории лингвистики.

Обращение к материалам первых французских грамматик показывает, что культурно-исторический контекст эпохи Возрождения не только предопределил специфику восприятия, осмысления и отражения французского языка лингвистическим сознанием того времени, но и способствовал обновлению способов организации и презентации в них языкового материала. Творческое, созидательное отношение французских гуманистов к описанию родного языка привело не столько к воссозданию канонических текстов-образцов на базе нового языкового материала, сколько к совершенствованию всей системы знания о языке — как теории, так и практики описания языков.

Рассмотрим, каким образом философско-практическая направленность ренессансной культуры и ее ярко выраженная «жажда словесности» получили отражение в практике ранних описаний французского языка.

Как известно, одним из важнейших выражений переворота в культуре и мировоззрении эпохи Возрождения стала система взглядов, получившая название «гуманизм». Сумев проявить себя во многих сферах деятельности, гуманисты воплотили в себе разные качества Человека мыслящего, однако более всего в их среде культивировались такие его проявления, которые связаны с его рече-мыслительной и познавательной деятельностью. Внимание ренессансного человека к окружающей действительности, его страстное желание все понять и всему дать свое объяснение

способствовали тому, что словесные науки стали углом зрения, под которым рассматривались все самые насущные проблемы того времени. Иначе говоря, филологическое знание стало в эпоху Возрождения не только объектом, но и действенным средством познания, вследствие чего грамматике отводилась роль авангарда в системе гуманитарного знания.

Как пишет М. М. Бахтин, особое отношение Ренессанса к языку и языковому мировоззрению, было обусловлено ситуацией языковой смены, не знавшей аналогов в европейской истории. Именно поэтому общественно-политическая и культурная жизнь в то время концентрировалась вокруг процессов взаимоориентации, взаимоопределения и взаимоосвещения языков, отражавших разное мировидение и миропонимание [Бахтин, 1990: 514–515].

Особенности развития культуры в эпоху Возрождения и специфика языковой ситуации во Франции привели к тому, что в роли супранационального языка, олицетворением высочайшего уровня культуры и гуманистической образованности выступала латынь, французскому же языку отводилась роль средства повседневного общения и вульгаризации идей. В связи с этим проблема выбора языка изложения в сфере грамматического описания в период зарождения и становления национальной традиции представляет особый интерес.

Вопрос о выборе языка-инструмента грамматического описания в европейских традициях, входящих в единый латиноязычный культурный ареал, неоднократно поднимался в научной литературе. На основании сведений, полученных в результате сопоставления характерных особенностей разных традиций, Б. А. Ольховиков пришел к выводу о том, что путь формирования жанра национальных грамматик был отмечен постепенным устранением расхождения между языком-объектом и языком-инструментом грамматического описания [Ольховиков, 1985: 139]. Эта тенденция, отмеченная применительно к французской традиции такими учеными, как А. Луазо, Ф. Брюно, К. Дюмон-Демезьер, Ж.-К. Шевалье, Н. Ю. Бокадорова, С. Ору, в целом протекала в русле гуманистической программы, направленной на защиту и прославление родного языка. Тем не менее, в грамматике она была предопределена коммуникативными интенциями

иного рода, чем в других отраслях знания: прежде всего стремлением подражать наиболее авторитетным грамматистам прошлого, составлявшим свои работы на том языке, который описывали — Варрону, Квинтилиану, Донату, Присциану, Теодору Газа и др. Именно об этом пишет во введении к своей грамматике Ш. Мопя [Maupas, 1607: г. v.]. Иначе говоря, тексты французских грамматик, написанные по-французски, призваны были служить образцом обихода и грамматической правильности — своего рода регулятором речевой культуры образованного человека.

Анализ ренессансных работ по французскому языку показывает, что практика грамматического описания в них определяется такими факторами, как выбор образца для подражания из числа наиболее авторитетных грамматик, ставших каноническими, избирательность в отношении к описываемым явлениям родного языка, особенности их интерпретации, а также характер организации и презентации материала.

Обращает на себя внимание прежде всего то, что французские грамматики XVI в. отличаются друг от друга по степени детализации грамматического описания. В наиболее развернутом виде французский язык описан в трудах Л. Мегре, А. Коши, Р. и А. Этьенов, Ш. Мопя. В них представлено довольно подробное описание форм и значений, объяснение их употреблений в речи, даны многочисленные примеры «хорошего французского узуса» и внушительный перечень исключений из правил. Работы Ж. Боске, Ж. Гарнье, Ж. Массе и особенно Ф. Гарнье, напротив, отличаются излишней лаконичностью изложения, которое в отдельных случаях сводится к простому перечню примеров, либо объединенных в парадигмы, либо представляющих собой иллюстрацию единичных случаев словоупотребления.

Как отмечает Б. А. Ольховиков, уже в античности в рамках канона сложились два типа презентации грамматического материала — краткая и развернутая. Первая имела целью научить создавать речь, вторая — обучить толкованию текстов [Ольховиков, 1985: 239]. Целевые установки большинства ренессансных грамматик привели к тому, что в период зарождения и становления французской традиции наибольшее распространение получила краткая презентация, в результате чего в ней нашла свое отражение далеко не полная картина состояния французского языка XVI в.

Другой чертой французской ренессансной традиции является то, что стоящая за текстами национальных грамматик система лингвистического знания, в том числе теория, на которой строилось описание языка, представлена большей частью имплицитно. На непосредственно читаемом уровне эта информация, как правило, не выражена, что в известной степени отражает присущую эпохе Возрождения специфику научного текста, на которую в свое время обратил внимание Л. Ольшки [Ольшки, 1934: 205–222]. Прямая форма изложения, редкие определения, частое обращение к всевозможным аналогиям и сравнениям, типичные для научной литературы Нового времени, широко использовались и при описании французского языка.

По-своему способствовала тому, что первые французские грамматисты стремились как можно короче и доступнее излагать материал, не обременяя его премудростями теории, педагогическая направленность большинства работ того времени.

Преемственность традиции также сыграла свою роль в том, что общая система воззрений на язык оказалась выраженной в текстах грамматик преимущественно имплицитно. То, что французская национальная грамматика существовала первоначально в рамках, а затем на фоне классической традиции, где понятия и термины были эксплицированы достаточно полно для своего времени, избавляло гуманистов от необходимости воспроизводить на страницах своих работ общеизвестные истины. О преемственности ренессансной традиции лучше всего говорят отсылки авторов к текстам латинских и греческих учебников, имеющие место во многих французских грамматиках. Так, обращаясь к вопросу о частях речи, Ж. Дюбуа, не утруждая себя какими бы то ни было объяснениями и не приводя никаких определений, просто констатирует: «Частей речи, как в латинском, так и в галльском, восемь, значение оных, как я полагаю, должно быть известно из латинских грамматик» [Dubois, 1531: 90].

К наиболее авторитетным грамматикам древности или к работам собственного сочинения по латинскому и греческому языкам для получения более детальных сведений по вопросам грамматики отсылают своих читателей Ж. Пилло, А. Коши, Г. Мерье и другие авторы. В целом руководства по французскому языку изобилуют определениями остенсивного характера или отсутствием

определений даже для таких основополагающих понятий, как «грамматика», «слово», «акциденция», «конструкция», «речь» и др. Проведенное нами исследование источников XVI в. показывает, что недостаточно эксплицированный характер описания французского языка возрастает при переходе от частеречного к категориальному уровню грамматического анализа. Многочисленные лакуны, имеющиеся в текстах грамматик, восполнялись в процессе обучения, так как освоение грамматики родного языка осуществлялось либо параллельно, либо после изучения грамматик латинского и греческого языков, когда весь понятийно-терминологический аппарат был учащимися уже освоен. Таким образом, в качестве «необходимого внетекстового контекста» ренессансных описаний языка выступала вся система грамматического знания, сложившаяся ко времени их создания.

Анализ текстов грамматик показывает, что одним из приемов, получивших отражение в практике описания языка, является вопросно-ответная форма изложения материала. Так называемые *эротемы* (*erotemata*), или вопросники, издавна широко использовались при обучении грамматике (Донат, Алкуин и др.), поскольку обеспечивали эффективное усвоение максимально информативного текста.

Обращаясь к проблеме дидактической ценности вопросно-ответного изложения, Н. Б. Мечковская отмечает, что такой способ развертывания содержания представляет собой оптимальную форму для первичного изложения интеллектуально насыщенной информации, поскольку, расчлняя его содержание на небольшие порции смысла, позволяет в каждой из них выделить самое главное. Не случайно эта форма получила свое отражение при составлении учебных текстов различного содержания, в том числе профессиональной дидактической литературы [Мечковская, 1998: 109–110].

В грамматических сочинениях XVI в. катехизическая или вопросно-ответная форма изложения представлена довольно широко. К ней прибегали не только авторы элементарных руководств, подражавшие «Малому Руководству» Доната, но и теоретики языка, излагавшие таким образом либо отдельные пассажи своих работ, либо сочинения целиком. Так, из наиболее известных грамматик эпохи Возрождения, написанных в форме

эротем, могут быть названы труды Меланхтона, Ласкариса, Вателлия, Пьера Колумба, Жана Боске, некоторые работы Депотера и Рамуса. Работы филологического содержания в форме диалога писали Макиавелли, Варки, С. Сперони, Ж. Пелетье дю Ман, А. Этьен, Ж. Перион, Л. Жубер и др.

Обращает на себя внимание то, что большинство этих работ было опубликовано до середины XVI в., в дальнейшем диалогическая форма изложения в грамматике постепенно уступила место монологической. Примечательно, что вытеснение эротем из грамматического описания происходило в то время, когда диалог стал не только модной литературной формой, но и одной из предпочтительных форм изложения в научной литературе эпохи Возрождения. По свидетельству Л. Ольшки, в то время диалог завладел всеми, даже для него неподходящими дисциплинами. Так, Макиавелли трактовал в этой форме военное искусство, Лодовико Дольчи — учение о цветах, Бруно и Галилей — вопросы устройства Вселенной [Ольшки, 1934: 195–198].

В значительной степени видоизменению облика грамматик в эпоху Возрождения способствовали успехи *книгопечатания*. Как отмечают ученые, эти чисто технические достижения оказали огромное и далеко идущее влияние на гуманитарные аспекты общественного развития: появление тиражных текстов создало условия для стандартизации обучения, для роста темпов языковой коммуникации, для удовлетворения потребности в распространении знания. Достижения в области печатного дела предопределили, с одной стороны, успехи в области методики обучения языкам, упростив ее процедуры, с другой стороны, способствовали преобразованию внешнего облика грамматик. Если первые печатные учебники во многом следовали оформлению рукописного текста, то впоследствии были выработаны новые принципы расположения в них излагаемого материала. Так, на смену горизонтальным парадигмам (в подбор) пришли парадигмы вертикальные, получили широкое распространение таблицы, постраничный или построчный двуязычный текст, переводные парадигмы или переводы отдельных примеров. Все это давало грамматистам возможность как для расширения читательской аудитории, так и для совершенствования межъязыкового сопоставительного анализа.

Открыв широкие возможности для ускорения темпов передачи информации и вовлечения в сферу обучения все большего количества людей, печатный станок способствовал упразднению мнемотехнических средств обучения, в частности, эротем. В результате на смену вопросникам пришли грамматические трактаты, монологическая форма изложения которых нередко содержала элементы полемического стиля, столь характерного для той эпохи. Попытки отстоять свою точку зрения на язык у таких известных авторов, как Л. Мегре, П. де ла Раме, А. Этьен, напоминают, по мнению ряда ученых, горячую борьбу за религиозные убеждения [Clément, 1898 : 145 ; Stéfanini, 1976 : 317–318 ; Hausmann, 1980 : 342].

Другим следствием успехов книгопечатания стало совершенствование общего уровня филологического знания, углубление содержательной стороны грамматик, в которых остенсивные определения постепенно уступали место более или менее развернутому описанию.

И, наконец, достижения книгопечатания обусловили повышение технического уровня исполнения работ: в текстах грамматик со временем заметно сокращалось количество опечаток, по-своему оттачивалась стилистика жанра грамматического описания на живых языках. Высокое качество исполнения в сочетании с ясностью изложения материала стало одним из принципов, которые, как заметил Ж.- К. Шевалье, отличали уже грамматики середины XVI в. В этом внимании к форме ученый увидел источник, из которого родился классический рационализм [Chevalier, 1968: 217].

Итак, рассмотрение характерных для грамматик XVI в. приемов презентации материала показывает, что практика грамматического описания в то время определялась условиями, в которых происходило становление французской национальной лингвистической традиции. Свое воздействие на нее оказали такие факторы, как своеобразие лингвистической ситуации во Франции, общий характер научной и педагогической деятельности гуманистов, статус грамматики как важнейшего инструмента познания, успехи книгопечатания, философско-практическая направленность ренессансной культуры. Все это дает основание видеть в практике ранних описаний французского языка прямое отражение культурно-исторического контекста эпохи Возрождения.

* * *

БАХТИН М. М., 1990. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.

МЕЧКОВСКАЯ Н. Б. 1998. Язык и религия. М.

ОЛЬХОВИКОВ Б. А. 1985. Теория языка и вид грамматического описания в истории языкознания: Становление и эволюция канона грамматического описания в Европе. М.

ОЛЬШКИ Л. 1934. История научной литературы на новых языках. Т.2. М.-Л.

CHEVALIER J.-Cl. 1968. La notion de complément chez nos grammairiens. Etude de grammaire française (1530-1750). Genève..

CLÉMENT L. 1898. Henri Estienne et son oeuvre française: Etude d'histoire littéraire et de philologie: Thèse. P. X.

DUBOIS Jacques (Sylvius Jacobus Ambianus). 1531. In linguam Gallicam Isagoge, una cum eiusdem Grammatica Latino-Gallica ex Hebraecis, Graecis et Latinis scriptoribus. Paris.

HAUSMANN F.J. 1980. Louis Meigret. Humaniste et linguiste // *Historiographia linguistica*. N 3 (VII).

MAUPAS Charles (Bloisien). 1607. Grammaire et Syntaxe Française contenant reigles bien exactes et certaines de la prononciation, orthographe, construction et usage de notre langue, en faveur des estrangiers qui en sont désireux. Paris.

STÉFANINI J. 1976. Jules César Scaliger et son De causis linguae Latinae // *History of Linguistic Thought and Contemporary Linguistics*. — Berlin; New-York.

С. Л. Пшеницын

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРЕВОДНОГО ТЕКСТА В СВЕТЕ ТЕОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ

Большой научной заслугой И. В. Арнольд является разработка стилистики декодирования — теории интерпретации художественного текста, в фокусе изучения которой то, *что* и *как* читатель видит в тексте [Арнольд, 1974: 5–6]. Такая концепция стилистики, позволяющая воздать должное роли читателя в процессе чтения и интерпретации текста, оказалась весьма плодотворной для отечественной лингвистики и во многом предопределила направление современных исследований в области интерпретации текста [Щирова, Тураева, 2005]. В связи с проблемами понимания текста читателем И. В. Арнольд большое внимание уделяет вопросам интертекстуальности. Данная статья примыкает к исследованиям, связанным с интертекстуальностью и ролью читателя при интерпретации текста, и посвящена выявлению роли интертекстуальности при интерпретации текста перевода. Следует отметить, что интертекстуальность понимается здесь широко: не только в смысле включенности в текст элементов других текстов, сопряженности в одном тексте разных функциональных стилей и жанров, но и в смысле наличия в культуре, где существует данный текст, определенной системы дискурсов, определенных кодов культуры, в которую «погружен» текст (т. е. культурный контекст текста), который влияет как на создание текстов, так и на их интерпретацию. На материале экспериментальных данных, полученных путем анкетирования и опросов, сделана попытка показать факторы, которые влияют на прием перевода — текста, изначально созданного в сфере действия одной культуры — культуры-источнике, а затем переведенного на другой язык и воспринимаемого читателями, являющимися носителями принимающей культуры, т. е. той лингвокультурной среды, на языке которой выполнен перевод. В свете полученных данных анализируются особенности перевода как текста, природа которого во многом определяется присущей ему специфической интертекстуальностью.

Для проведения эксперимента была выбрана пьеса А. П. Чехова «Дядя Ваня». Данный выбор был обусловлен целым рядом причин. С одной стороны, пьесы Чехова во многом являются квинтэссенцией самосознания русских (в смысле отражения русского национального характера и воздействия на поколения русской интеллигенции). С другой стороны, Чехов является одним из наиболее известных и популярных русских писателей в США: появляются все новые переводы его произведений, его пьесы не сходят со сцен американских театров, много внимания уделяется произведениям Чехова в театральной критике и филологических исследованиях. Среди американцев бытует мнение, что Чехов — наиболее «прозрачный» и легкий для восприятия из русских классиков.

И пьесы, и рассказы Чехова многократно переводились на английский язык. Существуют детальные исследования англоязычных переводов произведений Чехова [Bristow 1966; Leighton, 1985], позволяющие судить об их качестве. В целом, считается, что Чехову в высшей степени повезло: переводы его произведений отличает очень высокий уровень. Его переводчики были в подавляющем своем большинстве одновременно и скромными, и добросовестно точными. Не потому, что Чехова так легко переводить. Отчасти этот феномен можно объяснить тем, что Чехов очень последовательно использует определенные технические приемы и это оказывает на переводчиков дисциплинирующее воздействие; а отчасти на переводчиков оказывает влияние и скромность, присущая Чехову как писателю и как человеку. Возможно Чехов, как никакой другой писатель, «держит своих переводчиков под контролем» [Leighton, 1985:298].

Таким образом, для того чтобы исследовать особенности восприятия текста оригинала и перевода в двух разных культурах, Чехов, в каком-то смысле, предоставляет идеальную возможность поставить эксперимент в максимально «чистом виде»: Чехов пользуется репутацией классика и к его творчеству имеется более или менее постоянный интерес; переводы более, чем удовлетворительны, они давно вошли в англоязычную культуру и постоянно обновляются; в США выработались определенные традиции восприятия произведений Чехова и интерпретации его творчества.

Эксперимент проводился следующим образом. Американским участникам предлагалось прочитать английский перевод «Дяди Вани» (выполненный Ann Dunnigan), а русским участникам, соответственно, пьесу Чехова в оригинале. Затем участникам предлагалось заполнить анкету. С целым рядом информантов, выразивших особый интерес к эксперименту, были проведены уточняющие интервью.

В анкете содержалось около 30 вопросов и заданий. В той части анкеты, которая давала информацию об участниках, помимо вопросов относительно возраста, пола и образования информантов, имелись вопросы о наличии у них опыта межкультурного общения, а также особого интереса к России и русской культуре. Выяснялось, считают ли информанты себя американцами и является английский язык для них родным (аналогичные вопросы предлагались и русскоязычным участникам).

Вопросы и задания для выяснения понимания пьесы и ее интерпретации информантами были составлены таким образом, чтобы выявить, по возможности, самые разнообразные когнитивные и эмоционально-оценочные аспекты реакции участников на пьесу.

При обработке результатов эксперимента использовалась практика, применяемая обычно в антропологии: данные анализировались на предмет обнаружения явлений, которые можно было бы трактовать как симптоматические; их статистическая значимость не выяснялась, т. е. результаты не подвергались статистической обработке, как это принято, например, в экспериментальной психологии.

Проведенное исследование восприятия «Дяди Вани» позволяет заключить, что несмотря на то, что в пьесе затрагиваются общечеловеческие аспекты бытия, а темы ее обладают очевидной универсальностью, конкретное понимание проблематики пьесы, интерпретация поступков и характеров персонажей, оценки героев и ситуаций пьесы существенно отличаются у современных образованных американцев, не знакомых близко с русской культурой, с одной стороны, и современных русскоязычных читателей, с другой стороны.

В частности, ответы американских информантов свидетельствуют о том, что в их восприятии «Дядя Ваня» — это пьеса

о чужой для них жизни и культуре («totally different way of life»); для них оказывается непривычной психология персонажей пьесы («experiences of clinically depressed»), необычными кажутся открытость и эмоциональность героев; американские информанты отмечают, что построение и развитие пьесы как художественного произведения отличается от того, что они считают привычным, типичным для американской культуры.

Различие в восприятии пьесы в плане «свое» vs. «чужое» особенно ярко проявилось в том, как читатели определили основные темы пьесы. Русским читателям — возможно именно потому, что пьеса написана на материале русской жизни — кажется, что пьеса о жизни вообще; поэтому основные темы пьесы русским информантам обычно видятся широко («жизнь людей», «человеческие взаимоотношения», «о бессмысленности жизни», «тяжелая ужасная жизнь», «идентификация экзистенции каждым персонажем»). Тогда как американцы, отвечая на этот вопрос, называют гораздо более узкие темы: им кажется, что пьеса либо о семейных проблемах и скуке («about dysfunctional family», «boredom»), либо о пассивности и неспособности к решительным действиям («submission to fate», «missed opportunities», «inability to take charge of one's life», «ineffectuality»), а тогда, значит — в соответствии с типичной для американцев установкой — о необходимости действовать, принимать решения («responsibility for your own actions», «do what makes you happy», «live life to the fullest»). Никто из опрошенных американцев не сказал, что пьеса о жизни вообще, для русских же это был один из наиболее типичных ответов (часто, впрочем, в ответах русских встречается уточнение с указанием на национальную специфику: «о русской жизни» или «о жизни русской интеллигенции»).

Различия в культурной относительности норм очевидны в том, как русские и американские читатели воспринимают эмоциональность героев. Так американцы очень часто отмечают, что в проявлении своих чувств герои более открыты, чем это обычно для американцев. Русским же читателям эмоциональность персонажей кажется нормальной. Некоторые русские информанты даже отмечают как специфически русскую черту пьесы «прямое выражение страдания», «часто вербальное выражение своих самых интимных переживаний». С открытостью персонажей пьесы —

сы — качеством, считающимся типичным для русского характера — вероятно связано и то, что при оценке героев пьесы американцы часто упоминают их честность и прямоту («frank», «speaks his mind», «honest»). Создается ощущение, что персонажи пьесы производят на американских читателей впечатление людей необыкновенно эмоционально открытых и откровенных. Тогда как для русских читателей, персонажи — это *обычные люди*. Впрочем, не люди вообще, а именно русские. Действительно, русскоязычные информанты в своем большинстве осознают характеры героев пьесы как типично *русские*: «все типично русское по духу, сюжету; характеры и персонажи»; «так себе представляю русский народ»; «много чисто русского: бытовые мелочи, опрокидывание рюмочки и т. д., сами действующие лица — трудно их было бы представить другой национальности — характеры очень русские».

В принципе, персонажи кажутся американцам психологически убедительными. Интересно, однако, что американские читатели, как правило, не идентифицируют себя с героями пьесы. Иногда в этом контексте называются доктор Астров или Соня — причем обычно в плане неразделенных чувств. Любопытно, что некоторые американцы считают нужным указать на дистанцию между собой и героями пьесы, которые, в общем и целом, вызывают у них антипатию («displeasing»); подчеркивают, как мало у них общего с главным героем пьесы, дядей Ваней — Иваном Петровичем Войницким («I would not let myself be so limited, unactive, or hopeless»). Напротив, русские читатели, особенно, если они старше 25 лет, часто отмечают, что в процессе чтения пьесы идентифицировали себя с тем или иным персонажем (часто с несколькими). Обычно называют Соню, доктора Астрова или Войницкого; но иногда и профессора. Практически всем русским читателям кажется, что ситуация, изображенная в пьесе, не выходит за рамки привычного для них; они заявляют, что могли бы представить себя на месте героев пьесы в аналогичной психологической ситуации. Персонажи, их проблемы, их чувства не только узнаваемы, но и безусловно близки русским информантам.

Из оценок американских читателей следует, что они считают, что у них иные жизненные установки («Americans don't have the same perspectives. They take a much more active approach.» «I'll act

out my feelings rather than live in them.» «I feel people should take action to improve or guide their own lives and not be helpless and manipulated»). Американцев приводит в изумление пассивность героев: «They all either run from problems or resign themselves to unhappiness». Различия в жизненной позиции столь велики, что у американских читателей нередко возникает ощущение, что в пьесе муссируются отрицательные стороны жизни («seem to revel in the negativities of life», «none of the characters are happy») и все в ней происходящее пронизано нездоровой безысходностью и мрачным фатализмом («so pathetic and depressing», «rather fatalistic», «gloom»). Впрочем, по этой же причине, вероятно, американцы чаще, чем русские читатели, видят комическую сторону пьесы («amusing because the characters get themselves in such ridiculous situations and can't take action until the end»).

Заслуживает комментария еще одна любопытная деталь, прослеживаемая при анализе оценок персонажей, данных русскими и американскими читателями. Среди качеств персонажей, отрицательно оцениваемых американцами, часто упоминается слабость («weak»), бесполезность («useless»); при том, что никто из русских читателей эти черты персонажей не упоминает. Думается, что это тоже значимое, обусловленное культурой различие и связано оно с тем, какие ценности преобладают в данном обществе. Можно с уверенностью сказать, что традиционный американский герой — это победитель, преодолевающий в силу своих личных качеств всевозможные препятствия, стоящие на его пути. Именно такому герою принадлежат симпатии американских читателей. Без такого героя в Америке немислимо художественное произведение, которое могло бы завоевать успех у широкого читателя или зрителя. Голливудских героев, реализующих американскую мечту, можно считать воплощением этой национальной установки на оптимизм, умение добиваться своей цели, достижение успеха в жизни. Заметим, что успех мыслится прежде всего как успех материальный: ценность человека в значительной степени измеряется его состоянием, а также тем, чего человек профессионально добился. Поэтому самым естественным образом американцы первым делом о человеке могут задать такой вопрос как: What is he/she worth? Разумеется, при мощном воздействии таких стереотипных установок массовой культуры

персонажи пьесы Чехова вряд ли могут восприниматься в качестве «нормальных» «положительных» героев.

Читательские реакции на финал пьесы также предоставляют интересный материал для межкультурных сопоставлений. Русским информантам, фактически всем без исключения, окончание «Дяди Вани» кажется естественным («не могло быть другого», «закономерное окончание, учитывая, какой персонаж дядя Ваня: и дальше тянуть ляжку — очень по-русски», «вся пьеса ведет к подобного рода развязке», «все к этому и шло»). Почти все русские информанты полагают, что такое окончание художественного произведения обычно и даже типично для русской литературы («типично для русской жизни и русской литературы: кулаками помашут, помирятся, поцелуются и все хорошо», «поговорили, выпустили пар и все осталось на месте», «все вернулось на круги своя»).

Американские информанты, сравнивая окончание пьесы с тем, что, по их мнению, является типичным для американской литературы, напротив, отмечают, что окончание пьесы необычно для «типично-американской» (mainstream) литературы («not a happy ending», «most American fiction has happy endings», «American fiction seems more likely to end with an unrealistic positive resolution or more negative crisis», «if Vanya tried to shoot Professor in an American film he wouldn't have missed», «it would be more dramatic: Elena would have run off with Astrov or something», «American heroes don't miss when they shoot!»). Возможно именно вследствие того, что развитие сюжета («anti-climatic», «characters didn't seem to directly confront each other often») и финал пьесы не соответствуют определенным читательским ожиданиям («happy ending» is typical of American fiction and the reader expects it), некоторыми американскими читателями такое окончание пьесы и ощущается как непривычное и оно вызывает у них внутреннее неудовольствие, хотя обычно они и признают, что оно реалистично и имеет свою логику (многие американские информанты при этом, как очевидно, вполне осознают тот факт, что хэппи-энд является атрибутом лишь определенных жанров массовой культуры, а не американской культуры в целом).

Подводя итоги, следует отметить, что хотя всякое прочтение индивидуально, несомненно и то, что понимание текста в значи-

тельной степени предопределяется широким контекстом, действующими в данной культуре нормами и установками, принятыми в данной культуре ценностями. Что касается переводного текста, то интерпретация его читателем, являющимся носителем принимающей культуры, осуществляется в соответствии с кодами, действующими в данной культуре. Проведенный эксперимент это ярко демонстрирует: решающую роль в иной интерпретации чеховской пьесы, очевидно, играют ценности и установки американского общества (такие как индивидуализм и принятие ответственности за свою собственную судьбу, оптимизм и решительность, достижение успеха как мерило ценности человека), а также определенные культурные стереотипы и ожидания в отношении содержания литературного произведения, фабулы, героев и проч.

Текст перевода в силу того, что он является по своей сути фрагментом иной культуры, который оказывается включенным в сферу принимающей культуры, представляет собой продукт различных культурных дискурсов. С одной стороны, переводной текст сохраняет ряд особенностей текста-источника (прежде всего его фактуально-информативную структуру). С другой стороны, переводной текст, попадая в поле интертекстуальности принимающей культуры, оказывается *экспроприированным* этой другой культурой, а его связи с кодами и текстами той культуры, в которой текст-источник был изначально создан, оказываются «сняты». Переводчик в процессе воссоздания текста-источника на языке перевода интерпретирует данный текст в соответствии со своим индивидуально-личностным пониманием, а также в соответствии с нормами принимающей культуры и, в частности, с действующими в данной культуре нормами перевода. В процессе интерпретации данного текста читателями, а затем с появлением определенной традиции интерпретации данного текста в культуре перевода (традиции, которая поддерживается как стереотипами отношения к культуре-источнику, так и авторитетными прочтениями данного текста «профессиональными интерпретаторами» — критиками, литературоведами, культурологами, философами, журналистами, деятелями театра и кино и т. д.) происходит дальнейшая экспроприация текста перевода принимающей культурой. Этот процесс экспроприации усугубляется тем, что

в эпоху нового времени доминирующей переводческой нормой является установка на «гладкость» переводного текста, который должен читаться так, как будто он создан на языке перевода, посредническая деятельность переводчика по пересозданию текста оказывается, таким образом, завуалированной. Л. Венути называет это явление «невидимостью» переводчика [Venuti 1995]. Так возникает парадокс перевода: переводный текст носит имя оригинального автора и рассматривается в принимающей культуре как эквивалент оригинала несмотря на то, что по сравнению с оригиналом он является, по сути дела, принципиально иным текстом — и поскольку это текст, воссозданный другим автором на другом языке, и поскольку переводной текст по сравнению с текстом оригинала оказывается включенным в иную сферу интертекстуальности.

* * *

АРНОЛЬД И. В., 1974. Стилистика декодирования. Л.

ЩИРОВА И. А., ТУРАЕВА З. Я., 2005. Текст и интерпретация: взгляды, концепции, школы. СПб.

BRISTOW E. K., 1966. On translating Chekhov // Quarterly Journal of Speech, 52 (October).

ЧЕХОВ А. П. Пескова, 1964. The major plays. Translated by Ann Dunnigan. New York: Signet Classic Books

LEIGHTON L. G., 1985. Chekhov in English // A Chekhov companion (ed. T. W. Clyman). Westport, CT; London

VENUTI L., 1995. The translator's invisibility: a history of translation. London and New York

Ю. В. Сергаева

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЛИНГВОКРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ ИМЕН ГРУПП)

Творчество, креативность, новаторство — понятия, проникающие во все сферы человеческой деятельности и во многом определяющие ход развития социума, — неразрывно связаны с творческим мышлением. Творческое мышление представляет собой когнитивный процесс, направленный на генерирование новых идей и концептов, применение нестандартных подходов к решению проблемы, принятие новых взглядов. Креативность как мыслительная деятельность необязательно должна выражаться в артефактах или каком-либо ином «творении», проявлением такого вида мышления может быть даже поиск нескольких вариантов вместо одного с окончательным выбором оптимального варианта для преследуемой цели.

Творчество как процесс изучают с совершенно разных позиций и в разных аспектах во многих областях науки — в психологии, когнитологии, философии, экономике, педагогике, искусствоведении, литературоведении и, конечно же, в лингвистике, где объектом и результатом творческого процесса становится слово. Таким образом можно говорить о лингвокреативном мышлении (термин, введенный Б. А. Серебренниковым [Серебренников, 1983; 1988]) как подвиде творческого, а о словотворчестве как об эксплицитной форме креативной деятельности человека. В поиске способов языкового выражения фрагментов окружающей действительности человек ограничен, с одной стороны, необходимостью выбора определенных элементов картины мира и, с другой стороны, базовым набором языковых форм, что обуславливает наличие в процессах словотворчества как общих черт, так и национально-культурной специфики. Н. Д. Арутюнова описывает создание новой номинации как процесс, который «берет свое начало в области восприятия мира, поставляющего данные для коммуникации, проходит через сферу общения, отлагается в лексической, словообразовательной и синтаксической семантике и завершается в словесном творчестве» [Арутюнова, 1987: 5].

Несмотря на устойчивый интерес исследователей к творческой деятельности человека в языке, к формированию языковой картины мира [см. например, Серебренников, 1988; Серебренников, Кубрякова, Постовалова, 1988; Архипов, 2001 и другие], теоретического осмысления и практического изучения по-прежнему требуют лингвистические и экстралингвистические факторы, определяющие оптимальный выбор способа номинации, семантические, словообразовательные и комбинаторные потенции слова, когнитивные основы механизмов и моделей словотворчества, а также национально-культурная специфика лингвокреативной деятельности. Важной характеристикой современных исследований является и поворот от индивидуального творчества, от креативности конкретного автора к изучению творчества коллективного и повседневного [см. напр. Ирисханова, 2005].

Предметом рассмотрения в данной статье выступают имена групп (group names, group terms) — лексическая подсистема, обладающая спецификой в области происхождения, семантики и функционирования в английском языке. Являясь по своей сути терминосистемой, включающей редко употребляемые в обиходе названия групп животных, птиц, людей и совокупностей предметов, эта часть словаря, в то же время, пронизана необыкновенным поэтизмом, остроумием и жадой словотворчества. По справедливому замечанию американского лингвиста Джеймса Липтона, одного из главных энтузиастов изучения имен групп, эта сфера языковой деятельности была и остаётся своего рода игрой: «What we have in these terms is clearly the end result of a game that amateur philologists have been playing for over five hundred years» [Lipton, 1993: 3].

Чтобы понять правила и специфику данной «игры», обратимся далее к анализу следующих вопросов:

- особенности имен групп в английском языке;
- история возникновения имен групп;
- узуальные и окказиональные имена групп;
- культурно маркированные имена групп;

Специфику имен групп в английском языке составляют обилие и разнообразие собирательных существительных данного класса, их тяготение к терминологичности, избирательность закрепления большинства из них за определенными классами ре-

ферентов, круг которых может определяться по разнообразным признакам — от категориальных (одушевленные / неодушевленные, люди/животные) до частных. Среди групп может проводиться разграничение, например, по половому признаку (a bevy \of beauties\), профессиональной принадлежности (a cast \of actors\), виду животного (a leap \of leopards\, a skulk \of foxes\), количеству (a yoke of oxen (2 вола) — a flink of cows (12 и более)), возрасту (a sounder of wild pigs (взрослые особи) — a litter of pigs (детеныши)), местонахождению или деятельности в данный момент (a nye of pheasants (на земле) — a bouquet of pheasants (при взлете) и даже по отношению друг к другу (a comfort of cats (мирное сосуществование) — a glaring of cats (напряженное ожидание)).

Обилие и разнообразие имен групп, называющих различные виды животных и птиц, во многом объясняются историей их возникновения. Подобные слова изначально возникали в Англии как охотничьи термины (terms of venery) и фиксировались в манускриптах 15-го века, а затем в первых печатных книгах. Первый сборник имен групп «The Egerton Manuscript» появился в 1450 году, а в 1486 году увидела свет книга «The Book of St.Albans», представлявшая собой наиболее полный список имен групп на тот момент [Lipton, 1993: 3]. Имена групп были представлены и в средневековых книгах по этикету («Books of Courtesy»), самая важная глава в которых, посвящалась премудростям охоты и соответствующей терминологии. Значимость знания имен групп для образованного аристократа можно проиллюстрировать отрывком из стилизованного исторического романа А. К. Дойля «Сэр Найджел», где Найдзелу предстоит ответить на следующие каверзные вопросы старого рыцаря (далее курсив и подчеркивание — Ю. С.):

«For example, Nigel, it is sooth that for every collection of beasts of the forest, and for every gathering of birds of the air, there is their own private name so that none may be confused with another.[]... Answer me now, lad, how would you say if you saw ten badgers together in the forest?»

«A cete of badgers, fair sir.»

«Good, Nigel — good, by my faith! And if you walk in Woolmer Forest and see a swarm of foxes, how would you call it?»

«A skulk of foxes.»

«...[] And if they be swine?»

«Surely it is a herd of swine.»

«Nay, nay, lad, it is indeed sad to see how little you know.... No man of gentle birth would speak of a herd of swine; that is the peasant speech. If you drive them it is a herd. If you hunt them it is other...[] Only last week that jack-fool, the young Lord of Brocas, was here talking of having seen a covey of pheasants in the wood. One such speech would have been the ruin of a young Squire at the court. How would you have said it, Nigel?»

«Surely, fair sir, it should be a nye of pheasants.»

«Good, Nigel — a nye of pheasants, even as it is a gaggle of geese or a badling of ducks, a fall of woodcock or a wisp of snipe. But a covey of pheasants! What sort of talk is that?» [from Sir Nigel, by A. C. Doyle, p. 60]

Гипертрофированная важность употребления именно такого названия группы, а не другого возможного исходила, как можно заключить, не только из необходимости детальной категоризации объектов охоты, но и из стремления подчеркнуть своё благородное происхождение, противопоставить «научный, профессиональный» термин просторечию. Стоит заметить, что на современном этапе в условиях меньшей значимости охоты в повседневной жизни и стирании определенных социальных границ так возмущившее старого рыцаря сочетание «a covey of pheasants» считается вполне приемлемым.

Аристократизм первых «творцов» имен групп нашел отражение и в самих семантических механизмах номинации, опирающихся на метафорические и метонимические деривации в сочетании с другими способами выражения образности (an unkindness of ravens, an exaltation of larks, a tiding of magpies, a parliament of rooks\ owls), таким образом можно говорить о поэтической терминологии как о части языковой картины мира. Недаром автор средневекового пособия по геральдике и охоте «The Book of St.Albans» Джулиана Барнс (Dame Juliana Barnes), была названа в предисловии к изданию 1881 года этой книги самой первой поэтессой в истории Англии «England's earliest poetess» [цит. по Lipton, 1993: 7]. Интересен тот факт, что книга включала не только охотничьи термины, но и имена групп людей, ёмко и остроумно отражающие

реалии того времени, а потому вышедшие из обращения с изменением исторического контекста: a lying of pardoners (продавцы индульгенций), a slice of pantrymen (слуги, отвечающие за нарезку хлеба к столу), a disworship of Scots (номинация возникла в период войн между Англией и Шотландией).

Первоначальная образность современных узуальных имен групп уже практически не осознается как таковая (например, a school of fish, a pride of lions), они не более экспрессивны, чем любые другие термины. Однако «игра» в создание новых собирательных существительных далеко не закончена и в результате словотворчества поэтов, писателей, журналистов и других острословов продолжает расти диффузный, неустойчивый класс окказиональных имен групп, обнаружить которые можно в различных источниках [см., напр., Lipton, 1993; Sparkes, 1985; Ross, 2003; PV, CNP и др.].

Несмотря на то, что механизмы семантической деривации, основанные на импликационных (в основном, метонимических) и классификационных концептуальных связях [Никитин, 2007], могут быть общими для узуальных и окказиональных имен групп, последние всегда осознаются как образные, экспрессивные, в их значениях, как правило, присутствует прагматический компонент — оценка, юмор и т. п.: a babble of linguists, a stoppit! of parents. Следующей отличительной чертой окказиональных имен групп является использование конвергенции стилистических средств в одной единице номинации: a ballet of swans (метафора и аллюзивная отсылка к балету «The Swan Lake»), a slither of snakes (аллитерация и метонимический перенос «характерное движение» → «имя группы носителя действия»), a hamper of helpers (аллитерация и оксюморон, сочетающий противоположные признаки «мешать» и «помогать»). Отмечаются и другие разнообразные средства создания комического эффекта: напр., трансформация и переосмысление идиомы: a rain of cats and dogs; каламбуры — a U of terns (созвучно U-turns), an asylum of loons (созвучно lunatic asylum); обыгрывание внутренней формы слова, не связанной с характеристикой класса особей, — a service of spoonbills (корневые морфемы spoon (ложка) и bill (счет) вызывают ассоциацию колпичицы с официантом), a schizophrenia of Hawk-Owls (шутка построена на двойственном названии вида

птицы — ястребиная сова, что сопоставимо с раздвоением личности). Единичные примеры иллюстрируют и такие приёмы языковой игры, как спунеризм: a wunch of bankers, что на самом деле подразумевает a bunch of wankers, (см. wanker — BrE slang, a foolish or useless person [LDELC]), использование графических средств: a ___ of nihilists, где пропуск отражает саму суть класса референтов (о семантических механизмах создания узуальных и окказиональных имен групп см. также [Сергаева, 2003]).

Продуктивность словотворчества в области собирательных существительных обусловлена не только объективными причинами — появлением новых объектов и явлений действительности, как это происходит в случае с обычными терминами-неологизмами. В большей степени это явление вызвано действием человеческого фактора — смещением акцентов с одних характерологических черт на другие, изменением прагматического содержания, исторического контекста, стремлением языковой личности компактно отражать совокупности признаков и целые ситуации.

Являясь продуктом определенной языковой культуры, новые имена групп могут отражать как сходство в восприятии внеязыковой действительности, быть понятными в любом обществе, так и считаться «культурно маркированными», т. е. построенными на знании культурных реалий, определенной информации о данной стране, городе, человеке. Данные реалии могут относиться как к своей, так и «чужой» культуре, используя, как правило, при образовании имен групп представителей разных национальностей, субкультур, профессий.

Основой номинации имен групп, объединенных по национальному признаку, могут служить различные реалии, связанные с языком и культурой данной страны:

1) слова или выражения на языке представителей описываемой национальности, своего рода «варваризмы»: a bon ton of French women, a savoir faire of Frenchmen), a cc of Spaniards (произношение имени группы совпадает с испанским «Si, si»). Похожим образом в номинации a Yo! Of street kids использовано типичное восклицание из молодежного жаргона, афро-американской субкультуры.

2) реалия — традиционное блюдо: an espresso of Italians, a goulash of Hungarians, a julep of Kentuckians;

3) типичный атрибут, ассоциирующийся с данной страной, городом: a watch of Swiss (производимый товар), an attic of Greeks (элемент архитектуры), a broly of Londoners (зонт — необходимый предмет в дождливую погоду);

4) реалии-меры и измерения: a pound of Englishmen, a pint of Irishmen, a fifth of Scots (1/5 галлона — единица измерения напитков, включая алкоголь);

5) общественно-политические реалии: an apparat of Soviets, a glasnost of Russians, a solidarity of Poles (имеется в виду название политической группировки в Польше). В имени группы a crush of Chinese актуализируется не только значение «шумное собрание, сборище», как это кажется на первый взгляд, но и присутствует аллегорический намек на подавление восстания в Китае в 1989 году;

6) особенности географического положения: a wave of Hawaiians, a flow of Californians, a spread of Texas (большой размер штата), a speck of Rhode Islanders (маленький размер), an outback of Aussies (малонаселенные места);

7) стереотипные представления о черте характера нации, особенностях поведения: a diligence of Koreans (усердие), a vendetta of Sicilians (традиция кровной мести), a kendo of Japanese (искаженный вариант «can do»).

Культурная маркированность характерна не только для имен групп представителей различных национальностей и регионов. Обращение к фоновым знаниям потребуется и для понимания многих, часто шутливых, номинаций совокупностей понятий, предметов, представителей профессий и т. д. Во многих таких случаях в виде культурных реалий, ставших собирательными существительными — названиями групп, выступают имена собственные, например, a jackson of gloves (номинация связана с фактом особой любви поп-звезды Майкла Джексона к перчаткам). В следующем примере a bond of British secret agents имя собственное скрывается в каламбуре, который строится на многозначности в совокупности с аллюзией: лексема a bond реализует и своё основное значение (узы, связь), и называет фамилию известного персонажа — James Bond. Но если данный персонаж относится уже к интернациональной культуре и аллюзия легко прослеживается, то во многих других случаях для достижения нужного эффекта при

обыгрывании имени собственного требуются определенные фоновые знания. Например, в таких словосочетаниях, как a Sousa of marching bands; a Kevorkian of medical students, a monica of sins, прагматический эффект достигается не посредством каламбура, а через экстралингвистическую информацию об обладателях этих антропонимов. Дж. Ф. Суза, американский композитор и дирижер, автор многих известных маршей, ассоциируется у американцев с военным оркестром, парадом, праздником, патриотическими чувствами, следовательно, подобное название группы отражает не только одну её черту — репертуар, а целую ситуацию, культурный сценарий. Достаточно ёмким по содержанию представляется и второй окказионализм. Американский врач Дж. Кеворкян стал скандально известным после многочисленных обвинений в эвтаназии — умерщвлении неизлечимых пациентов с их согласия — за что получил прозвище Dr Death. Использование его имени для обозначения группы студентов-медиков классифицирует их не без «черного юмора», как горе-специалистов, к которым лучше не попадаться. Намек на политический скандал с Моникой Левински — это тоже продукт своего времени и культуры, аллегоричность которого может быть расшифрована только при соответствующих фоновых знаниях.

В следующих примерах, включающих в себя реалии шоу-бизнеса, поп-культуры, имя собственное лежит не в основе имени группы, а во второй части словосочетания, определяемой квантификатором: a silicone of Baywatch returns (о повторе сериала Baywatch («Спасатели Малибу»), известного участием в нем Памелы Андерсон и других привлекательных актрис с силиконовыми имплантатами), a wiggle of Elvis impersonators (о двойниках Элвиса Пресли, копирующих его характерные танцевальные движения).

Номинация культурно маркированных имен групп может быть мотивирована и связью с определенными легендами и мифами. Так, интерпретация значения имени группы a blessing of unicorns возможна при знании легенд, связанных с популярным персонажем западной мифологии — единорогом, увидеть и приучить которого удаётся только непорочным праведникам. Кроме того, единорог считается и воплощением Иисуса Христа, а потому увидеть нескольких единорогов (естественно, не в реальном мире) — это действительно благословение и награда.

Итак, мы видим, что новые имена групп создаются чаще всего с целью выражения отношения к определенным реалиям окружающего мира, их своеобразного осмысления, оценки. Создаваясь для достижения какого-либо прагматического эффекта, они реализуют потенциальные возможности языковой системы и активизируют творческое начало в акте номинации.

По своей форме и отчасти стилистической функции рассмотренные образные конструкции с именем группы сходны с инвертированными эпитетами типа *a vow of a hat*, *a fool of a policeman*, *a doll of a wife* и т. п. описание которых даёт И. В. Арнольд [Арнольд, 2002: 135], но не идентичны им, т. к. первый компонент получает статус прежде всего собирательного существительного, выполняющего попутно и характеризующую функцию в отношении второго компонента, всегда имеющего форму множественного числа. Наличие двух смысловых центров обусловлено тем, что большинство узуальных и практически все окказиональные имена групп в английском языке реализуют свой игровой потенциал только в словосочетании, а не сами по себе, то есть характеризуются связанностью значения, представляют собой свернутую пропозицию, часто целый культурный сценарий, базирующийся на знаниях соответствующих реалий.

В заключение следует сказать, что главное отличие имен групп английского языка от подобных, к примеру, русских номинаций состоит в том, что в русском языке это класс слов, редко пополняющийся новыми лексемами, тогда как в английском поток новообразований неиссякаем. Благодаря таким особенностям строя английского языка, как, отсутствие флексий, продуктивное словообразование за счет конверсии, тенденция к номинализации, легкость процесса лексикализации, появляется большое количество новообразованных имен групп и открываются большие возможности словотворчества в этой сфере.

* * *

АРНОЛЬД И. В., 2002. Стилистика. Современный английский язык. М.

АРУТЮНОВА Н. Д., 1987. Аномалии и язык // Вопросы языкознания №3.

АРХИПОВ И. К., 2001. Человеческий фактор в языке. СПб.

ИРИСХАНОВА О. К., 2005. Лингвокреативные основания теории номинализации: автореф. дис. ... доктора филол. наук: 10.02.19. М.

НИКИТИН М. В., 2007. Курс лингвистической семантики. СПб.

СЕРГАЕВА Ю. В., 2003. Имена групп как объект словотворчества // *Studia Linguistica*. №12: РГПУ. СПб.

СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А., 1983. О материалистическом подходе к явлениям языка. М.

СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А., 1988. Роль человеческого фактора в языке: Язык и мышление. М.

СЕРЕБРЕННИКОВ Б. А., КУБРЯКОВА Е. С., ПОСТОВАЛОВА В. И. и др. 1988. Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М.

LIPTON J., 1993. *An exaltation of larks: The Ultimate Edition*. N.Y.

Источники и принятые сокращения

DOYLE, A. C. Sir Nigel, Chapter XI, p. 60// www.classic-literature.co.uk.

ROSS T., 2003. Group Names for Birds [Electronic Resource] // bcpl.net/~tross/gnlist.html

CNP — The Collective Noun Page. [E. R.] // <http://ojohaven.com/collectives.html>

PV — Paul Vigay's Collective Nouns Database. [Electronic Resource] // <http://vigay.com/index/html>.

SPARKES I. G., 1985, *The Dictionary of Collective Nouns and Group Terms*. Detroit.

LDELС — *Longman Dictionary of English Language and Culture*. Harlow, 1998.

И. А. Щирова

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

Стимулом для рассуждений, содержащихся в этой небольшой статье, стали слова Ирины Владимировны Арнольд о своеобразии «наук о духе»: «Специфика всей гуманитарной науки, и филологии в частности, — пишет И.В. Арнольд, — направленность на мысли, уже высказанные предшественниками, на развитие полученного в наследие от предыдущих поколений, «на познание познанного [Арнольд, 1999: 382].

Современная картина мира стереоскопична. Постулирование позиции «Другого» предопределяет доминирование в ней принципов многообразия по отношению к тем различиям, с которыми неизбежно сталкивается человек, живущий в поликультурном, поликонфессиональном и полиэтническом обществе. Однако привычные для нас сегодня идеи толерантности, чего бы они ни касались — повседневного быта, нравственности или искусства, далеки от жестких установок предшествующих исторических периодов. Не претендуя на широкие обобщения, сошлёмся на один пример — культуру Средневековья. Оригинальное и новое в эту эпоху преследовались, а цитирование древних и плагиат поощрялись [Гуревич, 1999, цит. по Слышкин, 2004: 14]. Предполагая жесткую точку отсчёта — унаследованный от классической древности «культ общих понятий», в котором образованный человек Средневековья видел «кладёз истинности и мудрости» (Эко), они соответствовали образу и норме как требованиям времени.

Дух средневековья выражала ясность — один из средневековых критериев прекрасного (*claritas*). Средневековое изобразительное искусство не знало цветового изобилия и отличалось чуждой оттенкам хроматической ограниченностью. Оно воздействовало на зрителя сочетанием яркого, общим созвучием красок, а не приёмами светотени. «Безапелляционные определения» цвета в поэзии были *далеки от двусмысленности*: трава — зелёная, кровь красная, молоко девственно белое [Эко, 2004: 92] (курсив мой — И. Щ.). Лежавшие в основе концепции *claritas* и отра-

жавшие стремление многих цивилизаций отождествить Бога со светом идеи нео-платонизма заставляли видеть в материи «последнюю стадию нисхождения через эманацию неисчерпаемого и высшего Единого». Бог отождествлялся со «всеосвещающим потоком», распространявшим сияние на вселенную. Впрочем, имелись и более прозаические причины гармонии яркого: — деление на богатых и бедных, могущественных и обездоленных. Лишь средневековая знать могла украсить себя золотом и драгоценностями и облачиться в яркую одежду, поскольку производство искусственных красителей минерального или растительного происхождения требовало больших усилий и было дорогим удовольствием. Уделом бедных оставались тусклые одежды естественной (серой или коричневой) расцветки [История красоты, 2006: 102–106].

Похожие тенденции прослеживаются и в некоторых особенностях развития художественной коммуникации. На его ранних этапах преобладают «неиндивидуализирующие способы изображения внешних характеристик» (Ижевская), а персонаж отличается статичностью и одномерностью, для обрисовки которого используются устойчивые эпитеты. Система узнаваемых (стереотипных) персонажей выстраивается по принципу чётких оппозитивных отношений и ограничивает, т. о. со-творческую инициативу читателя: его задача скорее сводится к узнаванию, чем к размышлению и необходимости делать собственные выводы. Однако уже «со времён Ренессанса» внутренняя жизнь индивида и общества «последовательно усложняется и углубляется», а пути «духовных влияний, духовных ассимиляций и духовного творчества» становятся многообразнее и запутаннее [Унгер, 1987: 155]. Многомерная картина современного мира отражает сложность и мира, и укоренённого в нем бытия. Организующим центром художественного пространства становится субъект — человек в *широком комплексе* психологических, биологических и социальных факторов. В отличие от литературных предшественников современный персонаж разрушает представление о стандарте, а в его изображении преобладают индивидуализирующие способы. Повествование психологизируется [Щирова, 2001, 2003]. «Суггестивная значительность деталей» (Лотман) превращается в отличительную характеристику нового искусства, вообще, и психологического текста, в частнос-

ти, и предопределяясь отсутствием явно высказанного авторского мнения. Это отражается на специфике оценивания персонажа читателем, которое обретает вариативность. Детали наружности «овнешняют» свойства многогранного внутреннего мира, указывают на существенные особенности характера и, как и весь «многомысленный психологический текст, допускают широкий диапазон прочтений. Персонаж выходит за рамки жёсткой аксиологической оппозиции «плохой (положительный)» vs. «отрицательный (хороший)». Гибкая интерпретационная программа современного текста, подтверждая усложнение реалий, активизирует когнитивные усилия «образцового читателя». В ходе диалога субъектов (носителей сознаний) созданный автором и объективированный в тексте фикциональный мир — новый ракурс известного — воздействует на картину мира читателя, который, однако, присваивает фикцию как со-творец.

Бесспорно, вопросы развития культур и текстов решаются не столь однозначно, как это может показаться из предложенного выше сравнения картин мира средневекового и современного мира, а существование отличий не означает отсутствия параллелей. Чтобы убедиться в этом, сошлёмся на одну из актуальных характеристик современных научных исследований — междисциплинарность.

Знания, раздробленные по дисциплинарным областям, сегодня объявляются неадекватными для решения сложных проблем, на основании чего дисциплины объединяются, дисциплинарные границы размываются, а когнитивные схемы переносятся из одной дисциплины в другую. Лингвистика сотрудничает со многими дисциплинами: гуманитарными, естественными и даже точными. Уходя от абстракций и приходя к описанию человека в контексте культуры, она стремится к синтетическому постижению языка как антропологического феномена. Возникают школы на границе лингвистики, философии и логики. Более точное описание языкового общения становится возможным благодаря союзу лингвистики с этнографией, социологией и теорией коммуникации. Корреляции между языком, мышлением и внутренним миром выливаются в сотрудничество лингвистики и психологии. Появляются не просто междисциплинарные исследования, но и сдвоенные науки. Так, в рамках лингвистики антропологической

ориентации сосуществуют лингвогносеология, лингвосоциология, лингвопсихология, лингвоэтнология и лингвокультурология, которая позволяет лингвисту, выявив скрытые в языке культурные смыслы, описать через них специфику мировидения народа.

Тенденция к разрушению междисциплинарных границ в полной мере относится и к наукам о тексте. Интегральный подход к тексту объявляется сегодня объективной необходимостью и объясняется невозможностью описания текста на одном основании, а его отдельных сторон и функций как изолированных. В тексте видят иерархическое единство высшего ранга, многомерное, многоаспектное и многофункциональное системное образование, совмещающее в себе характеристики сложного знака и коммуникативного целого. Знания, недостающие текстолингвисту для описания столь сложного феномена, черпаются им из многих наук, так или иначе занимающихся текстовой проблематикой.

Этот выход за пределы единой предметности соответствует общим стратегиям научного развития. Дисциплинарная фрагментация научного знания — одна из реалий развития всей современной науки — определяет актуальность преодоления монодисциплинарности и объясняет стремление к идеалу цельного знания, который восходит к известным именам П. А. Флоренского, С. Н. Булгакова и А. Ф. Лосева. Потребность человека в жизненном единстве формирует важнейшую тему «науки наук» — философии. С доминированием холистического взгляд на мир можно связать и то возрастание научного интереса к тексту, которое фиксируется сегодня не только в «науках о духе». Современный исследователь обнаруживает в тексте ключевое понятие культуры и важнейшую универсалию времени, что не вызывает особого удивления: текст объективирует «разум и дар речи», которые ещё Цицерон называл связью общности рода людского в силу свойственной им способности «посредством наставления, изучения, взаимного общения, обсуждения и принятия решений» [Цицерон, 1993: 71] сближать людей. Текст становится тем объединяющим началом, которое гармонизирует усилия самых разных научных сообществ на пути к постижению целостности мира. Во многом именно он обеспечивает полифонию наук.

Однако стремление к интеграции и целостности, определяющее, характер «современной и будущей науки» [Князева, 2004:

30], было известно и ранее. Эмоциональное и интеллектуальное наполнение современной эпохи, закономерно, готовилось предшествующим развитием культуры и не подлежит упрощению. Так, на первый взгляд неожиданными кажутся параллели между попытками вернуть целостность мировидения сегодня и стремлением узаконить целостное эстетическое мировосприятие в эпоху «мрачного Средневековья». При более пристальном рассмотрении, однако, и эта эпоха оказывается проникнутой духом интегрированных ценностей, т. е. концептуально соотносится с той идеей интеграции знания, о которой мы и пытаемся рассуждать в данной статье.

Для подтверждения этого тезиса сошлёмся на эстетические воззрения известного итальянского медиевиста У. Эко. Заметим, что эстетика, претендующая на системность, комплексность, т. е. всеохватывающий характер, включает в круг своего рассмотрения явления самого разного порядка. Они касаются красоты и искусства, условий созданий и оценки произведений искусства, отношений между искусством и нравственностью, проблем стиля, суждений о вкусе, теорий и видов практик истолкования вербальных и невербальных текстов, т. е. проблем герменевтики и пр. [Эко, 2003: 6]. Иными словами, эстетика решает сложные и многоаспектные проблемы, а значит, руководствуется теми принципами сложного и многомерного, в соответствии с которыми организуются многие современные реалии. Анализ эстетических воззрений, т. о., будет представлять для нас очевидный интерес.

Для характеристики цивилизации, которая в своих собственных границах выработала систему ценностей, не конфликтующих, а взаимосвязанных друг с другом, Эко использует понятие «интегрированная цивилизация». Примером такой цивилизации им называется Средневековье, по словам самого Эко, «ошибочно обвиняемое» в отсутствии эстетической чувствительности. В литературе Средневековья, — пишет Эко, — сливались этические и эстетические реакции, «достоинство ума» сочеталось с «изяществом красноречия», а человеку было трудно различить форму и содержание: жизнь виделась в «её нерасторжимом единстве». Девиз средневековой литературы «сочетать приятное с полезным» определялся тем, как решала проблему единения прекрасного с иными ценностями на метафизическом уровне схоластическая

эстетика. Дискуссия о трансцендентности прекрасного, актуальная для средневековых схоластов, представляла собой попытку узаконить *целостное эстетическое мировосприятие* [Эко, 2004: 38, 41] (курсив мой — И. Щ.).

О тех же особенностях менталитета средневековья свидетельствуют труды св. Августина и Боэция, на которые часто ссылается Эко. Так, по мнению Св. Августина, облик, число и порядок, определяющие красоту вещи, составляли её благо. При этом эстетическое не столько сводилось к этическому, сколько, наоборот, под моральное подводилась эстетическая база. Иными словами, число, порядок и соразмерность рассматривались как начала столь же онтологические, сколь и этические, и эстетические. Боэций утверждал, что все части души и тела соединены по законам музыки. Поскольку схожие, пропорциональные отношения он находил в гармонии космоса, микро и макрокосмы Боэция оказывались связанными одним и тем же узлом, «неким модулем, одновременно и математическим, и эстетическим». Человек, скроенный «на тот же манер», что и окружающий его мир, получал удовольствие из любого проявления сходства. «Подобие дружелюбно, — утверждал Боэций, — а непохожесть враждебна и отвратительна» [цит. по Эко, 2004: 45, 75].

Достаточно подробно Эко останавливается на *теории человека равностороннего, пропорционального* (homo quadratus), разработанной в доктринах Халкидия и Макробия — мир сравнивался в них с большим человеком, а человек — с сокращённым миром. Однако самое пристальное внимание итальянский медиевист уделяет эстетике пропорций. Эта эстетика, доминировавшая в эпоху Средневековья, происходила из музыкальных теорий поздней античности и принимала многообразные, усложненные формы. Пример — средневековая литература, изобилующая правилами пропорции. Так, в качестве принципа стихосложения применялся принцип уместности — не числовой, а качественной, основанной на психологических и звуковых согласованиях и приложимой к украшению (ornatus). Считалось, что уместно называть золото сияющим (fulvum), молоко блестящим (nicium), розу прерубяной (praerubicunda), а мёд сладостным (dulcifluum). Любой стиль должен был согласовываться с тем, что говорится в тексте, а каждая вещь должна была «выступать в своём свойстве».

На уместности основывались теории сопоставления *comparatio* и уподобления *collatio*. Всем пишущим рекомендовалось следовать либо естественному порядку (*ordo naturalis*), либо одной из разновидностей художественного порядка (*ordo artificialis*) — образцам техники повествования, например, порядку рассказа (*ordo narrandi*), симметрии сцен, образующих диптих или триптих, сцеплению нескольких одновременно ведущихся повествований и пр. Литературные принципы краткости (*brevitas*) и лаконичности (ничего лишнего — *ne quid nimis*), т.е. отказ от всего, что не было связано с сюжетом, также определялись господствующим в эстетике принципом пропорциональности. Им же, по мнению Эко, объяснялось и присутствие некоторых элементов архитектуры и живописи, например, двухглавых орлов и двуххвостых сирен. Интересно заметить, что пропорциональность выступала и мыслительной оценкой уместности нравственных поступков или речей. «...применительно к человеческим поступкам, — писал Фома Аквинский, — говорят о прекрасном, исходя из должного в словах и деяниях, в которых проявляется свет разума, а об ужасном, — когда таковой отсутствует. *И подобным образом духовная красота состоит в том, чтобы речи и поступки человека находились в верной пропорции, освещённые духовным разумом*» [Эко, 2004: 78, 79, 84, 106] (курсив мой — И. Ш.).

Как видим, так строго ориентировавшиеся на норму правила и принципы Средневековья составляли основу гармонии ценностей, прогнозировали их системность и интегрированный характер «цивилизации», которой принадлежали. Некое стремление к интеграции можно обнаружить и в современных подходах к тексту, будь то описание креолизованного текста, поиск в тексте современных первообразов — архетипов или давно превратившаяся в приоритет научного знания междисциплинарность. Конечно, ответы на все эти вопросы часто остаются неоднозначными, что представляется закономерным. Общеизвестная сложность текста прогнозирует его принадлежность к «извечно актуальным» объектам исследования. Как и любые иные теории, теория текста не может уложиться в рамки идеальных моделей богатство эмпирического материала и сосредотачивается лишь на его наиболее существенных признаках. Более того, любые вопросы о природе связаны с вопросами природы человека и человеческого языка,

а теории, относящиеся к этой области знания, являются скорее гипотезами и не могут быть непосредственно наблюдаемы или воспроизведены в эксперименте [Степанов, 1975: 161]. Сошлёмся на справедливое мнение И.В. Арнольд: «Предложить единственно правильное толкование не может никто. Текст живет в «большом времени» (термин Бахтина), и окружающая его атмосфера исторически изменчива [Арнольд, 1999: 346]. Все это не означает, однако, что исследователь текста не должен стремиться к его познанию. Вместе с тем, он едва ли может игнорировать и новые условия жизни. Жизнь, по выражению Ортеги-и-Гассета, — «стала планетарной». Она вмещает «всю планету, ... простой смертный обживает весь мир»...». Культ скорости, близость дальнего и доступность недоступного фантастически раздвигают жизненный горизонт каждого [Ортега-и-Гассет, 2007: 33–34]. В этих новых условиях жизни человек сталкивается с более «глобальными, транснациональными, полидисциплинарными, многомерными и планетарными» [Морен, 2004: 10] реалиями и проблемами. Единственным выходом из сложившейся ситуации является признание сложности проблем и их переосмысление на основе стратегий, учитывающих эту сложность. Выход текстолингвиста за пределы микролингвистики в широкий междисциплинарный контекст и обращение к тому богатству знаний, которыми обладают представители различных гуманитарных наук справедливо можно причислить к стратегиям, учитывающим сложность и диалектичность текста. Стремление к интеграции с научными сообществами самой разной направленности становится естественной необходимостью для современного исследователя текста и, закономерно, встраивается в стремление современной философии науки восполнить утраченную целостность мировидения. «Человекомерность» всей современной науки играет в преодолении монодисциплинарности решающую роль.

* * *

АРНОЛЬД И. В., 1999. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб.

ГУРЕВИЧ А. Я., 1999. Избранные труды. Т. 2. Средневековый мир. М.-СПб.

ИСТОРИЯ КРАСОТЫ, 2006. М.

КНЯЗЕВА Е. Н., 2004. Трансдисциплинарные когнитивные стратегии в науке будущего // Стратегии развития науки в современном мире. М.

МОРЕН Э., 2004. Принципы познания сложного в науке XXI века // Вызов познанию. Стратегии развития науки в современном мире. М.

ОРТЕГА-и-ГАССЕТ., 2007. Восстание масс. М.

СЛЫШКИН Г. Г., 2004. Лингвокультурные концепты и мета-концепты. Волгоград.

СТЕПАНОВ Ю. С., 1975. Основы общего языкознания. М.

УНГЕР Р., 1987. Философские проблемы новейшего литературоведения // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв. Трактаты. Статьи. Эссе. М.

ЩИРОВА И.А., 2000. Художественное моделирование когнитивных процессов в англоязычной психологической прозе XX в. СПб.

ЩИРОВА И.А., 2003. Психологический текст: деталь и образ. СПб.

ЦИЦЕРОН, 1993. О старости. О дружбе. Об обязанностях. М.

ЭКО У., 2003. Поэтики Джойса. СПб.

ЭКО У., 2004. Эволюция средневековой эстетики. СПб.

ТЕКСТ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЛИЧНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАТОРА

Наши современники имеют право на своё прочтение великих произведений прошлого, это прочтение не будет фантазированием на классические темы, но оно обязательно имеет в качестве контекста жизненный, исторический, идейный, общекультурный и эмоциональный опыт человека нашей эпохи...

И. В. Арнольд

В. А. Андреева

МОТИВ КАК КАТЕГОРИЯ АНАЛИЗА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА

В ряду нарративных категорий особое место принадлежит мотиву, понимаемому как «простейший», «не разлагаемый далее» элемент художественной семантики, «образный одночленный схематизм», составляющий основу сюжетов (первоначально — «низшей мифологии и сказки») [Веселовский, 2006: 494, 500]. Все остальные нарративные категории устроены сложнее, но все они так или иначе связаны с мотивом.

Так, мотив причастен к **теме**. По мнению Б.В.Томашевского, тема складывается из *суммы* мотивов, которые представляют собой «неразлагаемые», «самые мелкие дробления» тематического материала: «Тема неразложимой части произведения называется мотивом» [Томашевский, 1996: 182].

Мотив соотносим также с **фабулой** и **сюжетом**. Связь эта опосредована событием как конкретной реализацией мотива в нарративе [Силантьев, 1004: 76]. Мотив связан не только с **событием** как движителем сюжета, но и с теми, кто участвует в этом событии, то есть с **образами персонажей**. По определению Ю. М. Лотмана, суть события заключается в «перемещени[и] персонажа через границу семантического поля» [Лотман, 1998: 224], иными

словами, обязательным элементом события является не всякий, а «подвижной» персонаж или герой: «Если <...> соотносить план мотивики в первую очередь с планом художественного смысла сюжета, то мы должны говорить именно о корреляции *мотива* и *героя*» [Силантьев, 2004: 82].

Мотив имеет отношение и к художественному **хронотопу**, так как наряду с действием и его актантами содержит обобщенное представление о пространстве и времени. Так, романтический мотив уединения (как вариант мотива обособления, отпадения от мира) [Тюпа, 1998: 51] включает в себя представление о пространственном перемещении персонажа (путешествие, нахождение в заточении и т. п.). Очень часто мотив и хронотоп настолько «срастаются», что можно говорить о «хронотопических мотивах»: «Такие мотивы, как встреча — расставание (разлука), потеря — обретение, поиски — нахождение, узвание — неузнание и др., входят, как составные элементы, в сюжеты не только романов разных эпох и разных типов, но и литературных произведений других жанров (эпических, драматических, даже лирических). Мотивы эти по природе своей хронотопичны (правда, в разных жанрах по-разному)» [Бахтин, 1975: 235].

Многоаспектность мотива очень затрудняет его универсальное определение. Тем не менее, представляется возможным выделить важнейшие критерии мотива.

Во-первых, признаком мотива без сомнений является *повторяемость*, которая может быть установлена только за рамками текста. Как известно, семантический повтор в границах текста называется **лейтмотивом**, однако не всякий лейтмотив является мотивом, как и не всякий мотив становится в тексте лейтмотивом. Иными словами, понятия мотив и лейтмотив в определенном смысле перекрывают друг друга, но не совпадают полностью. Так, семантический повтор, связанный с обстоятельствами рождения аутодигетического повествователя в романе В. Кешпена «Jugend», образует один из лейтмотивов повествования. История рождения рассказчика и протагониста подсвечивается библейским мифом о первородном грехе (отсюда повторы в тексте лексем *Schlangen, Paradies, Garten Eden, vertreiben*), подчеркивая значимость этого факта его биографии. Этот лейтмотив реализует также и вариант мотива отпадения от мира (в данном случае —

обособления), поскольку незаконное рождение предопределило конфликт протагониста со своей социальной средой. Как видим, лейтмотив и мотив в данном случае взаимодействуют, хотя и не совпадают полностью.

Постструктуралистский подход к анализу текста (мотивный анализ), основанный на погружении текста «в текущую смысловую среду, при котором сам текст становится частицей и движущей силой этой среды, частицей такой же изменчивой, как сама эта среда» [Гаспаров, 1994: 276], совмещает понятия мотива и лейтмотива. Мотивный анализ строится на поиске индуцируемых текстом при его взаимодействии со смысловой средой ассоциативных цепочек мотивов (или, что то же самое, лейтмотивов). Мотивом может стать *любой* компонент текста, который, вызывая определенные ассоциации, «бросает ответ на все новые точки текста, высвечивая и фокусируя их смысл в специфическом ракурсе» [Гаспаров, 1996: 337] и связывает анализируемый текст с другими. Мотив в этом случае не рассматривается как элемент сюжетосложения, но как смысловое «пятно» [Гаспаров, 1994: 30], точка «ассоциативных сопряжений» многих текстов [Гаспаров, 1996: 335].

Второй особенностью мотива является его *вариативность*: в различных сюжетах, а тем более в конкретных текстах, реализуются *варианты* мотива. Это обстоятельство дает основание для сомнения не только в *целостности, неразложимости и элементарности* мотива, но и в его статусе как нарративной категории. С критикой мотива как «образного одночленного схематизма» (по А. Н. Веселовскому) и, как следствие, самого понятия «мотив» выступил в свое время В. Я. Пропп в своей «Морфологии сказки», разложив его на простейшие компоненты: функции и их аргументы [Пропп, 1969: 24]. В. И. Силантьев в книге «Поэтика мотива» справедливо указывает на то, что в критике В.Я.Проппа разрушение мотива как целого является следствием замены семантического критерия на логический: «В действительности мотив, как его понимал А. Н. Веселовский и другие представители семантического подхода, является неразложимым целым не с точки зрения логической структуры, а с точки зрения образной, эстетически значимой семантики, связывающей и оцеляющей логические компоненты мотива. При этом явление фабульной ва-

риативности мотива ни в коей мере не разрушает целостности его семантики» [Силантьев, 2004: 25–26].

Выявленные В. Я. Проппом элементы логической структуры мотива позволяют разрешить проблему стабильности/вариативности мотива на пути создания дихотомической теории мотива [Силантьев, 1999: 10 и след.]. Первенство ее формулировки принадлежит американскому фольклористу А. Дандису, который, по его собственному признанию, соединил пропповскую морфологическую схему мотива с терминологией и теоретическими положениями об этико-этическом дуализме языковых единиц структуралиста К. Л. Пайка [Дандис, 1985: 185]. Речь идет о разграничении мотива как единицы поэтического языка и мотива как единицы поэтической речи. А. Дандис вводит понятия «мотивема» (инвариант мотива), «алломотив» (его вариант) и «мотив» (его конкретная вариация в тексте) [там же]. Варианты мотива (алломотивы) и его вариации (мотивы) возникают в результате смены аргументов при сохранении функции. В рамках дихотомии «поэтический язык — поэтическая речь» мотивема является парадигматической единицей поэтического языка, алломотив — его синтагматической единицей, мотивы же относятся к поэтической речи.

Структуралистская модель сделала акцент именно на инварианте мотива (функции, по В. Я. Проппу), что объяснялось вполне естественным желанием найти «точку опоры» при анализе разнообразного текстового материала. В многообразии было выявлено единообразие, которое, с одной стороны, свидетельствовало о генетическом родстве мифологии и фольклора разных народов, с другой — наглядно показало исторические корни искусства в целом и вербального искусства в частности.

Поворотным моментом в теории мотива стала ориентация на изучение его прагматики, что потребовало выхода за рамки текста, смысловая и эстетическая целостность которого формируется в дискурсе. Так, В. И. Тюпа развивает представление о мотиве как «тема-рематическом единстве» [Тюпа, 1996: 53] и видит в нем фактор функционально-смысловой и коммуникативно-прагматической «разгерметизации» текста, выводящий его на уровень художественного (эстетического) дискурса. Именно в дискурсе раскрывается рематическая составляющая мотива, указы-

вающая на его место в художественном целом, на его вклад в формирование художественного смысла произведения.

Образная (художественная) целостность мотива не отменяет его логической разложимости. Однако представление о мотиве как жесткой структуре, ядром которой является действие (функция), а периферией — аргументы-актанты, в условиях деканонизации литературы не имеет объяснительной силы, поскольку не улавливает свойственной мотиву подвижности, инвариантной размытости, диффузного характера его семантики.

Дихотомическая теория мотива получила качественное развитие в вероятностной модели семантики мотива, разработанной И. В. Силантьевым. Исследователь экстраполировал представления, сформировавшиеся в 70-х–80-х гг. прошлого века в лингвистике, в частности в семасиологии, на область художественной семантики в части семантики повествовательного мотива. Речь идет о вероятностном подходе к лексическому значению как наиболее адекватном природе естественных языков, который оказался способен объяснить «подвижность, текучесть, значительную размытость и неопределенность семантики словесных знаков» [Никитин, 1988: 65–66].

Вероятностный подход к лексическому значению может быть суммарно представлен следующим образом. В структуре лексического значения выделяются две части: его содержательное ядро (интенционал) и окружающая это ядро периферия семантических признаков (импликационал). Интенциональные признаки связаны друг с другом многообразными зависимостями, в силу чего одни признаки оживляют с разной степенью вероятности другие. Эти признаки образуют вероятностную структуру значения слова, поскольку могут проявлять себя в речи с разной степенью выявленности.

Кроме того, интенциональные признаки слова могут предполагать (имплицировать) наличие (отсутствие) других признаков. Эти признаки следует считать периферийными.

Импликация признаков может иметь разную степень вероятности: от обязательной (сильной), высоковероятностной, свободной (слабой) до отрицательной. Обязательные и высоковероятностные признаки близки к интенциональному ядру — они образуют сильный или жесткий импликационал. Маловероятные или не-

возможные (отрицательные) признаки образуют отрицательный импликационал (или негемпликационал), их знание необходимо для правильного использования слова. И, наконец, помимо сильной и отрицательной импликации следует говорить о так называемой свободной (или слабой) импликации, поскольку наличие и отсутствие каких-то признаков «одинаково вероятно и проблематично, они могут быть, а могут и не быть или, точнее говоря, могут быть по данному основанию то одними, то другими» там же: 62].

Если интенционал значения слова представляет собой результат познавательно-преобразующей когнитивной деятельности человека, в которой он абстрагируется от пестроты окружающего мира, то импликационал непосредственно отражает вероятностную природу мира: «Интенционал предопределяет область того, что может быть названо данным именем, т. е. его экстенционал. Импликационал отражает разнообразные предметные связи сущностей, т. е. очерчивает ожидаемую область того, что может быть названо в связи с данным именем. Интенционал составляет непрерывный постоянный компонент значения имени, а импликационал — его обусловленный и варьирующий в контекстах компонент, зависимый от предметно-логической структуры этого контекста. Отношение между интенционалом и импликационалом значения можно образно пояснить как отношение между массой и создаваемым ею полем тяготения, притягивающим другие тела» [там же: 65].

Вероятностный подход к лексическому значению объясняет многие явления функционирования слова в речи, например, образование тропов. Авторы «Общей риторики» определяют тропы (или метасемемы) как изменение содержания слова, которое не может быть произвольным, так как должно быть понятным слушающему или читающему. Такое изменение оказывается возможным благодаря тому, что значение слова членится на множество составных частей (или минимальных единиц смысла) — сем. Часть сем составляет семантическое ядро слова (*sèmes nucléaires*), часть зависит от контекста (*sèmes contextuels*). Ядро и периферия в целом образуют *семему* (смысл). При изменении содержания слова, всегда сохраняется *частичка* его первоначального смысла. Метасемемический процесс возможен благодаря семантической

избыточности языка и представляет собой механизм редукции этой избыточности [Дюбуа, Эделин, Клинкаберг и др., 2006: 173, 178]. Так, в случае оксюморона (словосочетания, в котором на основе подчинения соединяются несовместимые признаки, типа «горячий снег», «темный свет», «женатый холостяк», «богатый бедняк» и т. п.), «значение-гибрид» образуется в результате сочетания ядерных сем одного слова с несвойственными ему периферийными семами другого (семемы каждого из входящих в словосочетание слов подвергаются редукции, которая ведет к избыточности смысла метасемемы, в данном случае — оксюморона): «Первое слово поступает своим импликационалом, второе — интенционалом. Тем самым обеспечивается возможность выразить диалектику крайних случаев — обозначить класс внутренне противоречивых сущностей» [Никитин, 1988: 63–64].

Вероятностная модель семантики мотива также исходит из двусоставности семантики последнего. Семантическое ядро (семантический инвариант) образует функция (термин В. Я. Проппа), понимаемая как обобщенное предикативное отношение аргументов-актантов. Вторую составляющую семантической структуры мотива, ее периферию (или оболочку ядра), формируют так называемые вариантные семы, которые соотносятся с фабульными вариантами мотива. Вариантные семы носят вероятностный характер: «Вероятность нахождения вариантной семы в структуре значения мотива в общем случае *не равна единице* и может быть *меньше единицы*. Это значит, что в пределах семантической периферии мотива может находиться не одна, а несколько вариантных сем, соотносящихся с различными вариантами мотива и находящихся между собой в отношении частичной или полной содержательной дизъюнкции» [Силантьев, 2004: 104–106].

В терминологии вероятностной семантики слова семантическое ядро мотива имплицитно не один, а многие варианты реализации мотива: связь между ядром и периферией является не жесткой, а свободной, в связи с чем И.В.Силантьев говорит о виртуальном характере вариантной периферии семантики мотива. Причем каждый вариант мотива как некое единство вариантных сем «присутствует в виртуальной оболочке мотива со своим, *не равным другому*, вероятностным весом», который обусловлен, во-первых, «частотой встречаемости мотива в данной фабульной

реализации», во-вторых, «его художественной значимостью в данной фабульной реализации» [там же: 106].

Вероятностный подход позволяет уловить природу мотива с его «повышенной, можно сказать, исключительной степенью семиотичности», его «своеобразный семантический полифонизм» [Путилов, 1992: 84]. Отыскивание же мотивов в тексте имеет большой смыслопорождающий эффект, так как действительно может выявить смысловое богатство произведения.

* * *

БАХТИН М. М., 1975. Вопросы литературы и эстетики. М.

ВЕСЕЛОВСКИЙ А. Н., 2006. Поэтика сюжетов // Историческая поэтика.

ГАСПАРОВ Б. М., 1994. Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе XX века. М.

ГАСПАРОВ Б. М., 1996. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М.

ДАНДИС А., 1985. Структурная типология индейских сказок Северной Америки // Зарубежные исследования по семиотике фольклора. М.

ДЮБУА Ж., ЭДЕЛИН Ф., КЛИНКЕНБЕРГ Ж.-М., МЭНГЕ Ф., ПИР Ф., ТРИНОН А., 2006. Общая риторика. М.

ЛОТМАН Ю. М., 1998. Структура художественного текста // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.

НИКИТИН М. В., 1988. Основы лингвистической теории значения. М.

ПРОПП В. Я., 1969. Морфология сказки. М.

ПУТИЛОВ Б. Н., 1992. Веселовский и проблемы фольклорного мотива // Наследие Александра Веселовского. Исследования и материалы. СПб.

СИЛАНТЬЕВ И. В., 2004. Поэтика мотива. М.

ТОМАШЕВСКИЙ Б. В., 1996. Теория литературы. Поэтика. М.

ТЮПА В.И., 1998. К вопросу о мотиве уединения в русской литературе нового времени // Материалы к словарю сюжетов и мотивов русской литературы: Сюжет и мотив в контексте традиции. Новосибирск. Вып. 2.

ТЮПА В.И., 1996. Тезисы к проекту словаря мотивов // Дискурс 1996. — Новосибирск. Вып. 1.

Т. И. Воронцова

КОНЦЕПТ «СОБЫТИЕ» КАК ОСНОВА БАЛЛАДНОГО ДИСКУРСА

Баллада является повествовательным жанром. Повествование несёт на себе основную сюжетную нагрузку, то есть сообщает о развивающихся действиях и состояниях, что делает его динамичным и акциональным [Кухаренко, 1988: 134].

В основе любого повествования лежит событие, способ представления которого находится в непосредственной зависимости от жанровой принадлежности повествования.

Жанр баллады представлен в виде конкретных текстов, которые были созданы в определённое время и являются самостоятельными, завершёнными в смысловом и структурном отношении произведениями. Они несут определённую информацию и воздействуют на слушателя (читателя), так как литературное произведение — это всегда семантически и прагматически определённое единство формы и содержания.

Фольклорные и литературные баллады рассматриваются в данной работе как дискурс, который понимается как связный текст в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, социокультурными, когнитивными, психологическими) и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах) [Арутюнова, 1990: 136–137].

Процесс порождения текста является творческим, он далёк от простого облачения в языковую форму какого-то конкретного содержания. Целью создания любого литературного произведения является передача определённого смысла. Воплощение смысла требует решения ряда лингвистических задач. Смысл литературного произведения (в данном случае — баллады) — это его целостное содержание, которое является величиной переменной, так как оно возникает в процессе создания и восприятия произведения [Адоньева, 2000: 7].

В основе каждого литературного произведения лежит определённый сюжет, который представляет собой способ изложения фабулы, ход повествования о событии, явившемся предметом повествования. Как отмечает Н. Д. Арутюнова, события наполняют собой действительность. События не только происходят в жизни людей, но в них должны принимать участие люди, то есть события всегда личностны и социальны, занимают особое место в жизни социума. Н. Д. Арутюнова указывает основные признаки концепта «событие». Наиболее важными являются следующие из них: отнесённость к жизненному пространству; динамичность; кульминативность; «сценарность», которая при отсутствии «естественного» сценария создаётся ритуалом; целостность; единичность; функциональность (недискриптивность) обозначения конкретных событий; «вершинная» позиция при пространственно-временном совмещении с другими событийными объектами (процессами, действиями). С концептом «событие» ассоциируется представление о маркированности, выделенности из происходящего. Выделение событий (дискретных единиц сюжета) и наделение их смыслом, а также определённой временной, причинно-следственной или какой-либо иной упорядоченностью составляет сущность сюжета [Арутюнова, 1999: 507–519].

Восприятие и понимание каких-либо событий происходит не в вакууме, а в рамках более сложных ситуаций и социальных контекстов, при этом человек использует или конструирует информацию о взаимосвязях между событиями и ситуациями [ван Дейк, Кинч, 1983: 158]. Таким образом, понять смысл события — значит восстановить его реальные и потенциальные связи в релевантном для него контексте жизни, обладать более общими знаниями о таких событиях и, в конечном счёте, превратить его в некоторое множество фактов. Для этого необходимо освоение объективной реальности, выражение творческой позиции автора, избираемой для наблюдения за этой реальностью и её преобразованием [Колшанский, 1984: 125].

В одной из своих работ У. Кинч рассматривает особенности ментальных представлений событий и их уровни в зависимости от степени абстрагированности от окружения. На нижнем уровне этой иерархии находятся базовые формы перцептивных и процедурных репрезентаций, тесно связанных с окружением. Более

высокий уровень формируют репрезентации эпизодной памяти. Два самых высоких уровня составляют вербальные репрезентации нарративного и абстрактного уровней. Он отмечает, что когнитивные модели формируются на базе беспорядочных исходных данных, которые претерпевают процесс интеграции, результатом которого являются хорошо структурированные когнитивные репрезентации [Kintsch, 1998]. Вербальные репрезентации нарративного и абстрактного уровней представляют особый интерес, так как возможно преобразование внешних, конкретных событий во внутренние модели и манипулирование этими символическими репрезентациями. Можно производить и обратное действие и устанавливать соответствия между символическими репрезентациями и внешними событиями. Следовательно, ментальная модель — это динамическая репрезентация и имитация внешнего мира [Craik, 1943. Цит. по Залевская, 2001: 54].

Смысловое поле дискурса определённым образом структурировано, что даёт основания как для инвариантности проекций дискурса, так и для вариативности; оно организовано по принципу «ядро — периферия», между которыми располагается маргинальная зона, элементы которой могут входить или в ядерную или в периферийную часть проекции дискурса и таким образом обеспечивать вариативность его проекции. Каждый тип повествования обладает определённым структурно-смысловым прототипом [Залевская, 2001: 120–121]. Художественное мышление основывается на образной аналогии. В процессе создания художественного произведения действуют законы метафорического ассоциативного мышления, так как на основе множества наблюдаемых конкретных жизненных событий создаётся общая понятийная (когнитивная) модель фрагмента реальной действительности (фрейм), которая преобразуется во вторичную художественную действительность.

При изучении когнитивных моделей дискурсов за исходное берётся положение, согласно которому эксплицитное содержание дискурса обычно представляет собой только общий план. Проекция дискурса находится в непосредственной зависимости от его когнитивной модели, тип которой в значительной степени определяется жанровой принадлежностью. Следовательно, каждой жанровой форме соответствует определённый структурно-смыс-

ловой прототип (инвариант) повествования, который формирует его композиционно - сюжетную организацию.

Как известно, жанр, являясь обобщённой категорией, отражает не непосредственно действительность, а характер отношения к ней составляющих жанр произведений. Тип художественного или фольклорного текста выявляется в рамках жанра. В «смешанном» жанре баллады текстотипы выделяются также в зависимости от преобладания в конкретных текстах черт лирики или эпоса. Каждому текстотипу или типу дискурса соответствует определённый гиперфрейм, который представляет собой иерархически организованную структуру представления знания. Верхний уровень гиперфрейма — это когнитивный инвариант плана содержания. В каждом конкретном текстотипе когнитивный инвариант соотносится с прагматическим фреймом, который представлен двумя уровнями: верхний уровень отражает детерминирующую ситуацию, основу которой составляет обобщённое представление об определённом типе воздействия на адресата; нижний — несёт информацию о конкретной ситуации [Дейк, 1988: 24].

Основная проблема повествовательного синтаксиса заключается в том, что структура повествования предполагает смешение временной последовательности и причинного следования событий, хронологии и логики. Временная последовательность представляет собой структурный класс повествования, так как с точки зрения повествования то, что принято называть временем, существует только функционально, как элемент семиотической системы. Оно принадлежит не повествованию как таковому, а плану референции. Сюжет как компонент художественной структуры литературного произведения — это следствие проникновения писателя в объективную последовательность жизненных событий и её художественно-речевой трансформации в соответствии с творческим замыслом, это ход повествования о событиях, способ развёртывания темы. Сюжет литературного произведения — это всегда рассказ о каком-то событии [Фрай, 1987: 232]. Давно замечено, что сюжеты, мотивы, поэтические образы и символы часто повторяются в фольклоре и литературе, и чем древнее и архаичнее этот вид словесного творчества, тем повторение чаще. Это позволяет говорить о некоторой *типологии когнитивной де-*

ятельности и стандартизации архетипов повествования. Как известно, под архетипом К. Г. Юнг понимал структурные схемы, структурные предпосылки образов, существующих в сфере коллективно-бессознательного и, возможно, «биологически» наследуемых как концентрированное выражение психической энергии, актуализированной объектом [Юнг, 1991; Мелетинский, 1999: 54–56].

Функциональная комбинаторика нарратива, а также преобладание тех или иных функциональных единиц делает возможным построение его типологии. Исследование структуры повествовательного дискурса, в целом, также позволяет делать выводы относительно структурирования его смыслового поля, так как для каждого типа художественного повествования характерен особый способ прагматического фокусирования, особенности связи между смысловыми опорами повествования и, следовательно, определённый сценарий, то есть структурно-смысловой прототип повествования, который определяет его композиционно-сюжетную организацию. Сопоставительный анализ событийных гиперфреймов и структурно-смысловых прототипов повествования в текстах разных типов представляется перспективным для данного исследования.

Анализ значительного количества балладных дискурсов позволил установить характер представления концепта «событие» в данной жанровой форме. Когнитивная модель баллад эпического характера (фольклорных и литературных) может быть представлена в виде гиперфрейма «личность и её деяния», лирического характера (фольклорных и литературных) — в виде гиперфрейма «личность и её страдания». В процессе анализа была выявлена прототипичность структурно-смыслового построения балладного дискурса, которая находит выражение в реализации жанровых доминант (с небольшой долей вариативности) в балладных дискурсах разного типа.

Было установлено, что фольклорные баллады носят консервативный, канонический характер. Когнитивная модель представления описываемого события, соответствующая данной жанровой модификации баллады, в целом, стабильна. Жанровые доминанты баллады реализуются в полной мере практически во всех типах фольклорных баллад. Это несомненно находит отражение

в организации композиционно - смысловой структуры фольклорных баллад и подтверждает тот факт, что фольклорные произведения основаны на эстетике тождества.

Когнитивная модель литературных баллад более вариативна, так как жанровые доминанты подвергаются влиянию индивидуального стиля автора, в них реализуется его стремление к большей выразительности. Как показал анализ, в наиболее стёртом виде жанровые доминанты представлены в медитативных балладах лирического характера, так как они являются наиболее субъектно-ориентированными, и черты индивидуального авторского стиля в значительной степени подавляют жанровые доминанты баллады. Лишь сюжетность сохраняет свою эксплицитность. Всё это находит отражение в организации композиционно-сюжетной структуры литературных баллад и подтверждает тот факт, что в основе литературных произведений лежит эстетика противопоставления.

Сценарии повествовательных дискурсов баллад различных видов свидетельствуют о том, что основными жанровыми доминантами, характерными для них, являются сюжетность, повествовательность, одноконфликтность, поступательная направленность сюжетного развития, фрагментарность повествования. Сюжетная напряжённость ярко выражена. В литературных балладных дискурсах довольно часто наблюдается сочетание перспектив повествования, что свидетельствует о наличии иерархии художественных точек зрения. В некоторых случаях наблюдается функционирование категории ретроспекции, когда в повествование включается рассказ о давно прошедших событиях, способствующий созданию сюжетной напряжённости. Это характерно лишь для литературных баллад.

Балладный дискурс отличается динамичностью, которая реализуется в его повышенной функциональности. В балладах эпического характера (фольклорных и литературных) описываются конкретные действия персонажей; в балладах лирического характера (фольклорных и литературных) — создаётся определённая атмосфера повествования, способствующая раскрытию внутреннего мира персонажей, то есть для них характерна не динамика действий, а динамика чувств.

Одной из важнейших жанровых доминант балладного дискурса является фрагментарность, компрессия повествования, о

чём свидетельствует неравномерная смысловая связность между опорными пунктами повествования. Наиболее ярко это качество проявляется в балладах эпического характера (фольклорных и литературных). На основании данных наблюдений можно сделать вывод о том, характер представления концепта «событие» в балладном дискурсе находится в зависимости от принадлежности балладного дискурса к определённой жанровой модификации.

* * *

АДОНЬЕВА С. Б., 2000. Сказочный текст и традиционная культура. СПб.

АРУТЮНОВА Н. Д., 1999. Язык и мир человека. М.

ДЕЙК Т. А. ван, КИНЧ В., 1983. Стратегия понимания связанного текста // Новое в зарубежной лингвистике. М.

ДЕЙК Т. А., 1988. ван. Язык. Познание. Коммуникация. М.

ЗАЛЕВСКАЯ А. А., 2001. Текст и его понимание. Тверь

КОЛШАНСКИЙ Г. В., 1984. Коммуникативная функция и структура языка. М.

КУХАРЕНКО В. А., 1988. Интерпретация текста. Л.

МЕЛЕТИНСКИЙ Е. М., 1999. Архетипическая психология и проблема происхождения архетипических сюжетов // Психология художественного творчества. Минск.

ФРАЙ Н., 1987. Анатомия критики // Зарубежная эстетика и теория литературы XIX–XX вв., М.

ЮНГ К. Г., 1991. Архетип и символ. М.

KINTSCH W., 1998. The Role of Knowledge in Discourse Comprehension and Production // Psychological Review.

Ю. П. Вышенская

ЭЛЕМЕНТЫ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Язык и стиль литературно-художественного произведения в течение довольно длительного времени являлись предметом филологических исследований в силу того, что изучение словесно-художественных стилей делает возможным выявление как языковых закономерностей общего характера, так и конкретной специфики развития языка, а в конечном итоге — своеобразия словесной культуры народа.

По справедливому замечанию О. А. Сапрыкиной, автора ряда исследований по средневековой португальской литературе, интерес к изучению поэтического языка обуславливается уникальным положением, занимаемым этой разновидностью языка в ряду разнообразных феноменов духовного наследия человеческой цивилизации, являя собой хранилище познавательной деятельности народа. Поэтический язык, помимо всего прочего, характеризуется направленностью к тому миру действительности, «который создаётся в процессе словесно-художественного творчества, что порождает стремление к познанию своеобразия художественного мира, создаваемого в литературных произведениях, в разные исторические эпохи, возможное через изучение языка» [Сапрыкина, 1988: 3]. Специфика литературного произведения, как известно, определяется культурно-исторической и языковой ситуацией.

Стабильность интереса к изучению стилистической специфики поэтических произведений подтверждается фактом обращённости к этой проблеме многочисленных работ как отечественных, так и зарубежных исследователей, выполненных в русле когнитивного лингвистического направления.

Так, финский филолог Т. Виртанен, рассматривая вопросы понимания и интерпретации текста, отдавая приоритет тексту произведения словесно-художественного творчества, приходит к заключению о том, что эти процессы следует воспринимать как явления весьма сложной организации, имеющие двойственную природу. Отмеченное свойство предполагает и обуславливает

вовлечение в обработку текстового материала взаимоотношений между собственно текстом и универсумом дискурса, понимаемом как некий универсум, в который погружены цельные текстовые структуры, с одной стороны, а также специфическое строение собственно текстовых структур, с другой [Virtanen, 2004: 166].

Обращаясь к творческому наследию Дж. Чосера, Ч. Мьюскатин, один из наиболее авторитетных исследователей его поэзии, определяет положение поэта в английской средневековой литературе как представителя готической традиции, имеющей универсальный характер в средневековой европейской литературе в целом, однако наивысшего расцвета достигшей в литературах романских стран средневековой Европы и, прежде всего, во французской литературной традиции [Muscatine, 1957: 245]. В поэме 'The Canterbury Tales', являющей собой пример 'mixed style', то есть поэмы смешанного стиля в силу своей стилистической разнородности, можно наблюдать и черты готического стиля, элементы которого как частный случай готического стиля в средневековой английской поэзии являются предметом анализа, предлагаемого в настоящей статье.

К 1400 г., как известно, готический стиль во всех областях средневекового искусства перешёл в фазу, именуемую «поздней» или «пламенеющей» готикой. В готическом средневековом искусстве этого позднего этапа развития наблюдается дисбаланс, разъединение элементов, которые в период высокой готики составляли неделимое целое, единый ансамбль. Присущая произведениям искусства этого периода некая нарочитость лишь подчёркивает, делает более выпуклым факт отсутствия связей между художественными элементами. Всё это сформировало две типичные особенности готического искусства.

Первая особенность заключается в сохранении куртуазной традиции, приобретающей на данном этапе некоторую экстравагантность форм выражения. Рыцарская культура продолжает своё существование в сложившихся формах — соблюдение социальных ритуалов, процессий, турниров, создание новых рыцарских орденов, культ куртуазной любви. В литературе это находит отражение в том, что самый жанр куртуазной литературы со всеми сложившимися за время её бытования не исчезает, но некоторые формы, в частности, любовная лирика, принимают всё более раз-

нообразный и замысловатый характер. В этот период условность в искусстве достигает своего апогея в развитии.

Вторая характерная черта порождена социо-культурными изменениями в обществе. XV-го в. — время появления реалистического направления, обусловленного, с одной стороны, осознанием аристократией несовершенств рыцарских идеалов, а с другой — рождением нового социального класса — буржуазии, стремящейся подражать знати, что проявляется в том числе, и в перенимании этих несовершенных идеалов, но вместе с тем и созданием своих собственных, имеющих ярко выраженное смещение нравственных акцентов в сторону материальных ценностей. Таким образом, в искусстве данного периода можно наблюдать настойчивый интерес к повседневной реальности как в скульптуре и живописи, так и литературе, где эта особенность находит отражение в сатирико-реалистической традиции, обуславливающей включение в повествование разнообразных жанровых сцен, а также включение, в частности, в речь персонажей разговорных элементов.

Этот двойственный характер культуры XV-го в. проявляется в сосуществовании обозначенных выше направлений. По мнению Ч. Мьюскатина, главной стилистической чертой, имеющей универсальный характер этого периода развития искусства, является гипертрофированный готический дуализм [Там же].

Рассмотрим элементы готического стиля на материале ‘The Miller’s Tale’ (‘Рассказ Мельника’), который входит в цикл так называемых ‘брачных’ историй, образованный рассказами ‘The Wife of Bath’s Tale’, ‘The Clerk’s Tale’, ‘The Merchant’s Tale’ [Wells-Cole, 1995: ix]. Анализируемый рассказ, один из «скоромных» историй цикла, представляет собой вариант старинного сюжета об адюльтере — обмане молодой женой старого мужа.

Яркий пример переплетения куртуазной и реалистической традиции являет собою портретное описание главной героини Alison. Элементы куртуазной традиции проявляются, прежде всего, в формульном характере образных средств, используемых в поэтическом тексте:

Fair was this and yonge wyf, ther — with-al
As any wesele hir body gent and small....

[Chaucer, 1995: 83].

В первую очередь это касается сравнений и постоянных эпитетов, характерных для произведений куртуазной литературы, используемых для описания гибкости и стройности жены плотника. Таковы, например, эпитеты *fair, gent and small*, включённых в состав сравнения *as any wesele hir body gent and small*.

В описании Alison наблюдаются также и типичные для женских куртуазных литературных портретов флористические тропы и фигуры, появление которых, в частности, в творчестве трубадуров порождено влиянием фольклора.

Следует также принять во внимание факт важности для образной системы произведений, в том числе и куртуазной, средневековой литературы принципа, именуемого в концепции карнавализации М.М. Бахтина принципом б l’envers (обратности) [Бахтин, 1965: 13]. В этом отношении примечателен следующий поэтический фрагмент:

She was ful blissful on to see
Than is the newe pere-jonette tree...
Hir mouth was swete as bragot or the meeth
Or hord of apples leyd in hey or heeth...
She was a prymerole, a pigges-nye

[Chaucer, 1995: 84–84].

Данный пример демонстрирует смешение идеального и реально-го. Так, сравнение, открывающее приводимую цитату, базируется именно на этой основе. Прилагательное *blissful*, принадлежащее к области идеального, духовного, сочетается с вполне реальным земным существительным *pere-jonette tree*. Отметим, что это дерево фигурирует в качестве места действия в ‘The Merchant’s Tale’ («Рассказе Купца») — ещё одном рассказе «брачного» цикла.

По той же схеме построено и другое сравнение флористического круга *hir mouth was swete as hord of apples*, допускающее многообразие толкований. С одной стороны, его можно рассматривать как типичный для куртуазной литературы троп — метафору флористического круга. Возможно, однако, рассматривать прилагательное *swete* как относящееся к церковному лексикону — его можно наблюдать в качестве постоянного эпитета, например, в клерикальных, в частности, молитвенных текстах.

Сочетание его с существительным (hord of) *apples* делает возможным трактовать целое сравнение как аллюзию на грехопадение Адама и Евы. Аллюзивность являет собой ещё одну характерную черту куртуазной литературной традиции. Данный пример являет собой наглядную демонстрацию переплетения куртуазной и реалистической традиций.

Прилагательное *swete* используется как компонент ещё одного сравнения *hir mouth was swete as bragot or the meeth*, в состав которого входит не ожидаемое существительное *wine*, относящееся к церковному лексическому фонду, а существительные *bragot* и *meeth* (сорта эля), обозначающие гастрономические реалии повседневной жизни средневекового англичанина. Таким образом, анализируемое сравнение можно рассматривать и как стилистический приём «обманутое ожидание».

Несмотря на использование в описании внешности женского персонажа отмеченных выше куртуазных приёмов, портрет Alison изобилует множеством индивидуализирующих деталей, обусловленных реалистической традицией.

Это, однако, представляет тему для отдельного исследования.

* * *

БАХТИН М. М., 1965. Творчество Ф. Рабле и смеховая культура Средневековья и Ренессанса. М.

САПРЫКИНА О. А., 1988. Язык и стиль галисийско-португальских трубадуров. М.

MUSCATINE Ch., 1957. Chaucer and the French Tradition. A Study in Style and Meaning. Berkley and Los Angeles.

VIRTANEN T., 2004. Text, discourse and cognition: an introduction // Approaches to cognition through text and discourse. Berlin/ New York.

WELLS-COLE, 1995. Introduction // The Canterbury Tales. P. v — ix. London.

Источники и принятые сокращения

CHAUCER G., 1995. The Canterbury Tales. London.

Е. А. Гончарова

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА В СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ: ТРАДИЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Современный период в изучении языка отличается наличием экспансионистских тенденций как в общем языкознании, так и в его частных научных дисциплинах. Экспансионизм, т. е. выход исследовательского интереса и методик исследования за узко специальные границы какой-то одной научной области и поиски новых, более широких подходов к изучаемому объекту, связан в первую очередь с взаимодействием и сближением концептуального аппарата как отдельных наук, так и их частных дисциплин. Подобная логика научного исследования провозглашается сегодня как одна из принципиальных установок современной лингвистики наряду с антропоцентризмом, функционализмом (точнее, неофункционализмом) и экспланаторностью [Кубрякова, 1995].

Вероятно, нельзя считать случайным тот факт, что понятие экспансионизма — в противовес редукционизму — было впервые использовано по отношению к лингвистике текста, научный объект которой многозначен и полифункционален *per se*, а потому многомерен в исследовательском плане. Подход к тексту с позиций экспансионизма означает, что при изучении и собственно лингвистических проблем структурирования литературных текстов (которые, впрочем, в чистом виде, как правило, не существуют), и функционирования в них определенных языковых единиц тексты рассматриваются не только в их «инструментальной» проекции, но и в «диалогических» взаимоотношениях с «внешними структурами» [Лотман, 2001: 62–73].

К «внешним структурам», с которыми прежде всего связан любой текст и от которых всегда зависят его содержание и форма, несомненно принадлежит человек — как феномен, во-первых, сам поддающийся многообразным видам структурирования и в индивидуально-психологическом, и в социальном аспектах, и, во-вторых, в свою очередь вступающий в сложные смысловые и функциональные отношения с иными системами и структура-

ми, в том числе и с помощью создаваемых им самим и воспринимаемых им текстов, которые созданы Другими. Этим обуславливается повышенный интерес современной лингвистики к антропоцентрическим параметрам языковых единиц и, в частности, текста. Антропоцентрический подход требует от лингвиста, интерпретирующего текст как в его структурно-смысловой, а также типологической целостности, так и по отношению к отдельным строевым элементам, выхода за рамки автономной самооценности языковых единиц, знаково определенной «конечности» и «завершенности» текстовой структуры и такого толкования текста, в котором последний предстает прежде всего как одно из функциональных проявлений его создателя, направленное на самореализацию в качестве «языковой личности» и осуществление контакта с Другими. От последних ожидается функционально-коммуникативная «активность» не только по восприятию, расшифровке смысла и прагматических установок текста, но и некие «посткоммуникативные» шаги либо деятельностного характера (как в случае таких текстов повседневной и социально-политической коммуникации как реклама, рецепт, объявление регламентирующего характера, листовка, плакат и др.), либо связанные с изменениями в эмоционально-образном восприятии мира, отношении к духовным ценностям и т. д. Тексты становятся таким образом культурно-общественным достоянием, они сопровождают и в то же время являются следствием определенных культурно- и социально-исторических процессов, как синтез отражения и самовыражения активных субъектов, доводимый с помощью языка до других активных субъектов, которые воспринимают и интерпретируют речемыслительный продукт «Другого», как бы возвращая его в последующем в мир в своих собственных мыслях, поступках и настроениях.

Антропоцентрический фактор лежит и в основе интертекстуальности, точнее, интердискурсивности, поскольку отдельные тексты — именно благодаря их создателям и пользователям — связываются между собой общими стержневыми концептами, знаниями о мире и Других, иными словами, являются выражением неких «эпистемологических структур» [Фуко, 1996], неких изменчивых «картин» об изменчивых свойствах мира, возникающих, однако, в общем семантическом контексте на пересечении

собственно лингвистических и экстралингвистических факторов, которые сопровождают процессы порождения, понимания и интерпретации текста.

Выше описанные принципиальные установки в современной лингвистической парадигме обуславливают неизбежность междисциплинарного подхода к интерпретации литературного текста и ее содержательной опоры на свидетельства и результаты научных наблюдений иных наук. В то же время их использование в качестве приемов научного анализа у отдельных исследователей не в последнюю очередь оказывается зависимым от кардинальных изменений в культурной и гуманитарной научной парадигме нашего времени как рефлексии на современное состояние мира. И та, и другая оказываются в значительной мере зависимыми от «постмодернистской чувствительности» [Suleiman, 1986: 256 и др.], обуславливающей восприятие мира в качестве хаоса, понимание «порядка» как «беспорядка и разлада» [Leitch, 1983: 144].

Презумпция хаоса, лежащая в основе «постмодернистской чувствительности», меняет отношение к языку и языковым образованиям, в том числе к текстам, их когнитивной и коммуникативно-прагматической сущности: с одной стороны языковая реальность понимается «как единственная и исчерпывающе самодостаточная, т.е. не нуждающаяся во внеязыковом гаранте» [Можейко, 2004: 38], с другой же признается, что, например, такая семиотическая сущность как текст, «размещаемый в языке», «существует только в дискурсе», он «ощущается только в процессе работы, производства» [Барт, 1994: 415]. Отметим, однако, что и в содержании концептов «работа», «производство» имплицитно присутствует «человек», становящийся через разные виды своей деятельности «внеязыковым гарантом» языковой реальности.

Все это свидетельствует о том, что интерпретация литературного текста с лингвистических позиций не может оставить вне внимания вопросы отражения в текстовых структурах процессов взаимодействия человека и языка, особенностей самореализации в них и через них человека как «субъекта» мыслительной и коммуникативной активности. Вне рассмотрения этого взаимодействия — как бы ни менялось при этом отношение гуманитариев к понятию «субъект», вплоть до попыток отнять у субъекта роль

«некого изначального основания» [по Фуко, там же] — невозможное толкование литературного текста, его дискурсивная «разгерметизация» как определенной «эпистемологической структуры».

Феномен человека интересен теоретикам литературной коммуникации прежде всего в следующих своих функциональных проявлениях: как (1) создатель — читатель — интерпретатор (также «критик») текста в реальной литературной коммуникации, превращающий некую словесно-речевую структуру в произведение искусства; как (2) центральная гносеологическая категория субъектно-объектного характера (где корреляции «субъекта» и «объекта» весьма изменчивы), которая «задает» жанрово-родовые, композиционно-сюжетные, композиционно-речевые и словесно-образные координаты художественного текста.

Именно феномен человека и связанный с ним «абсолютный антропоцентризм» литературного текста [см. об этом Гончарова, 2006: 101-107; 2007: 6–15 и др.] являются своеобразной когнитивно-прагматической «скрепой» реальной литературной коммуникации с фикциональной коммуникацией, принадлежащей вымышленному миру словесно-художественного произведения, что в свою очередь лежит в основе «переливания» так называемого реального мира и мира художественного друг в друга, а также *процессуальности* — имманентного признака литературного текста, обеспечивающего его дискурсивный характер. Особый характер процессуальности литературного текста объясняется прежде всего многофокусностью когнитивно-коммуникативного взаимодействия между собой антропоцентров реальной и фикциональной литературной коммуникации (автор — читатель, читатель — интерпретатор, автор — повествователь, автор — персонаж, повествователь — персонаж, персонаж — персонаж и т. д.), а также наличием особого вида «напряжения», возникающего в «инструментальной» (языковой) оболочке текста при использовании в нем узальных языковых единиц в качестве *структурных элементов* цельной художественно-речевой системы.

Подобное использование состоит не только и не столько в линейном соположении языковых элементов текста относительно друг друга, сколько в придании им смысла единичных художественных образов, которые по мере продвижения в тексте вступают в горизонтально-вертикальные связи между собой, посте-

пенно «укрупняясь» и в разном семантическом объеме входя в общий текстовый смысл, представляющий собой «поэтическое явление». Нельзя не согласиться с Е.Фарино, который пишет об «удвоении» лингвистических уровней в литературном произведении: «в пределах текста как единицы речи они лингвистичны, в пределах того же текста как литературного произведения они уже нечто другое <...> и включаются в текст произведения не столько ради их естественной лингвистической функции, сколько ради другой, моделирующей» [Фарино 2004: 37]. Две формы существования языка — (1) его «естественная реальность» и (2) «поэтическое состояние» в литературном тексте — создают в когнитивно-продуктивной деятельности автора текста и когнитивно-рецептивной деятельности его читателя прагматическое «напряжение», лежащее в основе происходящей между ними литературной коммуникации и определяющее статус текста как коммуникативного события, способного найти продолжение в интердискурсивном взаимодействии с иными текстами.

Установка на экспансионизм и междисциплинарность, а также учет антропоцентрической сущности языка и, как следствие, (литературного) текста позволяют, на наш взгляд, интерпретировать текстовые структуры с позиций заимствованного гуманитарными науками у естествознания и становящегося все более актуальным в современной лингвистике учения о *синергетике*. При всем разнообразии толкований термина *синергетика* (порой весьма волюнтаристских), под синергетикой в самом общем виде понимается «... изучение общих принципов самоорганизации и саморазвития в сложных системах различной природы» [Пиотровский, 2006: 6]. К исходным понятиям синергетики принадлежат: 1) *развивающаяся система*, в состоянии которой чередуются устойчивость и неустойчивость и которая может подвергаться «дезингрессии», т. е. деформации или разрушению; 2) *управляющие параметры* системы, связанные между собой определенными иерархическими отношениями; 3) внешние воздействия на систему, или *флуктуации*; 4) *критическая точка* или *район бифуркации*, в окрестностях которой поведение системы становится особенно неустойчивым [Пиотровский 2006: 10].

Объем статьи не позволяет проанализировать и проиллюстрировать в полном объеме все характеристики художественного

(впрочем, и не только художественного) текста, обуславливающие перспективность подхода к нему в логике учения о синергетике. Поэтому — в качестве первого шага — опишем эти характеристики в самом общем виде, опираясь на выше названные исходные понятия синергетики.

Очевидно, что любой текст, и, вероятно, в наибольшей степени текст литературный, принадлежит к «развивающимся системам», способным к «макроорганизации за счет изменений на микроуровне» [Можейко, 2004: 204]. «Микроуровень» текста составляют его языковые единицы, поскольку, как уже отмечалось, именно на основе их использования, семантико-стилистического варьирования, а также коррелятивного и релятивного взаимодействия «оживает» сложный мир литературного произведения: «...лишь то из действительности, что стало словом, становится жизнью» [Гиршман, 1978]. Но одновременно с этим возникает и текстовая структура, внутри которой развиваются многообразные и многоуровневые семантические отношения, способствующие превращению текста в «открытую» функционально-смысловую систему. Мы не можем, к сожалению, подробно остановиться на описании определенного диалектического противоречия, лежащего в основе отношений между понятиями «структура» и «система» (текста). Отметим лишь, что ставшее для современной лингвистики актуальным объединение в одном исследовательском ряду текста и дискурса позволяет акцентировать в этих отношениях отношение взаимодополнительности, хотя структура, как известно, характеризуется в первую очередь целостностью, которая в свою очередь континуальна, интегративна, «нерасторжима», а система дискретна, подвержена энтропии и «открыта» [Ср.: Тюпа, 1986].

Отношение «взаимодополнительности», лежащее в основе текста как структуры и, одновременно, как развивающейся системы, весьма точно подтверждают слова Ю. М. Лотмана: «Современная точка зрения опирается на представление о тексте как пересечении точек зрения создателя текста и аудитории. Третьим компонентом является наличие определенных структурных признаков, воспринимаемых как сигналы текста (подчеркнуто нами — Е. Г.). Пересечение этих трех элементов создает оптимальные условия для восприятия объекта в качестве текста. Однако резкая выраженность некоторых из этих элементов может

сопровождаться редукцией других. Так, с позиции автора, текст может выступать как незаконченный, находящийся в динамическом состоянии, в то время как внешняя точка зрения (читателя, издателя, редактора) будет приписывать тексту законченность» [Лотман 2001: 103]. Ю. М. Лотман неоднократно писал о процессуальной природе текста, рассматривал текст «в процессе движения», а поэтические тексты как своеобразное «качание» структур [там же: 150 и далее].

Уже цитированный ранее теоретик литературы Е. Фарино также толкует понятие «структуры» литературного произведения достаточно широко и в его связи с понятием «системы» — как «внутритекстовую взаимоподчиненность всех вычлняемых свойств текста и его мира и их устремленность к систематике (упорядоченности по определенным критериям) и к взаимосемантизации» [Фарино 2004: 47]. По мнению польского слависта, «структура не является ни формой произведения, ни содержанием. Она — динамический механизм порождения системности. А этим самым — и информации» [там же]. Приведенные точки зрения свидетельствуют о том, что рассмотрение конкретного текста как определенной цельной и законченной структуры не исключает его толкования в виде «открытого» информационно-смыслового пространства, иными словами, как системы.

Именно «открытость» делает возможными как разные — обусловленные прежде всего антропоцентрическими обстоятельствами и параметрами — семантические интерпретации отдельных элементов и структуры и, шире, системы текста, так и «дискурсивное» вхождение системы текстовых элементов и смыслов в иные системы (например, индивидуально-художественные системы, моно- и поликодовые культурные и исторические системы и др.). И в том, и в другом случае системные отношения могут быть описаны согласно схеме: «макроорганизация за счет изменений на микроуровне». «Устойчивость» текстовой системы зиждется на ее знаковой определенности и «структурности», но одновременно с этим и ее «неустойчивость» объясняется дуальным характером языковых единиц текста и их семантической асимметричностью в качестве элементов системы языка, с одной стороны, и элементов системы текста, с другой. «Дезингрессия» текста как функционально-смысловой системы потенциально допустима в случае полного отсутствия

когнитивного и/или прагматического контакта/взаимопонимания между двумя сторонами коммуникации — автором и читателем, когда текст перестает быть «коммуникативным событием». Подобные (весьма редкие) ситуации могут быть описаны как *критические точки* существования текстовой системы.

Языковые элементы текста могут быть при этом интерпретированы как «управляющие параметры» «саморазвивающейся» текстовой системы, поскольку в принципе нет иных форм для актуализации всех уровней композиции текста (композиционно-речевого, субъектно-речевого, образно-поэтического), кроме языка. При этом однако, как справедливо замечает Р. Г. Пиротровский, «план содержания (означаемое) обычно управляет синергетикой плана выражения (означающего). Поэтому заметные изменения в расстановке единиц означающего часто сигнализируют о не наблюдаемых прямо смысловых, стилистических и прагматических сдвигах в плане содержания» [там же: 13]. В то же время совместное действие собственно языковых элементов текста с элементами иных уровней текстовой структуры превышает действие, оказываемое каждым элементом в отдельности, т. е. оно синергетично по своей сути. Именно за счет *синергии* семантико-функциональных потенциалов разных уровней текстовой организации возникают некая интенциональность, образно-эмоциональная и эпистемологическая ценность текста, развитие «от уже существующего к возникающему». А это, в свою очередь, обеспечивает вхождение конкретной текстовой системы в иные системы, взаимовлияние систем друг на друга и «нацеленность на длительное существование» [по Адмони 1994: 87].

Нельзя не отметить и то, что — по сравнению с системой языка — в тексте (как определенным образом структурированной системе) «нарушается» свойственная первой иерархия языковых уровней, так как участие элементов более низких языковых уровней в развитии текстовой информации, во-первых, зачастую оказывается более весомым, чем смысл единиц более высоких уровней, а во-вторых, это функциональное участие практически всегда подчиняется синергетической логике и реализуется по принципу «не иерархизированного накопления».

Особого внимания заслуживает далее такой синергетический параметр как «внешние влияния», вызывающие «флуктуирую-

щие», то есть колеблющиеся, изменчивые состояния открытой системы текста. Среди этих «влияний» в первую очередь следует назвать читателя, с которым автор (по собственной ориентированной на читателя программе) обменивается творческой энергией и информацией на базе структурированной определенным образом семиотической системы текста. При этом для двух участников творческого процесса понятия «структурирование» и «структура» имеют разный функциональный смысл. Автор создает свое произведение, как правило, не одновременно, относясь к создаваемому им реальному тексту как к «подвижной» структуре, которая, с одной стороны, может в процессе творчества меняться, а с другой, входит (во всех своих измененных вариантах) в индивидуально-художественную систему этого автора как один из «шагов» в творческом процессе освоения мира. Для читателя же художественный текст является неким готовым продуктом, своеобразным «отпечатком» творческого произведения с определенной последовательностью его «материальных» элементов. Опираясь на восприятие материальной оболочки авторского произведения и помогающие ему (со стороны автора) прагматические фокусы текста, он идет собственным путем в семантической «разгерметизации» текстовой структуры и ее превращении в «открытую» смысловую систему. Содержание этой смысловой системы по сути своей кумулятивно и «флуктуативно», поскольку читатель всегда понимает и интерпретирует текст, не будучи в свою очередь, как и автор, свободным от внетекстовых «влияний». В то же время без помощи и вне функции читателя текст «неподвижен» и статичен, он прекращает свое существование в качестве уникальной информационно-смысловой системы.

Выше приведенные рассуждения свидетельствуют о том, что рассмотрение литературного текста в синергетической парадигме не только возможно, но и продуктивно, так как позволяет по-новому увидеть некоторые, казалось бы, общеизвестные стороны его формальной и содержательной организации. Признание за литературным текстом статуса синергетической модели нельзя считать, однако, абсолютно новаторским и не имеющим точек соприкосновения с традиционной, возникшей в результате «синергетического» взаимодействия разных филологических школ, логикой интерпретации литературного текста.

* * *

АДМОНИ В. Г., 1994. Система форм речевого высказывания. СПб.

ГИРШМАН М. М., 1978. Литературное произведение// Краткая литературная энциклопедия. Т. 9. М.

ГОНЧАРОВА Е. А., 2006. О «диалектике прав» автора в современных исследованиях литературного текста// Язык и текст в современных парадигмах научного знания. *Studia linguistica* XV. СПб.

ГОНЧАРОВА Е. А., 2007. Когнитивно-коммуникативные параметры ситуации порождения, восприятия и интерпретации литературного текста// Язык, текст, культура. *Studia linguistica* XVI. СПб.

КУБРЯКОВА Е. С., 1995. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа)// Язык и наука конца XX века. М.

ЛОТМАН Ю. М., 2001. Культура и взрыв// Семиосфера. СПб.

ЛОТМАН Ю. М., 2001. Внутри мыслящих миров// Семиосфера. СПб.

МОЖЕЙКО М. А., 2004. Становление теории нелинейных динамик в современной культуре: сравнительный анализ синергетической и постмодернистских парадигм. Смоленск.

ПИОТРОВСКИЙ Р. Г., 2006. Лингвистическая синергетика: исходные положения, первые результаты, перспективы. СПб.

ТЮПА В. И., 1987. Художественность литературного произведения. Вопросы типологии. Красноярск.

ФАРИНО Е., 2004. Введение в литературоведение. СПб.

ФУКО М., 1996. Порядок дискурса// Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.

LEITCH V., 1983. *Deconstructive criticism an advanced introduction*. London.

SULEIMAN S., 1986. *Naming difference: Reflektions on «modernism versus postmodernism» in literature*// *Approaching Postmodernism/ Fokkema D. W., Bertens H.* — Amsterdam — Philadelphia.

О. Н. Кузьменко

СИМВОЛИКА ЧИСЛА ТРИ (на материале старофранцузских текстов)

В последнее время все большее внимание исследователей привлекает изучение функций и символики чисел в старофранцузских текстах [Ribard J., М. К. Сабанеева]. При этом в отношении эпоса отмечается, что вопрос о символическом использовании некоторых сакральных чисел в эпосе остается дискуссионным [Сабанеева, 2001:80].

Нами в качестве материала исследования избраны два текста, объединенные тематикой Святого Грааля: Chrétien de Troyes «Le Conte du Graal ou Le roman de Perceval» (XII в.) и прозаический роман XIII в. «La Queste del Saint Graal» — тексты, эзотерические по своей глубинной сути, повествующие о духовных поисках персонажей и исполненные разноплановой сакральной символики (из области чисел, растений, животных, минералов, цветов и т.д.). Каждый из этих элементов «работает» на создание общего смысла, отражая нелегкий и подчас противоречивый путь восхождения человеческого духа к своему Источнику.

Количественный анализ наиболее часто встречающихся в этих произведениях чисел дает следующую картину:

	3	2	4	5	7	1	100	20	24	500
CDG	26	26	16	18	10	6	10	6	–	6
QSG	60	36	11	9	5	11	5	4	7	1
	86	62	27	27	15	18	15	10	7	7

Безусловно, первенствует здесь число три. Данные энциклопедий символов [Бауэр, Дюмотц, Головин, 2000; Рошаль, 2005; Мэнли П. Холл, 2005] опираются прежде всего на западную интерпретацию чисел, восходящую к пифагорейской теории чисел, согласно которой числа принадлежат к миру принципов, лежащих в основе мира вещей. В них символика числа три представлена следующим образом: тройка — первое совершенное, сильное число, поскольку при его разделении сохраняется центр, т.е.

центральная точка равновесия. В пифагорействе тройка символизирует полноту. Пифагор считал тройку символом гармонии. «Сила трех» универсальна и олицетворяет трехчастную природу мира, мыслимого как небо, земля и вода. Это человек: тело, душа и дух; рождение, жизнь и смерть. Это начало, середина и конец; прошлое, настоящее и будущее.

Христианская доктрина Троицы (Триединого Бога), которая позволила соединить в едином Боге Отца, Сына и Святого Духа, является примером того, как число три может заменить число один при обозначении более многопланового и мощного союза.

Три — наиболее часто встречающееся число в Евангелиях: три волхва, три отречения Петра, три распятия на Голгофе, воскресение Иисуса через три дня, три явления после смерти, три Марии, три богословских добродетели — Вера, Надежда, Любовь [Рошаль, 2005: 47–49].

Синтез монады и дуады, происходящий в тройке, обуславливает символическую наполненность этого числа. Обратимся к контекстам, в которых число три встречается в текстах о Граале:

1. Число людей, объединенных общим делом.

Три — это первое формообразующее число, это наименьшее количество, составляющее родовую общину и микроколлектив, который может восприниматься либо как единое целое, либо как совокупность составляющих его элементов. Микроединства из трех человек представлены в анализируемых текстах:

- группой рыцарей, едущих на поиски воинских подвигов;
- тремя девушками, помогающими врачу;
- тремя братьями, сотворившими множество бесчинств. Им

противостоят три рыцаря — «слуги Господни»: единство со знаком «минус» преодолевается единством со знаком «плюс», равновесие восстанавливается: полнота зла нейтрализуется полнотой добра (частное преломление универсальной борьбы Бога и Сатаны).

Иногда, в определенных целях, триединство представляется через характеристику составляющих его единиц. Так, три рыцаря Круглого стола, отправившиеся на поиски Грааля и которым будет суждено его найти (Парцифаль, Богорт и Галаад), иногда рассматриваются в единстве — в том случае, когда надо подчеркнуть общую направленность их духовного поиска:

Et quant li troi compaignon virent ... que cil s'armoit... [QSG, p.230: 15–16]

И когда трое спутников увидели, что тот вооружается ...

Si avint que li troi compaignon abatirent les dis chevaliers. [QSG, p.237: 30–31]

Так случилось, что трое спутников побили десять рыцарей.

Ma honte et la vostre sera vengiee par trois serjanz Jhesucrist. [QSG, p.230: 15–16]

Мой позор и ваш будет отомщен тремя слугами Господа.

В этом случае объединяющее их начало подчеркивается наименованием li troi compaignon (также QSG, p.53: 1–2, p.226: 8–9, p.230: 15–16, p.234: 10–11, p.238: 33–35, p.240: 20–22) или trois serjanz Jhesucrist [QSG, p.232: 31–32]. И в этом можно видеть не только общность пути, совершаемом в физическом пространстве, но прежде всего общность избранного ими внутреннего пути — поиска Святого Грааля, служение делу Христову.

Вместе с тем, когда возникает необходимость подчеркнуть разность их природы и той ступени духовного развития, на которой они находятся, триединство распадается на два и один, противопоставляя чистоту физическую и духовную: li dui vierge et li tierz chastes [QSG, p.73: 9–12, p.77: 13–14] — два девственных и третий — целомудренный. Первым двум рыцарям — открытому, по-детски наивному Парцифалу и упорному труженику Богорту — противопоставлен безупречный, по сути воплощающий природу Иисуса Галаад.

Это триединство может быть и переразложено, и стремящийся к очищению своей человеческой природы Парцифаль уподобляется Галааду и противопоставляется скомпрометировавшему свою чистоту Богорту: Говену снится сон, в котором на лугу пасутся 150 быков разного окраса, и только три быка выделяются из всех — на одном есть некоторое количество пятен, а два других — девственно-белые и прекрасные. Отшельник расшифровывает Говену его сон:

Des toriax I avoit trois qui n'estoient mie tachié, ce est a dire qui estoient sanz pechié. Li dui estoient blanc et bel et li tierz avoit un signe de tache. Li dui qui estoient blanc et bel senefient Galaad et Perceval, qui sont plus blanc et bel que nul autre ... Li tierz ou il avoit eu signe de tache, ce est Boorz qui jadis se meffist en sa virginité [QSG, p. 156: 18–31, 35–38]

Среди быков было трое без пятен, т.е. без греха. Два были белыми и прекрасными, а на третьем было небольшое пятно. Эти два, бывшие белыми и прекрасными, означают Галаада и Парцифалья, которые чище и прекраснее всех других... Третий же, с небольшим пятном, это Богорт, который нарушил свое целомудрие.

Таким образом, в этом триединстве имеется некая иерархия, духовная вершина которой воплощена в Галааде (не случайно он назван первым в паре Галаад-Парцифаль).

2. Количество единиц оружия.

Встретив рыцарей, которые выводят его из состояния духовного невежества, Парцифаль отправляется в путь, вооружившись тремя дротиками:

... et prist/Trois javeloz [CdG, 76–77]

И взял он/Три дротика.

Три дротика, взятые Парцифалем, несут символическую нагрузку, соотносящуюся с древними сакральными знаниями, о причастности к которым говорит тот факт, что Парцифаль является «сыном вдовы». Сыном вдовы был Хирам — строитель Храма Соломона, носитель тайных знаний. С тех пор указание на то, что кто-либо является сыном вдовы, свидетельствует о его причастности к эзотерическим знаниям. Как отмечает Майер, «оборот «сын вдовы» на духовном языке всегда обозначал посвященного» [Майер, 1997: 282–283].

В античности оружие, являвшееся символом власти повелителей трех стихий — Зевса, Нептуна и Гадеса, — было соответственно: тройная молния, трезубец и трехглавый пес Цербер. Три дротика соотносятся, прежде всего, с трезубцем, символика которого восходит к символической индийского трезубца, означавшего три главные возможности мышления и действия: пассивность, инерцию и активность, последняя символизируется центральным зубцом, более длинным, чем боковые [Бауэр, Дюмотц, Головин, 2000: 34] Именно эти три состояния символизирует собой Парцифаль: до встречи с рыцарями он находился в состоянии пассивности и инерции. Отправляясь в путь, он намеревается взять с собой три своих дротика:

Et partout la ou il alloit/.III. javeloz o soi portoit./Ses javeloz en vost porter,/Mais .II. l'en fist sa mere oster. [CDG, 569–571].

И всюду, где он бывал,/ он носил с собой три дротика./ Свои дротики он захотел с собой взять,/ но мать отобрала у него два из них.

То, что у него остается один дротик, очень значимо: решение Парцифалья отправиться в путь знаменует собой первый импульс его активности — целенаправленного деяния, нацеленного на познание истинной сути мира.

3. Число дней и ночей.

Нередко персонаж находится в пути или пребывает в каком-либо месте три дня и/или три ночи [CdG, 470, 2689; QSG, p.26:23–26, p.32:25–27, p.44:9, p.92:14–16, p.117:5–6]:

III jorz senz plus lo sejourna [CdG, 470]

Он оставался там не более трех дней.

Si jut .III. nuiz toz pres a pres/As ostex o cil ot jeu. [CdG, 2690–2691]

Так он провел три ночи/ В замке, где состоялся турнир.

Il est voirs que Tholomers li fuitis avra seignorie trois jor et trois nuiz sur toi et tant fera qu'il te menra a poor de mort [QSG, p.32:25–27]

Это правда, что презренный Толомер будет иметь господство над тобой в течение трех дней и трех ночей и так будет действовать, что вызовет у тебя смертельный страх.

Триада, включающая начало-продолжение-конец, символизирует полноту действия, некую завершенность цикла. С этим, по видимому, связано число дней и ночей, в течение которых персонаж находится в пути или пребывает в каком-либо месте.

4. Число раз повторения действия.

В. М. Рошаль отмечает, что тройка означает исполнение и часто воспринимается как знак удачи, это — решающее действие, являющееся выходом из противоречия [Рошаль, 2005:29]. Во время ритуалов многие действия повторяются трижды. Так, рыцарь, обучающий Парцифалья воинскому искусству, трижды показывает ему каждое действие:

Li prodom par III foiz monta/ Et III foiz d'armes li mostra/.../Et par III foiz monter lo fist [CdG, 1463–1464, 1467]

Добрый человек три раза поднялся в седло/И три раза пока-

зал ему, как обращаться с оружием/.../И три раза усадил его на коня.

Трижды повторенное действие переводит его из разряда действия физического в разряд действий иного плана: мы имеем здесь дело не с обычным обучением Парцифалья, а с его инициацией, что будет видно из дальнейшего повествования.

5. Количество элементов пространства.

Ланселот на своем пути попадает в пространство, замкнутое с трех сторон:

Einsi est Lancelot enclos de trois parties, d'une part de l'eve et d'autres part des roches et d'autre part de la forest [QSG, p. 146:18–19]

Таким образом, оказался Ланселот замкнут с трех сторон: с одной стороны, рекой, с другой стороны — горами, а с третьей стороны — лесом.

Отметим, что пространство замкнуто в данном случае не с четырех сторон, что более соответствует земному положению вещей (число четыре — символ земного, основательности, устойчивости: 4 стороны света, 4 времени года, 4 возраста человека и т. д.). Образующий рекой, горами и лесом треугольник — знак Божественного присутствия, совершенно определенный ориентир духовных поисков. Об этом говорится и эксплицитно: Si ne set tant esgarder de nule part de ces trois parties qu'il I voie sauvet'i terriane [QSG, p.146:20–21] И куда бы он ни смотрел в каждую из этих трех сторон, не увидит он оттуда земной помощи.

Земной помощи ждать неоткуда, можно лишь уповать на Бога в надежде на то, что спасение даруется благодаря силе веры и молитвы: Ces trois choses le font remanoir a la rive et ester en proieres et en oraisons vers Nostre Seignor [QSG, p.146:28–29] И эти три вещи заставляют его оставаться на берегу и пребывать в молитвах и обращениях к Господу Нашему.

Число три здесь — знак перехода от ожиданий земных к упованиям небесным.

6. Число предметов бытия и инобытия, имеющих сакральный характер.

— Одним из ключевых моментов духовного пути Парцифалья является эпизод с тремя каплями крови на снегу. Парцифаль оказывается свидетелем следующей сцены: он видит стаю гусей, летящих над заснеженной равниной, сокол набрасывается на одного из гусей, отставшего от стаи, и три капли алой крови падают на свежевывающийся снег:

Si saigna III goutes de sanc/Qui espondirent sor lo blanc [CdG, 4121–4222]

Упали три капли крови/И растеклись по белому.

И сокол, и гусь улетают, а Парцифаль не может отвести глаз от алеющих на снегу трех капель крови, которые напоминают ему его возлюбленную, ее румянец на белоснежной коже. Завороженный этим зрелищем, он впадает в состояние глубокой задумчивости, из которого его с трудом удаётся вывести трем рыцарям, посланным друг за другом для боя с ним.

Как отмечают исследователи, три капли крови на снегу — символ пережитого Парцифалем духовного опыта, вступление души на мистическую стезю [Лассаль, 2002: 103, Майер, 1997: 129].

Три капли крови знаменуют собой встречу Парцифалья со своей душой, пробуждение в ней силы любви и сострадания.

— Исполненное глубокой символики число три характеризует и преемственность духовной традиции:

Vos savez bien que puis l'avenement Jhesucrist a eu trois principales tables au monde. La premiere fu la Table Jhesucrist ou li apostre mengierent par plusors foiz. [QSG, p.74: 20–24]

Après celle table fu une autre table en semblance et en remembrance de lui. Ce fu la Table dou Saint Graal. [QSG, p.74: 30–33] Après celle Table fu la Table Reonde par le conseil Merlin [QSG, p.76: 24–25]

Вам прекрасно известно, что со времен пришествия Иисуса Христа было в мире три стола. Первый — стол Иисуса Христа, за которым много раз вкушали пищу апостолы. После этого стола был другой стол — в память о нем и по его подобию. Это был Стол Святого Грааля. За этим столом был создан Круглый Стол по совету Мерлина.

Стол Тайной Вечери, стол Грааля, Круглый стол рыцарей короля Артура — вот звенья той непрерывной духовной линии, ведущей человека к очищению его человеческой природы и к поискам Божественной истины, путь сохранения и преемственности духовной традиции.

Итак, мы имели возможность убедиться в символике числа три, раскрывающей в проанализированных контекстах различные грани значений, присущих этому числу: полноту, активность, мистический опыт.

* * *

БАУЭР В., ДЮМОТЦ И., ГОЛОВИН С., 2000. Энциклопедия символов, М.

ЛАССАЛЬ П., 2002. Путь Грааля, или Возвращение Парсифаля, СПб.

МАЙЕР Р., 1997. В пространстве — время здесь... История Грааля. М.,

РОШАЛЬ В. М., 2005. Энциклопедия символов, М.

САБАНЕЕВА М. К., 2001. Художественный язык французского эпоса. Опыт филологического синтеза. Санкт-петербургский государственный университет.

ХОЛЛ М. П., 2005. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии, М.

RIBARD J., 1984. Le Moyen Age. Littérature et symbolisme, Paris.

Источники и принятые сокращения

Chrétien de Troyes, 1990 Le Conte du Graal ou Le roman de Perceval, Paris — CdG

La Queste del Saint Graal publié par Albert Pauphilet, 2003 — QSG

А. К. Лобанова

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ДИАЛОГИЗМА В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ

Игра является важной составляющей во многих сферах человеческой деятельности. Термин игра применительно к языку впервые использовал Л. Витгенштейн в работе «Философские исследования»: «...весь процесс употребления слов в языке можно представить и в качестве игр... . . . Языковой игрой я буду называть также единое целое: язык и действия, с которыми он переплетен» [Витгенштейн, 1994: 83].

Реклама по своим многим характеристикам напоминает игру и имеет игровую основу. В ходе рекламы, как и в ходе игры, формируется особое отношение к происходящим событиям, характеризующее понятие «полувера» [Хейзинга, 1992: 32], когда игроки знают, что это лишь игра, но при этом добровольно обманываются и попадают под ее влияние. Также рекламе присущи такие характеристики игры как состязательность, свободная деятельность, праздничная атмосфера, использование «масок», принцип повторов, создание «рекламного пространства» по аналогии с «игровым пространством», манипуляция. Кроме того, категория игры (карнавала, по М. М. Бахтину) наряду с категорией диалогизма является одной из ключевых в постмодернистском тексте, который не отражает реальность, а творит новую. Эти категории зачастую переплетаются и становятся взаимообусловленными.

Предлагается рассмотреть приемы языковой игры как воплощение диалогизма в рекламном тексте. Под языковой игрой в данной работе понимается «сознательное нарушение языковых норм, правил речевого общения, а также искажение речевых клише с целью придания сообщению большей экспрессивной силы» [Пирогова, 2000: 169].

С целью языковой игры в рекламе используется множество приемов.

Графические искажения. Они дают возможность «двойного» прочтения фразы и узнавания в ее составе двух разных, но свя-

занных и взаимодействующих смыслов. Часто графические искажения используются для выделения и обыгрывания названия товара или фирмы:

“SENSation you’ve been waiting for!” (Реклама компьютеров марки Sens.)

“Sip. Quench. Detox.

The antioxidant power of P♥M Tea.”

Орфографические ошибки. Игровая орфографическая ошибка может использоваться, например, для того, чтобы сделать рекламный слоган более гармоничным:

“Beanz meanz Heinz” (Реклама продукции фирмы Heinz.)

“Drinka Pinta Milka Day!” (Реклама фирмы, продающей молоко)

Искажения на морфологическом уровне. Они также встречаются в рекламе. Чаще всего они представлены неологизмами:

“The orangemostest drink in the world” — в данном примере представлено недопустимое сочетание морфем.

“The fill is the thrill!” Слово fill, усеченное от filling, используется для придания рекламной фразе ритмического и фонетического единства.

Нарушение правил семантической сочетаемости лексем или фраз. К таким нарушениям можно отнести приписывание объекту нехарактерных для него свойств и действий (повышение или понижение ранга одушевленности объекта [Пирогова, 2000: 180]):

“Yahoo! Gives you more friends!”

“While you sleep, it works. Overnight. For younger looking skin.” (Реклама омолаживающего крема)

Манипуляции с оценочными шкалами (градуирование неградуированных понятий [Пирогова, 2000: 181]):

“New Yahoo! Mail gives you more ways to connect. With everyone.”

“Be a Better CHAT FANATIC!

Be a Better TEXT MASTER!

Be a Better JET SETTER!

Be the BEST with YAHOO!”

“Be a Better Best Friend. Sync up with your friends.”

“Big Bag Bigger, Biggest. It’s the year of the hefty bag.”

Каламбур или «игра на многозначности слова, или созвучности двух слов (или словосочетаний), или их смысловом сходстве». С помощью каламбура можно обнаружить «скрытый смысл» в названии товара или рекламном тексте

“I scream,

You scream,

We all scream

About the ice cream!”

“West. Test it.” Здесь используется явление паронимической аттракции (смысловое сближение слов, сходных по звучанию)

“Grate it, grill it, spear it, stuff it, bake it, break it, toast it, roast it, post it”. В данном объявлении игровой прием основан на зевгме, здесь нарушаются ожидания, созданные большей частью фразы, т. к. местоимение it в этом предложении отсылает к сыру, кроме последнего, которое подразумевает купон объявления.

Каламбур часто строится на обыгрывании, трансформации клише, известных цитат, крылатых фраз. Для понимания такого каламбура нужно знание его прототипа и его смысла.

“POETS ARE BORN...AND NOT PAID.” (Цитата использована в рекламе виски Dewar’s White Label)

Стилистический диссонанс (нарушение общепринятых стилистических норм). Данный прием языковой игры используется в рекламе с целью привлечения внимания, выделения сообщения, манипуляции, симуляции доверительных отношений, создания иллюзорной реальности.

Действие, к которому призывает реклама, представляется как свершившийся факт (обычно такие утверждения противоречат действительности).

“You’ve made the better choice here. At Yahoo! ”

“Now that the weather feels like summer, you can quit getting in shape for it. Just don your new bikini... your floppy-brimmed hat and your sunscreen and dive in.”

Рекламное сообщение может быть построено как реплика потенциального потребителя, воспринимается как реплика от адресата или его близких:

“While you sleep, it works. Overnight.

I’ve tried it. Now your turn.” (реклама омолаживающего крема Elizabeth Arden)

Жанровый диссонанс — реклама маскируется под другие жанры, часто под те, которым люди склонны доверять больше, чем рекламе. Например, в рекламе туши для ресниц Elizabeth Arden используется форма словарной статьи:

“Defining the perfect lash.

/De-fin-ing/adj: 1. Superbly separated. 2. Lavishly lush. 3. the ultimate in definition. Elizabeth Arden’s new breakthrough for lashes. Definig Mascara.”

С точки зрения психологии предпочтение чаще отдается новому, необычному, которое интенсифицирует восприятие и активнее усваивается. Означаемое, называемое неожиданным способом, выглядит по-новому, что снимает автоматизм с процесса чтения, понимания и заставляет обратить более пристальное внимание на означающее.

Языковая игра охватывает все явления, когда говорящий играет с формой речи. Она может быть представлена как в виде шутки, остроты, каламбура, так и в виде разного вида тропов или формальных лексических изменений. Языковая игра обладает разными функциями: усиление непринужденности общения, переход к более тонким способам передачи мысли, создать образность и добавить выразительность, имитировать чужую речь, придать общению комизм.

Игра всегда обусловлена сотрудничеством и сотворчеством. Автор рассчитывает на участие читателя и «разбрасывает» в тексте стимулирующие к этому знаки, вовлекающие в языковую игру и увеличивающие количество прочтений при обладании адресатом достаточных фоновых знаний.

Итак, языковая игра может использоваться в рекламе с разными целями, и игровые приемы можно рассматривать как:

1. способ привлечь внимание и выделить товар

Данная функция языковой игры основывается на нарушении нормы, на идее, «закрывающей» в том, что объявление тем больше привлекает внимание, чем больше нарушает принятые коммуникативные нормы, перестраивая таким образом систему риторических ожиданий» [Эко, 1998: 177].

Оригинальные слоганы создают впечатление, что и товар выделяется своими характеристиками. Оригинальность слова как бы переносится на оригинальность товара.

2. источник удовольствия (языковая игра и остроумие)

Эта функция связана с использованием интертекстуальной компетенции, с дешифровкой сообщения, которая, будучи не обязательно очень сложной, способна доставить читателю определенное интеллектуальное удовольствие. Особенно это удовольствие велико, если удается «разгадать» остроумное высказывание. У. Эко отмечает, что в таком случае повышается и самооценка потребителя и отношение к рекламируемому товару, т.к. он сумел понять и оценить рекламное сообщение.

3. компрессия смысла и слова

3. Фрейд в своих исследованиях доказал, что все приемы игры и остроумия связаны с тенденцией к экономии. Многие игровые приемы также экономят языковые средства, а необходимым условием словесной остроты является лаконизм.

Так или иначе, часть смысла представлена в рекламе в компрессионном виде. А экономия языковых средств, в свою очередь, обеспечивает, во-первых, лучшую запоминаемость рекламного сообщения; во-вторых, экономию дорогого рекламного пространства и времени; в-третьих, удовольствие узнавания при расшифровке смысла, подвергнувшегося компрессии.

* * *

ВИТГЕНШТЕЙН Л., 1994. Философские работы. Часть I. М.

ПИРОГОВА Ю. К., 2000. Речевое воздействие и игровые приемы в рекламе // Рекламный текст: семиотика и лингвистика. М.

ХЕЙЗИНГА Й., 1992. Homo Ludens: Статьи по истории культуры. М.

ЭКО У., 1998. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб.

А. Е. Лукина

ВРЕМЕННАЯ И МОДАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СТАРОФРАНЦУЗСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ РУКОПИСЕЙ ФАБЛИО)

Сравнение рукописных вариантов, представленных разными региональными письменными традициями, одного фаблио, с одной стороны, и разных фаблио, выполненных в рамках одной скрипты, с другой, показывает, что временная и модальная структура текстов, сходных по сюжетной линии, имеет как общие черты, так и различия в своей организации. Нами были проанализированы рукописи фаблио XIII–XIV вв., принадлежащие центрально-французской, пикардской и нормандской скриптам.

Для всех изученных нами старофранцузских рукописей характерно использование плана прошедшего с перфектом индикатива в центре в качестве основы развития действия и плана настоящего во главе с презенсом в качестве стилистического приема внезапной остановки действия с целью привлечения внимания читателя к описываемым в презенсе событиям, высказываниям персонажей. Однако в данной общности мы не усматриваем влияния той или иной региональной письменной традиции. На наш взгляд, это вызвано наличием общепринятой тенденции в построении временного пространства в фаблио, что является определенным жанровым приемом, а также существованием своего рода модели формирования временной структуры текста, свойственной носителям старофранцузского языка.

Например, в фаблио «О Буавене из Прованса» (Voivin de Provins), представленном двумя рукописными вариантами P., B. N., f. fr. № 837 (A) (франсийская скрипта) и P., B. N., f. fr. № 24432 (P) (пикардская скрипта), рассказывается о том, как главный герой, пройдоха и мошенник Буавен, решает подзаработать, облапошив некоторых обитательниц одной известной улочки, где обычно селились гулящие девки, для чего он наряжается вилланом. Повествование начинается с времен прошедшего плана, что представляет собой своего рода вступление, представление читателю главного героя. Когда начинается непосредственно

рассказ о событиях фаблио (диалог между Буавеном и гулящей девкой Мабиль), то появляется презенс, что придает повествованию живость, яркость, мобильность:

1) Et li houlier de la meson Dient: «Ça vien, Mabile, escoute! Cil denier sont nostre sanz doute.» (A, 84–86) 2) — Va, fet ele, sans demorer. (A, 328)	1) Dit Mabile: «Fetes nous pes..(P, 75) 2) Qu'il dit: «Or ay .XX. soulz. V. fois. (P, 85) 3) Et cil respont sanz contredit: «J'ai non .. (P, 102–103) 4) — Il est mon oncle, dit Mabile... (P, 120) 5) Ce dit Mabile: «Ysanne, soies.. (P, 154) 6) Qu'el ne parole a son vilain: «Biaus oncles, sont ore tuit sain.. (P, 163–164)
--	--

Здесь времена настоящего плана используются для того, чтобы сделать читателя непосредственным наблюдателем и слушателем диалога, который происходит между Буавеном и Мабиль, при этом упор в основном делается на глаголы говорения *dire*, *parler* ('говорить') и *respondre* ('отвечать'), что носит определенную перлокутивную цель — воздействовать подсознательно на рецепторы, восприятие читателя: *respont* (P, 102–103), *dient* (A, 85), *dit* (P, 75, 85, 154), *parole* (P, 163), *fet* (A, 328). Поскольку основной темой данного фаблио является высмеивание публичных женщин, обличение их жадности к простому заработку, легкомыслия, то используется презенс индикатива именно тогда, когда происходит разговор между Буавеном и Мабиль об оплате за ее услуги, в данном случае мы отмечаем также влияние жанровой специфики фаблио на выбор скрибом настоящего времени индикатива. Главная тема фаблио выводится на первый план за счет использования презенса, что способствует активизации интереса у читателя к данной проблеме, позволяет ему самому ответить на вопросы, поставленные в фаблио.

Таким образом, создается два плана повествования: план прошедшего во главе с перфектом, где действия последовательно следуют друг за другом, тем самым формируя общую канву произведения, и план настоящего, возглавляемый презенсом, который неожиданно врывается в план прошедшего в силу своей

семантики и акцентирует внимание читателя на определенном событии. Так происходит языковое оформление временного пространства, где перфект является основной линией развития действия, а презенс — своего рода яркими «вкраплениями», «вспышками», производящими стилистический эффект и притягивающими взгляд читателя к наиболее важным, по мнению скрибов, моментам, событиям, высказываниям персонажей, обличающим их внутреннее естество, вскрывающим подтекст произведения, его скрытую иронию.

Наряду с этим, яркой особенностью пикардских скрипт является употребление не глагольных времен индикатива, а глагольных форм субжонктива и кондиционала, что указывает на вытеснение временной структуры повествования на второй план и преимущественное использование глагольных форм, передающих гипотетическое действие, а также форм субжонктива для выражения оценочных характеристик разворачивающихся событий в тексте.

Так, например, фаблио «О девушке, которая не могла слышать о соитии» (*De la demoiselle qui ne pouvait ouïr parler de foutre*), переполнено формами субжонктива и будущего гипотетического. В данном фаблио представлена одна из излюбленных тем этого жанра — совращение девицы, которая порой оказывается неопытной. Соппротивление девицы продиктовано зачастую не похвальным целомудрием, а просто полным неведением того, что может происходить между мужчиной и женщиной. В связи с этим в текстах фаблио много игры слов, прозрачных иносказаний, что и обуславливает появление форм субжонктива и кондиционала. Рассмотрим один из примеров:

«J'aüsse bien de toi afaire, Fait li vilains, par saint Alose, Ne fust sanz plus por une chose: J'ai une fille donjeureuse, Qui vers home[s] <u>est</u> trop honteuse Quant <u>parolent</u> de lecherie. Onques n'oi sergent en ma vie Qui longue me <u>poist</u> durer, Que des que ma fille ot nomer Foutre, si li <u>prant</u> une gote ...» (B, 68–77)	Et si vos <u>metrai</u> en couvent Que, se vos <u>parliez</u> de foutre Et cest mot <u>deïssiez</u> tot outre, Fors iriez isnelepas, Ne vos garantiroie pas, Quar ma fille, com el l' <u>oit dire</u> , Si <u>pleure</u> de doleur et d'ire ; Quar ele <u>dit</u> que mal li <u>fait</u> Quant en <u>parole</u> de tel fait. Se de moi <u>volez</u> riens avoir Ne o moi estre en mon voloir, Orendroit me <u>fiancerez</u> Que ja un mot n'en parleroiz . (D, 62–74)
---	--

Обе рукописи (B, D) пикардские, однако контексты, несмотря на явное сходство сюжетных линий, выстроены по-разному: рукописи различаются как на уровне лексического наполнения (разные слова), так и на уровне построения предложений, где не наблюдается совпадения на уровне языкового оформления ни в одной строке. Данное наблюдение указывает в каждом отдельном случае на проявление индивидуальных стилистических предпочтений скрибов. Скрибы полностью перерабатывают контекст с языковой и стилистической точки зрения, они передают, описывают один и тот же монолог героя по-разному.

Но при этом стилистические задачи скрибов совпадают — высмеять высказывание героя, придать его речи комичность, неправдоподобность, лицемерие. Для осуществления этой задачи скрибы, в первую очередь, используют формы субжонктива, с одной стороны, и кондиционала, с другой: в рукописи (B) имперфект субжонктива глагол *aveir* (иметь) — *aüsse*, глагол *estre* (быть) — **fust**; тогда как в рукописи (D) употреблен презенс кондиционала глагол *aller* (идти) — **iriez**, глагол *garantir* (ручаться) — **garantiroie**, глагол *parler* (говорить) — **parleroiz**.

Так, в рукописи (B) виллан, обращаясь к юноше, который имеет виды на его дочь, начинает свою речь с того, что 'у него как будто (имел бы) дело' к юноше, имперфект субжонктива в данном случае передает сомнение, неуверенность в осуществляемом действии, что увеличивает иронический эффект, словно виллан заискивает перед юношей, не знает, как ему поведать о столь личном деле, затем имперфект субжонктива глагола *estre* (**fust**) продолжает усиливать эффект иронии: 'словно дело касалось бы лишь одной вещи'. Двойное употребление имперфекта субжонктива делает фразу витиеватой и сложной для восприятия, что опять-таки носит сатирический оттенок, как будто герой не может начать разговор о столь «щекотливом» деле.

В свою очередь пример из рукописи (D) носит, на наш взгляд, еще более ироничный характер, и скрыто пронизан субъективной оценкой скриба / соавтора. Виллан с «горечью» описывает состояние своей дочери после того, как с ней пытались поговорить о столь деликатных вещах. Презенс кондиционала употреблен в условных предложениях в модальном значении для передачи возможности осуществления действия, которое носит

гипотетический характер, виллан словно «угрожает» юноше и предупреждает его о последствиях, которые грозят ему, если он заговорит об «этом».

Таким образом, анализ данных контекстов показывает, что пикардские сcribes, несмотря на общность в передаче оценки описываемым в фаблио действиям — использованию различных форм наклонений (сюбжонктива / кондиционала), различно подходят к передаче своего видения проблематики фаблио. В каждом отдельном случае они предлагают свою трактовку событий, используя для этого различные стилистические приемы: различные формы наклонений, разнообразные структуры предложений — простые (рукопись (B)) / сложные (условные) (рукопись (D)). Кроме того, они полностью перерабатывают контекст с позиции подачи информации героем: в рукописи (B) виллан рассказывает о своей дочери как о девушке боязливой и стыдливой, когда говорят о разврате, тогда как в рукописи (D) все тот же простолоудин уже угрожает юноше, заявляя, что его дочь плачет от боли и негодования при упоминании о подобных непристойностях. Однако и тот, и другой сcribes, трансформируя контекст, двигаются, во-первых, в рамках жанра, поскольку обыгрывают излюбленную тему фаблио, прибегая ко всевозможным стилистическим приемам как на языковом уровне, так и на содержательном, а, во-вторых, реализуют перлокутивную задачу, т. е. стремятся воздействовать на восприятие читателя, попытаться насколько это максимально возможно перенести свое видение и отношение к обыгрываемой теме фаблио в сознание читателя.

Итак, употребление в пикардских рукописях форм сюбжонктива и кондиционала характеризует в целом специфику языкового оформления пикардской скрипты с точки зрения передачи отношения сcribes (соавторов) к действию, насыщенному их субъективной оценкой. Анализируемые рукописи фаблио словно создают «иллюзию» повествования и носят в первую очередь сатирический и в то же время поучительный характер, поскольку в них высмеивается, обнажается лицемерие, лукавство, притворство в высказываниях персонажей.

Наконец, в тех списках фаблио, в которых встречается нормандская рукопись Berlin, B. N., Hamilton № 257, расхождения в языковом оформлении рукописных вариантов не столь значи-

тельны по сравнению с рукописями других региональных письменных традиций. Например, в фаблио «Мельник и два клирика» (Le Meunier et les deux clercs), зафиксированном в нормандской рукописи Berlin, B. N., Hamilton № 257 (C) и пикардской рукописи Berne, Bibl. de la bourgeoisie, № 354 (B), параллельные контексты, сходные по содержанию, не столь различны по языковому наполнению:

Dui povre clerc furent jadis Né d'une vile et d'un país ; Conpeignon et diacre estioient En un boschage o il menoient , O il orent esté norri , Tant c'uns chier tans lor i sailli, Con il fait molt tost et sovant : C'est damage a la povre gent. (C, 1–8)	[D]e .II. clers qui furent jadis Nez d'une terre et d'un país. Compainon diacres estioient En un boscege ou il manoient , Ou il orent esté norri , Tant c'un chier tens les asailli, Comme ci fet cest molt sovent: C'est grant damage a povre gent. (C, 1–8)
---	---

Данные параллельные контексты ничуть не отличаются по употреблению глагольных времен, они практически идентичны за исключением написания глагольных форм.

Таким образом, нормандские сcribes при копировании рукописей фаблио минимизировали языковые изменения, вносимые ими в тексты рукописей, так они устранились от какой-либо обработки текста и нейтрализовывали свое «я», тем самым приуменьшая свою роль в создании рукописного варианта фаблио.

Итак, проведенный анализ позволяет нам убедиться в общности построения временной структуры среди всех исследованных нами старофранцузских текстов и в особенностях построения контекстов с точки зрения употребления глагольных наклонений в некоторых региональных письменных традициях и у отдельных сcribes.

* * *

МИХАЙЛОВ А. Д., 1986. Старофранцузская городская повесть «Фаблио» и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М.

MENARD PH., 1983. Les Fabliaux : contes à rire du Moyen âge. Paris.

RYCHNER J., 1960. Contribution à l'étude des fabliaux: variantes, remaniements, dégradations. 2 vol. T. I. Observations. T. II. Textes. Genève.

А. В. Рубцова

О ПОНЯТИИ «ПРОДУКТИВНОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ»

В свете перспективного развития иноязычного образования на сегодняшний день ставится проблема продуктивного обучения иностранным языкам (ИЯ). Продуктивное обучение способствует формированию языковой личности, вторичной языковой личности и обеспечивает решение приоритетных задач развития автономности и креативности обучаемого в процессе освоения ИЯ и культуры.

Продуктивный подход к организации самостоятельной учебной деятельности по овладению иностранным языком включает в себя методику обучения **продуктивному филологическому чтению (ПФЧ)** на ИЯ.

Продуктивное филологическое чтение понимается нами как **специфический вид самостоятельного чтения, направленный на переработку филологической информации, содержащейся в тексте, с помощью продуктивных способов и приёмов организации речевой продукции.**

Филология, как известно, это содружество гуманитарных дисциплин — лингвистических, литературоведческих, культуроведческих, исторических и др., изучающих историю и выясняющих сущность духовной культуры человечества через язык и стилистический анализ письменных текстов. Следовательно, понятие «филологическое чтение» объединяет различные аспекты изучения культуры народа и его национального языка посредством изучения письменных текстов.

Многие отечественные учёные-методисты (М. В. Сергиевский, Л. В. Щерба) отмечают, что «только путем филологического метода чтения, толкования и неперемного перевода на родной язык любого иностранного текста можно, действительно, достигнуть возможности через такое чтение приблизиться к действительному познанию не только специфических средств того или иного языка, но и культуры и литературы народа — носителя данного языка, что и определяет в первую очередь образовательное зна-

чение подобного изучения» [Щерба, 1974: 23]. Само же изучение языка «позволяет в первую очередь достигнуть цели познания языка как средства познания культуры народа его носителя» [Сергиевский, 1945: 4].

Основываясь на понимании роли текста как материала для глубокого изучения языка и культуры народа и рассматривая текст как содержание продуктивного филологического чтения, мы выделяем в характеристике этого вида чтения два аспекта: *культуроведческий* (в современном толковании — лингвокультуроведческий и лингвострановедческий) и *лингвистический*. Отличие этих двух взаимосвязанных аспектов (подвидов) продуктивного филологического чтения состоит в направленности внимания читающего на различные объекты анализа и интерпретации текста.

В первом случае мы называем *чтение* собственно филологическим. В данном виде чтения объектом анализа и интерпретации является литературоведческая, культуроведческая и страноведческая информация (специальные факты, понятия, реалии, коммуникативные ситуации, речевые формулы, характерные с точки зрения литературоведческой, общей культуроведческой интерпретации, социокультурного поведения). Целью данного подвида чтения является познание культуры народа через познание его языка, представленного в тексте как продукте лингвокультуры.

Лингвистическое чтение направлено на изучение собственно языка через углубленное изучение текстов на этом языке. Объектом анализа и интерпретации в данном случае является текст как речевое произведение — продукт речевого общения и особенности использования языковых средств для решения коммуникативных задач, выражения определенных коммуникативных намерений и замысла автора.

Подчеркнем, что продуктивное филологическое чтение совмещает в себе практический и общеобразовательный аспекты изучения иностранного языка и культуры, то есть владение языком и знаниями о культуре. Иными словами, переработка читающим лингвистической и филологической информации текста предполагает овладение языковыми навыками и речевыми умениями, связанными с понимаем читаемого, и освоение широкого пласта

фоновых знаний, связанных с изучаемым языком и его культурой, а также соотнесение этих сведений с родным языком и культурой. В этом смысле продуктивное филологическое чтение является средством формирования межкультурной компетенции изучающего иностранный язык.

Рассмотрим подробнее основные вопросы использования текста как материала и содержания выделенных подвидов продуктивного филологического чтения с точки зрения целей, содержания и объектов самостоятельной учебной деятельности изучающего иностранный язык.

Собственно продуктивное филологическое чтение в силу своей направленности на литературоведческую, страноведческую и культуроведческую информацию в иноязычном тексте обеспечивает, с одной стороны, условия для его адекватного и глубокого прочтения, а с другой стороны, — знание определенных фактов культуры народа — носителя изучаемого языка, без которых невозможно адекватное владение иностранным языком.

В связи с этим, мы выделяем лингвострановедческий и лингвокультуроведческий аспекты изучения иностранного языка. Объекты изучения лингвокультурного компонента представлены в различных формах лингвокультурного продукта, с которыми сталкивается изучающий ИЯ. В качестве основных можно назвать элементы культуры, отраженные в системе ценностных представлений, особенностях менталитета, а также представленные в нравах, традициях, обычаях, поведении, атрибутах образа жизни. Важными для освоения языка и «вхождения» в иную культуру, иной социум, являются такие продукты лингвокультуры, представленные в тексте, как литература, фольклор, искусство, музыка. Основным объектом изучения лингвокультурного компонента в условиях самостоятельной работы над языком является текст, принадлежащий к различным жанрам.

Заметим, что продуктивное филологическое чтение — это, прежде всего, чтение художественной и публицистической литературы, так как именно в текстах этих жанров, по данным лингвистов, в отличие от научной, информационной, учебно-справочной литературы, проявляются культуроведческий и страноведческий аспекты языка в силу художественности, эмоциональности и воздейственности речи.

Культуроведческая и страноведческая информация, содержащаяся в тексте, реализуется главным образом на лексическом уровне, поскольку основным носителем национально-культурной информации является, как известно, лексика. Следовательно, продуктивное филологическое чтение связано с анализом специфических лексических средств и с интерпретацией текста как смыслового целого с точки зрения специфической лингвострановедческой и лингвокультуроведческой информации. Основными единицами, которые на лексическом уровне передают национально-культурную информацию, считаются, слова, устойчивые словосочетания (фразеоматические обороты), единицы афористического уровня (фразеологизмы, пословицы, поговорки), формулы речевого этикета, слова, обозначающие реалии страны изучаемого языка, имена собственные, ставшие частью культуры, лексика, принадлежащая к разным стилистическим слоям (сленг) и так называемые ключевые или центральные слова (раскрывают особо значимые концепты конкретной культуры).

* * *

КОРЯКОВЦЕВА Н. Ф., 1987. Текст как материал для обучения приёмам филологического чтения // Текст в учебном процессе. Тр./МГПИИЯ им. М. Тореца; вып. 282. М.

СЕРГИЕВСКИЙ М. В., 1945. К вопросу о задачах обучения иностранному языку в школе // Иностранные языки в высшей школе. Вып. II. М.

ЩЕРБА Л. В., 1974. Преподавание иностранных языков в средней школе: Общие вопросы методики. М.

Н. В. Сигарева

ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Речевая деятельность в виртуальном пространстве представляет научный интерес с точки зрения анализа сложной взаимосвязи письменной и устной речи, характерной для данного вида коммуникации.

Особенностью коммуникации как специфического вида деятельности является развитая система субъектно-субъектных отношений. Термин «коммуникация» в исходном значении соответствует таким категориям как движение, взаимодействие и предполагает существование как минимум двух объектов, связь между которыми реализуется посредством движения определенных субстанций [Lafford, 1996]. В коммуникативной деятельности роль инструментов общения играют системы знаков — языки человеческого общения, а способы оперирования ими представляют собой технологии человеческого поведения. Процесс коммуникации представляет собой эффективное синхронное и диахронное взаимодействие социальных субъектов, осуществляемое посредством движения имеющей для них смысл информации в идеальной или идеально-материальной форме. Исследование информационно-коммуникативной реальности включает в себя технический и логико-лингвистический аспекты категории коммуникации [Галичкина, 2001].

Компьютерные системы рассматриваются как одно из величайших достижений человечества. Тогда, возможно, и форма коммуникации, распространенная в данной сфере деятельности, может считаться наиболее развитой и совершенной среди уже известных средств коммуникации. Коммуникация есть сама жизнь, способ человеческого существования, тот мир, который создают, воспроизводят и преобразуют его неизбежные участники. Основу структуры знакового опосредования составляют общающиеся субъекты, объект их деятельности и средства этой деятельности [Гаспаров, 1996]. Виртуальная коммуникация существует в виде электронного дискурса с принципиально новыми структурными, стилистическими и графическими свойствами.

Электронный сигнал как канал общения представляет собой подвижное языковое образование, обладающее специфическими чертами, такими как коммуникативная интенсивность и пронцаемость (в коммуникативный процесс, который практически не ограничен во времени, может быть вовлечено любое количество участников), дистантность и возможность моментальной связи.

Говоря о коммуникации в виртуальном пространстве, мы имеем в виду текст, то есть письменную форму фиксации речи. Проблему представляют некоторые особенности данного вида письменной коммуникации, которые не позволяют анализировать рассматриваемое явление с точки зрения норм современного письма. Исследуемый материал демонстрирует необходимость пересмотра критериев разграничения свойств письменной и устной коммуникации.

Коммуникация в виртуальном пространстве характеризуется рядом особенностей с точки зрения взаимодействия ее письменного и устного аспектов. Как известно, коммуникация в условиях непосредственного общения является разговорной речью, а в условиях опосредованного общения — письмом. Функция письма заключается в фиксации и долговременном хранении информации.

В этом случае сетевое письмо можно сравнить как с диалогом (устной формой коммуникации), так и с перепиской (письменной формой), что связано с различной субстанцией языка и письма. Письменная форма является единственно возможной формой осуществления данного типа общения (электронного разговора — чата, конференции), которая представляет собой уникальный, отличный от общепринятого вид письма. Компьютерные технологии, безусловно, позволяют написанному слову «жить века» (текст может быть сохранен и многократно воспроизведен), но при общении в чатах такой задачи не ставится. Следовательно, сетевому письму, несмотря на его письменный характер, не свойственно выполнение основной функции письма. Кроме того, важной категорией при описании данного вида коммуникации является спонтанность, которая обуславливается непосредственностью коммуникативной ситуации. Под спонтанностью подразумевается относительная неподготовленность речи — отсутствие момента предварительного обдумывания вы-

сказывания. Однако о наличии устной коммуникации (вопреки первичной связи разговорной речи и устной формы реализации) в данном случае говорить не приходится, так как определяющей отличительной чертой является отсутствие системы слухового общения, обращенного к уху человека.

Основные средства обычной реальной коммуникации, такие как слово и жест, обладают мгновенной длительностью и, следовательно, ограничены во времени. Их нельзя восстановить иначе, как путем повторения; они могут употребляться только при общении между людьми, находящимися на более или менее близком расстоянии друг от друга, и, таким образом, эти средства коммуникации ограничены в пространстве. Потребность найти пути передачи мыслей и чувств в формах, не ограниченных временем и пространством, привела к развитию способов коммуникации при помощи предметов, меток на предметах и др. Одной из форм фиксации эмотивного компонента речи при виртуальном общении является появление графических элементов широко используемых при общении в чатах, которые являются универсальными для любого языка:

: -)	Улыбка, шутка
: -С	Потрясающе!
: -@	На грани срыва
: '-(Со слезами на глазах
-O	Зевает
[]	Объятия
: *	Поцелуи

Кроме того, хотелось бы отметить особую группу лексики, обслуживающую киберпространство и характеризующуюся в определенной степени ненормативностью и закодированностью (компьютерный сленг), которая является доступной для понимания широким, не только профессиональным кругам пользователей. Термин «сленг» подразумевает устную разговорную речь. Что ка-

сается разговорного стиля, то это вполне оправдано в отношении сетевого письма: ненормативность и экспрессия просматриваются на всех уровнях [Хомяков, 1971].

Примерами общего компьютерного сленга как социально-профессионального явления могут служить такие распространенные и доступные для понимания слова как *comp*, *chat*, *site*, *e-mail*, *net*, *e-cash*. Специальным киберсленгом можно назвать очень небольшую группу лексики, используемой в качестве кодового языка, сравнительно малочисленной группой людей. Как правило, это лексика, используемая хакерами и программистами, частично сюда можно отнести лексику пользователей Сети. Например: *finger* (программа просмотра информации о пользователе, зарегистрированном на удаленном компьютере в сети Интернет), *sucker* (сосунок), *fat client* (компьютер, содержащий операционную систему и приложения на внутреннем жестком диске и требующий обслуживания со стороны других компьютерных систем или процессов), *codes kids* (коллекционеры кодов — группа хакеров, которая запускает программы-перехватчики кодов, занимается поиском номеров АТС с выходом в общую сеть).

Также для данного вида письма характерным является обилие разного рода сокращений, акронимов и упрощений:

u	You	Ты
Be4	Before	Перед, до
L8R	Later	Позже
AFAIK	As far as I know	Насколько мне известно
OTOH	On the other hand	С другой стороны
WRT	With respect to	Что касается
THX	Thanks	Спасибо
TTYL	Talk to you later	Переговорим позже
TIA	Thanks in advance	Заранее благодарим
WB	Welcome back	С возвращением
YWIA	You are welcome in advance	Обращайтесь снова
RTM	Read the manual	Читайте руководство
ROFL	Rolling on floor laughing	Покатываюсь со смеху

В связи с этим нужно отметить, что огромное количество всевозможных сокращений и упрощений в совокупности с игнорированием правил графической стилистики, синтаксиса и грамматики дает основания для сближения сетевого письма со стенографией, что подчеркивает спонтанный характер речи.

Взаимодействие коммуникантов в виртуальном пространстве предполагает высокий уровень спонтанности, так как участники общения располагают важным инструментом — непосредственным (насколько вообще можно говорить о непосредственности в связи с письменной формой речи) контактом, обеспечивающим возможность моментальной связи. Коммуникация представляет собой не только обмен информацией, но и ее создание. Находясь в ситуации постоянного взаимодействия, участники выполняют одновременно роль отправителя информации и ее реципиента, что является характерным свойством устной коммуникации.

Принимая во внимание такие свойства сетевого письма, как обилие сленга, введение в данное языковое образование экстралингвистических факторов (жестов, мимики) в виде смайликов, частое нарушение синтаксических и стилистических норм, а также учитывая скорость общения, близкую к скорости обычной устной речи, можно сделать вывод, что письменная форма сетевого письма реализуется как устная спонтанная форма коммуникации, эффективность которой достигается в результате синхронного и диахронного взаимодействия субъектов.

Таким образом, данный вид коммуникации характеризуется следующими признаками:

- существованием только одной (письменной) формы реализации;
- переплетением признаков и функций, свойственных письму и речи;
- коммуникативной интенсивностью, характеризующейся временной и пространственной свободой, а также неограниченным количеством участников;
- моментальностью обмена информацией;
- удаленность участников;
- сближением со стенографией в результате использования огромного количества акронимов и других типов сокращений;
- обилием графических и цифровых элементов.

Совокупность этих особенностей позволяет выделить данное явление как особый вид письма, который, в связи со сферой применения, может быть назван сетевым письмом, функцией которого является фиксация особого языкового образования - спонтанной разговорной письменной речи.

* * *

ГАЛИЧКИНА Е. Н., 2001. Специфика компьютерного курса на английском и русском языках: автореф., дис....канд. филол.наук. Волгоград.

ГАСПАРОВ Б., 1996. Язык. Память. Образ. М.

ХОМЯКОВ В. А., 1971. Введение в изучение сленга — основного компонента английского просторечия. Вологда.

LAFFORD B., 1996. Learning Language and Culture with Internet Technologies. Illinois, USA.

<http://www.ffl.msu.ru/people/mbergelson/29.htm>

Т. Ю. Смирнова

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КАК ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА

Особое внимание к «реальной жизни» языковых единиц позволило в последние десятилетия преодолеть некоторую однобокость грамматических описаний, ориентирующихся на преимущественно парадигматическую интерпретацию грамматических форм в терминах «значение грамматической формы», «общее значение», «основное значение», «многозначность», «синонимия» грамматических форм и т. п. (ср., например: „Bedeutung“, “Hauptbedeutung”, “Bedeutungsschattierung”, “Mehrdeutigkeit” [Адмони, 1960]). И хотя в рамках структурно-системного подхода контекст, условия употребления той или иной грамматической единицы в определенной мере учитывались, о чем свидетельствует использование понятий «нейтрализация оппозиции» и «транспозиция», а также разграничение «парадигматического и синтагматического значений», однако «значение» и «употребление» друг другу принципиально не противопоставлялись. Так, например, термин «Bedeutungsschattierung» употребляется как синоним термина «Gebrauchsweise», а понятие «периферийное значение» приравнивается понятию «употребление».

Учитывая критическое отношение немецких германистов к выделению собственно функционального направления исследований (наряду с получившими общее признание семантическим, синтаксическим и прагматическим), а также упреки в смешении понятий «значение» и «функция» (первичная функция, вторичная функция), необходимо подчеркнуть, что понятие «функции» позволило связать «значение» со средой, с условиями функционирования грамматических единиц. С понятием функции оказались связанными представление о *роли* языковой единицы в контексте целого, а также с представлением о *назначении* языковой единицы, так как функция рассматривается как предзнаменность элемента к определенному способу существования в системе, как отношение части по отношению к целому.

Важно, что понятие «функции» при этом соотносится не только с речью, «предназначением» языковой единицы, а определяется ее системно-языковыми отношениями. Это означает, что говорящий для реализации определенной функции имеет возможность *выбора* определенной языковой единицы, находящейся в системно языковых (синонимических) отношениях с другими языковыми единицами. Идея о возможности реализации единой функции посредством разноплановых языковых средств нашла свое отражение в описании категориальных ситуаций (локальных, темпоральных, бытийных, посессивных и т. д.).

Удачным в свете вышеизложенного отношения языка и речи, значения и употребления, представляется немецкий термин «*Leistung*», к сожалению, с трудом поддается адекватному переводу на русский язык. Он объединяет в себе понятия потенции, предназначения и своеобразного «вклада» части в целое. Таким образом, речь идет о потенции, реализуемой в высказывании или тексте. Потенции определяются в сопоставлении с другими синонимичными языковыми единицами (например, потенции номинализованных структур по сравнению с вербальными при передаче одного и того же пропозиционального содержания).

Следует упомянуть еще один термин. Наряду с понятиями «*Bedeutung*», «*Gebrauch*», «*Leistung*» в немецкой германистике используется также термин «*Lesart*» — «способ прочтения», способ интерпретации. Необходимо отметить, что «способ прочтения» не является лишь семантическим толкованием грамматической структуры в рамках определенного контекста. Он связан как с рецептивной, так и с продуктивной деятельностью, т. е. термин «способ прочтения» (способ интерпретации) актуален и при описании процесса создания текста. Понятие способа интерпретации подчеркивает отношение знака и его интерпретатора, воспринимающего или производящего текст, т. е. данный термин употребляется в определенном дискурсе, когда речь идет о психолингвистических, когнитивных, коммуникативных, прагматических и т. п. проблемах. Для лингвистического исследования значимым при этом является особое внимание к среде, которая предопределяет способ интерпретации, к контексту. Понятие интерпретации, способа прочтения оказывается, таким образом, тесно связанным с понятиями «*Beschränkung*» (ограничение),

«*Präferenz*» (предпочтение) и «*Zusammenwirkung / Interaktion*» (взаимодействие), которые отражают, с одной стороны, объективные и субъективные факторы выбора той или иной языковой единицы, с другой, отражают взаимодействие с другими языковыми единицами в контексте.

Необходимо отметить, что при исследовании функционирования грамматических единиц (морфологических и синтаксических) понятия *текст* и *контекст* друг другу четко не противопоставляются. Даже в том случае, когда грамматическое описание определяется автором как грамматика текста, функционирование грамматических единиц, классов и категорий рассматривается не в системе текста, а лишь в более широком *контексте*, чем предложение. Такой подход представлен в грамматике текста Г. Вейнриха [Weinrich, 1993].

Несколько иначе взаимодействие семантики языковых грамматических единиц и текста представлена А. В. Бондарко: «Модальные, темпоральные, аспектуально-темпоральные (ср. ситуации временной локализованности/нелокализованности во времени), таксисные, персональные, залоговые, субъектно-предикатно-объектные ситуации соотносятся с категориальными характеристиками текста как целого (ср. нарративные тексты, тексты с доминантой узуальности, императивности, отнесенности ситуации к 1-му или 3-му лицу, активности или пассивности и т. п.). В сферу функциональной грамматики входит анализ *категориальной* (в частности, модальной, аспектуально-темпоральной, персональной) характеристики *целостного текста*» [Бондарко, 2004: 32]. В данной модели комплекс значений, который ранее приписывался предложению, распространяется на текст. Типы текста, типы речи могут при этом служить отправной точкой исследования. Следует, однако, отметить, что слишком общее понятие «нарративные тексты» хотя и может помочь определить направление модификации значений, но не позволит описать различия в их реализации в силу гетерогенности нарративных текстов.

Г. А. Золотова видит поиск пути к смыслу текста как целого через воплощающие его структуры, т. е. в решении вопросов о соотношении синтаксиса предложения и синтаксиса текста. «Очевидно, что без структурно-семантического, типового значения предложения не было бы и смысла целого текста, но при-

знать это иногда мешает традиционный синтаксический разбор, противоречащий реальной структуре предложения» [Золотова, 1998: 21]. Отказ от изучения роли предложения в тексте связан с причинами разного плана. В первую очередь, это абсолютизация формальной структуры предложения и отождествление ее с собственно синтаксической структурой. Исчисление возможных комбинаций таких структур, конечно же, вряд ли осуществимо, да и не имело бы объяснительной силы. Описание реляционной структуры фрагментов текста на основе выявления различных типов синтаксической связи так же скорее вносит вклад в описание «техники связей» между предложениями. Разная оценка значимости предложения для текста отражается в его дефинициях. Ср.: «Под „текстом“ понимается ... любое высказывание, состоящее из одного или нескольких предложений, несущее в себе по замыслу говорящего законченный смысл ...» [Москальская, 1981: 12] и «Текст — это в большей или меньшей степени подготовленное с определенной целью речевое произведение, характеризующееся завершенностью и целостностью» [Филимонова, 2001: 54].

Таким образом, наблюдается некий разрыв между семантико-синтаксическими исследованиями и интерпретацией текста, т. е. своеобразный разрыв между целым и его частями: части описываются вне области реализации их потенциалов, а их системное описание оказывается невостребованным при описании целого — текста.

На фоне накопленных в результате активных исследований текста знаний все явственнее проступает необходимость *системного* лингвоцентрического подхода к анализу текста. М. Я. Дымарский вслед за Г.А.Золотовой настоятельно подчеркивает, что «если лингвистика текста стремится к построению действительно *лингвистической* теории текста, то ей надлежит опираться прежде всего на изучение собственно *языковой* устроенности — то есть «грамматики» — текста» [Дымарский, 2006: 5]. Автор ставит знак равенства между понятиями грамматики текста и текстообразования, ссылаясь на определение последнего не только как процесса формирования текста, но и раздела лингвистического учения о тексте, имеющий предметом языковые закономерности формирования текста.

Попыткой описания закономерностей текстообразования на основе грамматического описания входящих в него конstituентов является выделение коммуникативных регистров речи [Золотова, 1998: 388–439], что продолжает традицию, представленную в немецких стилистиках в описаниях композиционно-речевых форм.

Таким образом, оба направления исследования — изучение функционирования грамматических единиц в тексте и исследование грамматики текста — демонстрируют необходимость подхода, при котором текст (или его фрагмент) рассматривается как целостный объект, а не некий контекст или «расширенное» высказывание. Целостность его манифестируется в присущих ему категориях, которые не могут быть установлены на уровне высказывания, но которые предопределяют реализацию определенных значений на уровне высказывания (например, в нарративном повествовании — субъект речи и субъект сознания, перспектива повествования, определенный хронотоп и т. п.).

Обращение к идеям антропологической лингвистики позволяет уточнить отношение «системного» и «контекстуального» значений: актуализированный знак находится в центре тройной концептуализации — референциальной, структуральной и ситуационной. В референциальном плане знак является репрезентантом некоторого ментального образования, появляющегося в результате соотнесения с реальной действительностью, структуральная концептуализация определяет позицию языковых элементов в языковой системе, а ситуационная концептуализация определяется интенционально-эпистемологическим состоянием субъекта, формулирующего высказывание в конкретных обстоятельствах речи [Антропологическая лингвистика: Концепты. Категории, 2003: 61]

Так и предложение, являясь языковым знаком, репрезентирует некую ситуацию, что отражается в его семантико-синтаксической структуре; предложения с определенной категориальной семантикой находятся в синонимических отношениях и обладают различными потенциальными; выбор одной из синтаксических структур обусловлен ситуационной концептуализацией — «текстовой ситуацией».

Так, например, перцептивная ситуация в наиболее естественном виде — говорящий повествует о непосредственно наблюдаемых со-

бытиях — представлена в контексте прямого репортажа [Жулина, 2006]. При этом режим непосредственного восприятия («наблюдатель воспринимающий») обуславливает реализацию всех коммуникативно-грамматических категорий (временной и пространственной локализованности, аспектуально-временной, категории персональности и категории эвиденции, категории модальности) в определенных семантико-синтаксических структурах.

В нарративном повествовании перцептивная ситуация, сохраняющая основные параметры «естественной» коммуникации — наличие «воспринимающего наблюдателя», объекта восприятия, адресованности — подчиняется другим «условиям игры», реализуется при других «предлагаемых обстоятельствах», так как в нарративном тексте не отражается, а создается («симулируется») ситуация восприятия. Так, например, стирается грань между презентной и претеритальной формами повествования, так как позиция наблюдателя в нарративном повествовании легко перемещается по оси времени (наблюдаемость оказывается вне-временной).

Инвентарь семантико-синтаксических структур со значением восприятия демонстрирует широкий спектр возможностей такой симуляции с разной степенью экспликации субъекта восприятия и разной степенью создаваемой дистанции между воспринимаемой ситуацией и читателем. Так, в качестве полюсов, по-видимому, могут рассматриваться а) структуры, в которых эксплицитно представлен воспринимающий субъект и обозначается само восприятие (например, глаголом восприятия: «И тут он видит/увидел, что ...»). Такие структуры выполняют в тексте интродуктивную функцию по отношению к собственно перцептивной ситуации, являются своеобразными текстовыми маркерами. Интересно, что аналогичную функцию выполняют структуры со значением «субъект — новое пространство» («Выхожу один я на дорогу...»). Второй полюс б) образуют, по-видимому, номинативные предложения, имплицитные восприятию и создающие в силу этого наименьшую дистанцию между воспринимающим субъектом и читателем.

Авторизующие структуры представляются несомненно значимыми для «полисубъектных» текстов. Воспринимающий субъект, субъект сознания, оказывается, таким образом, той величи-

ной, которая позволяет соотнести категории грамматики и категории нарративного текста.

Таким образом, для нарративных текстов представляется возможным выделение текстовых категориальных ситуаций, репрезентация которых осуществляется при помощи семантико-синтаксических структур с определенным категориальным значением. Одна и та же ситуация может получать различную языковую репрезентацию. Способ представления ситуации соотносится с идеей фокуса — выделения наиболее значимых для говорящего/текста компонентов ситуации. Способ представления является смыслообразующим по отношению к тексту. Выбор одного из способов представления, его «аранжировка» подчинена авторскому замыслу. Основными исследовательскими вопросами при таком подходе по-прежнему остаются а) определение ситуаций, релевантных с точки зрения текстообразования и б) описание закономерностей взаимодействия категорий грамматики (категорий, выделенных на уровне высказывания) и категорий текста.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНГВИСТИКА: КОНЦЕПТЫ. КАТЕГОРИИ, 2003. Москва — Иркутск.

БОНДАРКО А. В., 2004. Теоретические проблемы русской грамматики. СПб.

ДЫМАРСКИЙ М. Я., 2006. Проблемы текстообразования и художественный текст. М.

ЖУЛИНА Е. Б., 2006. Категории времени и вида в современном английском языке. Дисс. на соискание степени кандидата филологических наук. СПб.

ЗОЛотова Г. А., ОНИПЕНКО Н. Л., СИДОРОВА М. Ю., 1998. Коммуникативная грамматика русского языка. М.

МОСКАЛЬСКАЯ О. И., 1981. Грамматика текста. М.

ФИЛИМОНОВА О. Е., 2001. Язык эмоций в английском тексте. СПб.

ADMONI W., 1960. Der deutsche Sprachbau. Л.

WEINRICH H., 1993. Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag.

А. О. Тананыхина

ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ СКАЗОК РОАЛЬДА ДАЛЯ (НА ПРИМЕРЕ СКАЗОК «THE WITCHES» И «THE BFG»)

Творчество известного английского писателя Роальда Даля невозможно представить без сказок. Сказки Даля обладают огромной популярностью не только в англоязычных странах, но и во всем мире, они отличаются яркой индивидуальностью, оригинальностью и самобытностью. Целью настоящей статьи является выявление особенностей индивидуального стиля писателя-сказочника Р. Даля (на примере сказок «The Witches» и «The BFG»).

Под индивидуальным стилем автора принято понимать «совокупность основных стилиевых элементов, неизменно присутствующих в произведениях данного автора в определенный период его творчества или распространяющихся на все его творчество в целом» [Ахманова, 2004: 455–456]. Проблема индивидуального стиля является одной из ключевых в стилистике. Это связано с тем, что мир художественного произведения, отражающего действительность с позиций определенного эстетического идеала, уникален и неповторим, как неповторима личность его создателя [Болотнова, 2001: 63].

Индивидуальный авторский стиль — это «особенности индивидуальной манеры авторского использования языка для достижения желаемого эффекта» [Филимонова, 2001: 57]. С точки зрения когнитивно-концептуального подхода, индивидуальный стиль можно представить как логико-лингво-психологическую категорию и определить его как «систему способов репрезентации доминантного личностного смысла в эстетической речевой деятельности». Эта система выявляется как соотношение логико-семантических способов введения интерпретирующих доминантный личностный смысл концептов и характера трансформаций языковых выражений, находящихся во взаимодействии, обусловленном целью эстетической речевой деятельности [Пищальникова, 1992: 107–108].

Наиболее близким пониманию индивидуального стиля, принятом в настоящем исследовании, является мнение Н.С. Болотно-

вой о том, что «каждое художественное произведение фокусирует один из “возможных миров” автора, его картину мира в звуках, красках, эмоциях, оценках. Интерес к личности художника слова определяет особое внимание к его стилю, который проявляется во всем: в отборе жизненного материала, в постановке проблем, в выборе тематики произведений, в излюбленных приемах композиции, в характере эмоциональной тональности произведения, в средствах и способах создания образов, в идее, в жанровых предпочтениях, в выборе творческого материала, в отборе и организации языковых единиц и т. д.» [Болотнова, 2001: 63].

В качестве рабочего прием определено М. П. Брандес: стиль произведения как система приемов организации языковых средств с целью объективации содержания произведения определяется как эстетическим сознанием художника, воплощенном в произведении в форме образа автора-повествователя, так и индивидуальностью реального автора и спецификой языковых средств. Способности, склонности и особенности писателя как определенного социального и психологического субъекта проявляются в языковом построении выразительных и изобразительных форм. Традиционно этот вид формообразования называется стилем (слогом) писателя или индивидуальным стилем [Брандес, 1983: 252].

Отличительной чертой стиля Р. Даля является частое использование такого средства графической выразительности, как абзацы, что, возможно, продиктовано направленностью его сказок на адресата, маленького ребенка, стремлением к наглядности, выделенности важной информации в тексте. Абзац можно рассматривать как композиционный прием, облегчающий читателю восприятие высказывания, поскольку он графически отражает его логическую и эмоциональную структуру [Арнольд, 1973: 247].

Писатель использует в основном короткие предложения, то есть простые предложения, содержащие от 3 до 5 простых членов предложения, а также сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, содержащие короткие предложения и не больше одного придаточного. В качестве примеров приведем начальные предложения двух сказок: «The BFG» и «The Witches»:

1. Sophie couldn't sleep.

A brilliant moonbeam was slanting through a gap in the curtains. It was shining right on to her pillow.

The other children in the dormitory had been asleep for hours. Sophie closed her eyes and lay quite still. She tried very hard to doze off.

It was no good. The moonbeam was like a silver blade slicing through the room on to her face [Roald Dahl, 2001b: 1].

2. In fairy-tales, witches always wear silly black hats and black cloaks, and they ride on broomsticks.

But this is not a fairy-tale. This is about REAL WITCHES.

The most important thing you should know about REAL WITCHES is this. Listen very carefully. Never forget what is coming next.

REAL WITCHES dress in ordinary clothes and look very much like ordinary women. They live in ordinary houses and they work in ORDINARY JOBS.

That is why they are so hard to catch [Roald Dahl, 2001a: 1].

Предложения подобного рода характерны для детского языка и для текста сказки, предназначенного для детей. Помимо этого, для стиля Р. Даля типичным является умелое и разнообразное использование средств типографской выразительности, различных кеглей, видов набора и типографских шрифтов таких, как набор заглавными буквами и курсив. Язык писателя отличает простота и лаконичность, что достигается отсутствием в тексте лишних слов, а также выбором слов, обеспечивающих точность изложения мысли.

Наиболее частотными тропами в сказках Даля являются сравнения и эпитеты. На двадцать первых страниц текста сказки «The Witches» приходится 16 эпитетов и 9 сравнений. В приведенных выше примерах также есть сравнение (The moonbeam was like a silver blade slicing through the room on to her face.) и эпитеты (A brilliant moonbeam, a silver blade). Приведем несколько примеров сравнений из сказки «BFG»:

3. The houses looked bent and crooked, like houses in a fairy-tale [Roald Dahl, 2001b: 3].

4. The nose was as sharp as a knife [Roald Dahl, 2001b: 6].

5. He was running so fast his black cloak was streaming out behind him like the wings of a bird [Roald Dahl, 2001b: 9–10].

6. She was being bumped against the Giant's leg like a sack of potatoes [Roald Dahl, 2001b: 10].

7. The teeth were very white and very square and they sat in his mouth like huge slices of white bread [Roald Dahl, 2001b: 17].

8. You is deaf as a dumpling compared with me! [Roald Dahl, 2001b: 35].

Отметим примеры эпитетов из этой сказки: “silvery moonlight”, “bent and crooked houses” [Roald Dahl, 2001b: 3]; “bright flashing eyes”, “fierce and devilish look” [Roald Dahl, 2001b: 7]; “enormous long pale wrinkly face” [Roald Dahl, 2001b: 9]; “a brain-boggling sight” [Roald Dahl, 2001b: 26].

Рассмотрим примеры наиболее ярких сравнений из сказки “The Witches”:

9. Instead of finger-nails, she has thin curvy claws, like a cat ... [Roald Dahl, 2001a: 18].

10. Suddenly, her old wrinkled lips shut tight as a pair of tongs ... [Roald Dahl, 2001a: 26].

11. Her voice ... made a sort of metallic sound, as though her throat was full of drawing-pins [Roald Dahl, 2001a: 36].

12. It felt as though a kettleful of boiling water had been poured into my mouth [Roald Dahl, 2001a: 108].

13. I felt as though I was a balloon and somebody was twisting the top of the balloon and twisting and twisting and the balloon was getting smaller and smaller and the skin was getting tighter and tighter and soon it was going to burst [Roald Dahl, 2001a: 109].

14. After that there came a fierce prickling sensation all over my skin (or what was left of my skin) as though tiny needles were forcing their way out through the surface of the skin from the inside ... [Roald Dahl, 2001a: 109].

15. ‘... her face ... it was like something that was going rotten!’ [Roald Dahl, 2001a: 122].

Приведем также примеры эпитетов из сказки “The Witches”: “devilry dancing” [Roald Dahl, 2001a: 3]; “tremendously old and wrinkled grandmother” [Roald Dahl, 2001a: 9]; “brilliant green snake” [Roald Dahl, 2001a: 39]; “ashy grey face” [Roald Dahl, 2001a: 40]; “bristly man” [Roald Dahl, 2001a: 46]; “blinding ambition” [Roald Dahl, 2001a: 53]; “crumpled and wizened, so shrunken and shriveled face” [Roald Dahl, 2001a: 60]; “tomfiddling idea” [Roald Dahl, 2001a: 75]; “repellent little child” [Roald Dahl, 2001a: 84]; “loud-mouthed Bruno” [Roald Dahl, 2001a: 113]; “greased lightning” [Roald Dahl, 2001a: 165].

Кроме того, отличительной чертой стиля Р. Даля являются приемы повтора и перечисления, выразительного средства стилистического синтаксиса, которое создается в результате повторения однородных синтаксических единиц разного объема в рамках законченного высказывания. В сказках Даля перечисление выполняет роль средства выделения, подчеркивания наиболее значимого. Перечисления Даля главным образом соединены полисиндетоном:

16. There was something coming up the street on the opposite side. It was something black ...
Something tall and black ...
Something very tall and very black and very thin [Roald Dahl, 2001b: 3].

17. She flew across the dormitory and jumped into her bed and hid under the blanket [Roald Dahl, 2001b: 7].

18. ... I dodged around them and ran and ran and ran, twisting and turning, and dodging and serving across the kitchen floor [Roald Dahl, 2001a: 163].

19. They all seemed to know instinctively that something good was going on right there in front of them, and they were clapping and cheering and laughing like mad [Roald Dahl, 2001a: 180].

20. 'Then the Castle will be completely empty and I shall come in and join you and ...' [Roald Dahl, 2001a: 197-198].

21. 'They'd have to be smashed and bashed and chopped up into little pieces exactly as they were in the Hotel Magnificent' [Roald Dahl, 2001a: 198].

Следующей отличительной чертой индивидуального стиля сказок писателя является то, что волшебные, фантастические персонажи говорят необычно, на особом языке, отличном от языка других персонажей сказки. Вот что говорит сам автор об особенностях речи Великой старшей ведьмы:

22. There was some sort of a foreign accent there, something harsh and guttural, and she seemed to have trouble pronouncing the letter w. As well as that, she did something funny with the letter r. She would roll it round and round her mouth like a piece of hot pork-crackling before spitting it out. 'Rree-moof your vigs and get some fresh air into your spotty scalps! she shouted[Roald Dahl, 2001a: 63-64].

Речь великана BFG и других великанов из сказки "The BFG" также весьма необычна. Она отличается грамматическим несоответствием связи подлежащего и сказуемого в предложении и насыщена окказионализмами. Приведем несколько примеров:

23. 'Just because I is a giant, you think I is a man-gobbling cannybull!' he shouted. ... 'We is in Giant Country now!' [Roald Dahl, 2001b: 17].

24. 'Danes from Denmark is tasting doggy because they is tasting of labradors!' [Roald Dahl, 2001b: 21].

27. 'The human beans in Wellington has an especially scumdidlyumptious taste ...' [Roald Dahl, 2001b: 22].

Таким образом, для индивидуального стиля Р. Даля характерным является умелое и широкое использование средств типграфической выразительности: различных кеглей, видов набора, таких как курсив и набор заглавными буквами. Язык писателя отличает простота и лаконичность, что достигается подбором слов, обеспечивающих точность изложения мысли. Наиболее частотными тропами являются сравнения и эпитеты. Кроме этого, отличительной чертой стиля Р. Даля выступают такие синтаксические выразительные средства, как повтор и перечисление, которые главным образом соединены полисиндетоном. Еще одной отличительной чертой индивидуального стиля сказок писателя является то, что язык сказочных, фантастических персонажей отличается от языка других персонажей сказки.

* * *

АРНОЛЬД И. В., 1973. Стилистика современного английского языка. Л.

АХМАНОВА О. С., 2004. Словарь лингвистических терминов. М.

БОЛОТНОВА Н. С., 2001. Проблема изучения идиостиля в современной коммуникативной стилистике художественного текста // Коммуникативная стилистика художественного текста. Лексическая структура и идиостиль. Сб. ст. Томск.

БРАНДЕС М. П., 1983. Стилистика немецкого языка. М.

ПИЩАЛЬНИКОВА В. А., 1992. Проблема смысла художественного текста. Психолингвистический аспект. Новосибирск.

ФИЛИМОНОВА О. Е., 2001. Язык эмоций в английском тексте. СПб.

DAHL R., 2001a. *The Witches*. London.

DAHL R., 2001b. *The BFG*. London.

З. М. Тимофеева

ИГРА КАК ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР МЕТАПРОЗЫ

Л. Долезел, предложивший термин «самоотрицающий нарратив» (*Self-disclosing narrative*) для описания особого прагматического эффекта, возникающего в некоторых современных художественных текстах [Dolezel, 1989: 246], приводит в качестве синонима еще один, ставший уже достаточно привычным для зарубежного литературоведения и лингвистики, термин — «*metafiction*» («метапроза») [Hutcheon, 1980; Waugh, 1984; McCaffery, 1982].

Линда Хатчин предлагает рассматривать метапрозу как «литературный нарциссизм, поскольку это «проза о прозе, то есть проза, которая включает в себя комментарий по поводу собственной повествовательной и/или лингвистической идентичности» [Hutcheon, 1980: 1].

Патрисия Во считает, что в произведениях метапрозы сознательно и систематически подвергается рефлексии их собственный статус как артефактов, с чем в свою очередь связано особое внимание к вопросам отношений между вымыслом и литературой (*fiction*) и реальностью [Waugh, 1984: 2].

Ларри Мак Кафферы полагает, что «*metafiction ... is conscious of its own fictivity, and, in contrast to the interpretative novel, which operates with the aesthetic assumptions, which it uses as the very terms of its narrative ontology — it is a mask which points to itself*» [McCaffery, 1982: 5].

Как справедливо указывает М. Н. Липовецкий, хотя категория «метапрозы» возникла недавно, в 70–80-е годы XX века, она оказалась приложима к широкому кругу литературных явлений: от Сервантеса и Стерна до классических романов модернизма и новейших постмодернистских экспериментов [Липовецкий, 1997: 44].

Не пытаясь точно определить хронологию данной «повествовательной традиции», можно предположить, что «метапрозаичность» (*metafictionality*) имплицитно присуща роману как жанру и, прежде всего, ввиду парадоксальности и двойственности статуса *fiction* в целом (см. Левин, 1998).

Д. М. Сегал считает, что каждый художественный текст обладает функцией «моделирования действительности», функцией «программирования действительности», а также функцией «моделирования моделирования», устанавливающей конвенцию между автором и читателем и задающей правила игры в литературу. При доминировании первых двух функций, возникают миметический и проповедческий модусы литературы, а доминирование третьей функции (не отменяющее первых двух) ведет к возникновению метапрозы [Сегал, 1979, цит. по: Липовецкий, 1997: 45].

Более убедительной представляется точка зрения о единой — миромоделирующей функции литературы, которая находит свое отражение в различных модусах литературы, каждый из которых характеризуется собственными конвенциями или правилами игры [Липовецкий, 1997; Изер, 2001]; тем не менее, акцент на особой реализации миромоделирующей функции в метапрозе — на моделировании моделирования действительности — представляется важным и тонким наблюдением Д. М. Сегала, так как позволяет выделить особое свойство литературы. Л. Хатчин определяет его как «мимесис динамического процесса» [Hutcheon, 1980: 29]. М. Я. Дымарский обозначает его «вторичной дискурсивностью» [Дымарский, 1999: 264], М. Медарич пишет о провозглашении «факта искусственности текста (его «сделанности»)» [Медарич, 1994: 460]. Ю. И. Левин считает, что происходит «посягновение на сам статус fiction — на такие «нормы», как самодовлеющий характер построенного в произведении мира, или как внеположность автора этому миру» [Левин, 1998: 364].

Как известно, «реалистическая поэтика» (или традиционный нарратив) связана с элиминированием реального автора, сведением к минимуму элементов, связанных с имплицитным автором [Левин, 1998: 363] в фикциональном возможном мире, и такое «изгнание автора за пределы текста влечет за собой элиминирование признаков процессуальности наррации [Дымарский, 1999: 255].

Художественное повествование в метапрозе может рассматриваться как повествование, в котором мир произведения разгерметизируется, «разрываются рамки», ограничивающие этот мир (фиктивный, замкнутый и самодостаточный) от «реального»

мира и/или от других возможных миров. Вместо свободного романа возникает свободный автор, на наших глазах творящий (и может быть разрушающий) мир произведения [Левин, 1998: 365]. Как утверждают многие исследователи неклассических нарративных моделей, к которым относится метапрозаическая модель, игровой компонент, присущий семантике любого художественного текста, актуализируется в неклассических художественных текстах особенно явно.

В основе эксплицитного игрового эффекта, возникающего в метапрозе, лежит парадоксальный статус литературы как вымысла (fiction), ее онтологическая двойственность.

Так, В. Изер, рассматривая оппозицию действительности и вымысла, предлагает заменить данную диаду на триаду «реальное /фиктивное/ воображаемое», в которой фиктивное (вымышленное) описывается им как целый ряд интенциональных актов (селекции, комбинации), среди которых выделяется и акт обнажения фикциональности. По мнению Изера, литература манифестирует свою фикциональность посредством набора сигналов (Fiktionssignale), своего рода «закавычивания» вымысла, когда весь мир, организованный в литературном тексте, становится «как если бы миром», причем его характерным признаком является целостность. Целостность в случае фикции оказывается самоцелью, так как заключенный в кавычки текст становится неким аналогом, «экземплифицированным» миром, позволяющим нам увидеть данность эмпирического мира [Изер, 2001; 187-209; выделено мною — З. Т.].

Ф Меррил, описывая статус литературного текста, предлагает интересную иллюстрацию к высказанным Изером наблюдениям:

Everything Within
This Frame
is a
Fiction

[Merril, 1985: 81].

В основе рефлексивной игры в метапрозе лежит как раз обнажение парадоксального характера данного утверждения: если данное утверждение само по себе вымысел (a fiction), оно истинно и, следовательно, не является вымыслом (a fiction). Если оно является истинным утверждением, оно не является вымыслом и, следовательно, оно ложно.

Патрисия Во, рассматривающая особенности художественных произведений, которые она относит к метапрозе, предлагает собственную версию парадокса: «All novelists are liars, said the metafictionist, truthfully» [Waugh, 1984:137].

Рефлексивная игра предполагает раздвоенность когнитивного субъекта на «Я творящее» («конструирующее») возможный мир (фикциональный мир художественного текста) и «Я комментирующее» правила игры, правила моделирования вымышленного мира.

Рефлексия в самом широком смысле обычно рассматривается как «процесс осмысления чего-либо при помощи изучения и сравнения» [Философский энциклопедический словарь, 1997:394]. В более узком смысле рефлексия может трактоваться как особая когнитивная деятельность, связанная с феноменом самопознания, т. е. познания Я, самости, в его специфике, условиях и способах реакции. Рефлексия в этом случае определяется как «интуиция глубинной реальности “Я”» [Дидье, 2000:383–384].

Рефлексия многих писателей постмодернизма над проблемой соотношения игры и искусства, вымысла и реальности, постижимости действительного мира в процессе моделирования бесконечного множества ментальных миров становится одной из важнейших семантических особенностей самоотрицающих повествований.

Другими словами, в метапрозе речь может идти об особой репрезентации «субъективного авторского начала», которое «обнажено (стерниански) демонстрируется и комментируется» (М. Медарич), так что изображенный мир предстает в виде того, чем он и является в реальности: игровым конструктором, парадоксальным образом сочетающим в себе частное и общее, внешнее и внутреннее, сознательное и бессознательное, субъективное и объективное [Гончарова, 1998; 237].

На когнитивном уровне рефлексивная игра сочетает в себе элементы моделирования (моделирующие игры), поскольку ос-

новой принцип моделирования художественного текста — системность — остается незыблемым, возможный (альтернативный) мир художественного текста по-прежнему предстает в виде аналога (модели) реального (действительного) мира. «Реальный автор» (или скорее его «авторская маска»), появляющийся в тексте, все равно не тождественен настоящему «реальному автору» (имени на обложке) и в принципе не может с ним совпадать [см. Левин, 1998:364]. В то же время рефлексивная игра обостряет ощущение конвенциональности, условности знаковой реальности текста, прежде всего путем выдвижения новых правил игры в текст, правил, устанавливаемых автором-творцом.

В романе Дж. Фаулза «The French Lieutenant's Woman» (1969) автор-повествователь занимает эксплицитную игровую позицию «творящего эго», творца фикционального мира: Викторианской Англии 60-х годов 19 века. В 13 главе романа повествователь («Я», до этого эпически, эмоционально дистанцированное от изображенного мира) откровенно демонстрирует вымышленность рассказываемой истории:

This story I am telling is all imagination. These characters I create never existed outside my own mind...

So perhaps I am writing a transposed autobiography; perhaps I now live in one of the houses I have brought into the fiction; perhaps Charles is myself disguised. Perhaps it is only a game [Fowles, 1996:97].

Как отмечает в своей статье И. В. Арнольд, «одной из особенностей романа является то, что в число его тем входит тема его создания, а одним из героев оказывается сам романист» [Арнольд, 1999:271].

Коммуникативно-творческая стратегия автора, создающего художественный текст — Джона Фаулза, действительно живущего в Lume Regis во второй половине XX века, — представляется особенно интересной благодаря рефлексивной игре, лежащей в основе выбора сложной и многоликой маски автора. Выдвижение «Я» — творца художественного произведения, которое мы читаем, разрушает иллюзию самодостаточного, замкнутого фикционального мира и создает новую иллюзию присутствия «реального» автора как посредника, медиума между читателями и творимым им вымышленным миром, одного из участников литературной игры.

Сам Фаулз так комментирует использованную им стратегию в романе:

So I have written myself another memorandum: You are not the "I" who breaks into illusion, but the "I" who is a part of it. In other words, the "I" who will make first-person commentaries here and there in my story, and who will finally even enter it, will not be my real "I" in 1967; but much more just another character, thought in a different category from the purely fictional ones" [Fowles, 1977: 142].

Иллюзия авторского присутствия в художественном тексте обуславливается общефилософскими взглядами постмодернизма на взаимоотношение вымысла и реальности, фикциональности и фактологичности, которое выражается в предложенном О. Марквардом тезисе: искусство превращается в антивымысел по мере того, как реальность превращается в собрание вымыслов [Марквард, 2001:217].

Как и у многих других писателей, создающих метапрозу, — Д. Барт, Д. Бартельми, Р. Кувер, И. Калвино — центральной темой романа Д. Фаулза становится творческое воображение автора, творческие способности, позволяющие причудливым образом сочетать вымысел и реальность, причем читатель становится непосредственным участником «игры воображения», поскольку:

Only one same reason is shared by all of us: we wish to create worlds as real as, but other than the world that is (p.98).

Основным лингвистическим средством создания маски автора становится ирония, направленная как на читателя, так и во внутрь, на «творческое Я», на нарративную «персону», выступающую в роли «Фаулза»:

But then, at the very last moment, a massively bearded face appeared at his window. The cold stare was met by the even colder stare of a man in a hurry to get abroad....He sat, a man of forty or so, his top hat firmly square, his hands on his knees, regaining his breath. There was something rather aggressively secure about him; he was perhaps not quite a gentleman... an ambitious butler... or a successful lay preacher... (p. 387–389)

Данный фрагмент представляется блестящей иллюстрацией той когнитивной раздвоенности авторского «Я», которая лежит в основе рефлексивной игры: маска автора получает свое фик-

циональное воплощение в персонаже изображенного мира: путешественника, едущего с Чарльзом в одном вагоне. Возникает игровая ситуация, в которой происходит однозначное нарушение читательской онтологической установки на отмену недоверия, нарушается дейктический паритет между автором и читателями, авторская локализация теряет свою стабильность.

Забавляясь, автор рисует иронический портрет путешественника (an ambitious butler, a successful lay preacher), в котором присутствуют автобиографические черты: a massively bearded face; a man of forty or so.

Ирония направлена одновременно и на персонажа, воспринимающего своего творца как «decidedly unpleasant man», и на доверчивого читателя, гадающего, кто же скрывается за маской путешественника. Фаулз использует лексику с отрицательной коннотацией (frigid and authoritarian person, an unpleasant aura of self confidence, stare, cannibalistic in its intensity, leechlike manner) создавая явно иронический «автопортрет».

Фаулз виртуозно исполняет роль «трикстера», забавляющего и поучающего читателя», пародирующего условности классического повествования и обманывающего ожидания читателей, связанные с их предшествующим литературным опытом. Сцена в поезде рассказывается сначала с позиции экзегетического повествователя, отстраненно наблюдающего за похожим на проповедника или пророка (the prophet-bearded man) путешественником. Объективированность повествования подчеркивается графическим выдвиганием местоимения he, указывающего на попутчика Чарльза: his curiosity would not be surprised; what sort of man he was.

В фокусе внимания экзегетического повествователя оказывается взгляд путешественника, рассматривающего Чарльза:

Sharp look; his look was peculiar; sizing, ruminative, more than a shade disapproving; a stare of a minute or so's duration; this stare, which became positively cannibalistic in its intensity; the eyes fastened on him (Charles) again in the same leechlike manner; the intent watcher; that particular look, with its bizarre blend of the inquisitive and the magistral; of the ironic and the soliciting; the look of an omnipotent god; one [the look] of a distinctly mean and dubious moral quality (p. 388–389).

Рефлексивная игра с субъектно-объектной организацией повествования, в основе которой лежит ироническая относительность, отрицание тождества и однозначности, отрицание «тупого совпадения с самим собой» (по Бахтину), блестяще выражается Фаулзом в следующем утверждении:

I see this with particular clarity on the face, only too familiar to me, of the bearded man who stares at Charles (p. 389).

Игра с читателем в данном фрагменте достигает своей кульминации: маска автора эксплицитно представлена как результат рефлексии творческого «эго»: возникает своеобразный «зеркальный» эффект, лингвистически осуществляемый при помощи глагола восприятия, парцелированной конструкции, лексических повторов [bearded man; stares].

Последняя глава романа демонстрирует всю сложность выбранной Фаулзом повествовательной стратегии, подталкивая читателей к осознанию игровой природы маски автора в романе. Глава начинается с очередной мистификации читателя: повествователь выражает нежелание вводить нового персонажа в конце романа:

I did not want to introduce him; but since he is the sort of man who cannot bear to be left out of the limelight, the kind of man who travels first class or not at all, for whom the first is the only pronoun, who in short has first things on the brain, and since I am the kind of man who refuses to intervene in nature (even the worst), he has got himself in — or as he would put it, has got himself in as he really is (p. 440).

Иронический эффект создается многообразием лингвостилистических приемов: множеством повторов на лексическом и синтаксическом уровнях (параллелизм), подчеркнута шутливым противопоставлением «Я» творца (не вмешивающимся в законы природы) и таинственного героя, для которого существует лишь местоимение 1-го лица (игра слов, предлагающая читателю некую подсказку), графическим выдвиганием фразы *as he really is*. Перед читателями опять возникает образ шутника - трикстера, вмешивающегося в фикциональную действительность романа. Условность художественного пространства и времени, порожденных творческим воображением художника, особо подчеркивается символическим переводом времени назад : He takes out his

watch — a Breguet — and selects a small key from a vast number on a second gold chain. (p. 441)

Необычность и значимость происходящего интенсифицируется детальным описанием действий персонажа, которые на лингвистическом уровне выражаются формами настоящего индефинитного повествовательного времени (takes, selects). Их употребление усиливает иллюзию синхронности авторского и персонажного времени, а также способствует вовлечению читателя в разгадывание символического проявления маски автора как текстовой функции, организующей время и пространство изображенного мира в подчеркнута условной, игровой манере.

* * *

АРНОЛЬД И. В., 1999. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. СПб.

ГОНЧАРОВА Е. А., 1998. Эгоцентризм как способ построения литературного текста. *Studia Linguistica*. Вып. 7. СПб.

ДИДЬЕ Ж., 2000. философский словарь. М.

ДЫМАРСКИЙ М. Я. Проблемы текстообразования и художественный текст. СПб.

ИЗЕР В., 2001. Акты вымысла, или что фиктивно в фикциональном тексте. // Немецкое философское литературоведение наших дней. СПб.

ЛЕВИН Ю. И., 1998. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.

ЛИПОВЕЦКИЙ М. Н., 1997. Русский постмодернизм. Екатеринбург.

МАРКВАРД О., 2001. Искусство как антификция — опыт о превращении реального в фиктивное // Немецкое философское литературоведение наших дней. СПб.

МЕДАРИЧ М. В., 1994. Набоков и роман XX столетия // В. Набоков. Pro et Contra.

Философский энциклопедический словарь. 1997. М.

DOLEZEL L., 1989. Possible Worlds in Literary Communication // Possible Worlds in Humanities. Berlin. N. Y.

FOWLES J., 1977. Notes on an Unfinished Novel // The Novel Today. L.

- FOWLES J. , 1996. The French Lieutenant's Woman. London.
HUTCHEON L., 1980. Narcissistic narrative. The Metafictional Paradox. W.
McCAFFERY L., 1982. The Metafictional Muse. N. Y.
MERRELL F., 1985. A Semiotic Theory of Texts. Berlin.
WAUGH P., 1984. Metafiction. L., N. Y.

О. Е. Филимонова

ЛИЧНОСТНЫЕ ЭМОТИВНЫЕ СМЫСЛЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИРИКЕ

Выявление личностных эмотивных смыслов является одной из важных задач изучения эмоций в языке. Данная проблема представляет интерес для изучения репрезентации категории эмотивности прежде всего на уровне текста, однако она имеет отношение и к вопросу выявления эмотивной лексики, то есть релевантна и для лексического уровня языка. Любое слово потенциально эмотивно. Реализация эмотивного потенциала той или иной лексемы зависит от личного эмоционального опыта воспринимающего или продуцирующего речь субъекта. Эмотивный смысл, как пишет В. И. Шаховский, является особой семантической категорией, своеобразие которой в большой степени зависит от индивидуальности своего «создателя», его жизненного опыта и эмоционального настроения [Шаховский, 1998: 69].

В данной статье проблема личностного эмотивного смысла будет рассмотрена в контексте современной поэзии, и в частности, на материале англоязычной любовной лирики. Мы ставим перед собой задачу очертить, хотя бы приблизительно, круг личностных эмотивных смыслов концепта ЛЮБОВЬ, актуальных для современного англоязычного социума и представленных в современной лирике. К изучению эмотивного смысла и соотношения в нем системных и личностных компонентов мы подходим, таким образом, с позиций когнитивной лингвистики, одним из центральных понятий которой является концепт. Думается, что такой подход может позволить нам в какой-то степени осветить и вопросы соотношения интернациональных, национальных и личностных эмотивных смыслов. Исследование данной проблемы представляет интерес и для выявления соотношения эмоциональных и рациональных компонентов в изучаемом концепте.

Материалом исследования явились стихотворения британских и американских поэтов 20–21 века. Кроме того, с указанной точки зрения анализируются сонеты В. Шекспира, что дополняет когнитивно-дискурсивное изучение концепта диахронической составляющей.

Методика анализа состояла в следующем. Сначала были выявлены стихотворения, в которых концепт ЛЮБОВЬ представлен эксплицитно или имплицитно, и определен инвентарь/список дополнительных эмотивных смыслов, расширяющих толкование данного концепта. Дополнительные эмотивные смыслы выявлялись при помощи контекстуального анализа, дешифровки и интерпретации смысла стихотворения и его частей на основе лингвостилистического анализа и анализа используемой в стихотворении образности. На следующем этапе анализа выявлялись рекуррентные, наиболее частотные дополнительные эмотивные смыслы, повторяющиеся, но не частотные эмотивные смыслы и единичные личностные эмотивные смыслы. Сначала таким образом анализировались современные стихотворения. Потом такому же анализу были подвергнуты сонеты Шекспира. Далее, на основании сравнения полученных результатов выявлены национальные и личностные эмотивные смыслы, характерные для репрезентации концепта ЛЮБОВЬ в современной лирике и установлено их соотношение с национальными и личностными эмотивными смыслами в сонетах Шекспира.

Анализ словарных дефиниций, предложенный И.В. Арнольд и широко используемый в современных лингвистических исследованиях, — это важнейший этап анализа концептов, поскольку концепты представлены нам прежде всего в лексике. Словарные дефиниции позволяют выявить такие составляющие концепта ЛЮБОВЬ как ЗАБОТА, РАДОСТЬ, НАСЛАЖДЕНИЕ, ИНТЕРЕС, СТРАСТЬ. Эмотивные смыслы, реконструируемые посредством словарных дефиниций, являются национальными, то есть отражают представление о концепте у среднего носителя английского языка и входят в эмотивный фрагмент наивной языковой картины мира. Толкования лексемы LOVE в словарной статье также хорошо иллюстрируют такую особенность эмотивных концептов как зависимость выдвигания, более яркого проявления той или иной семантической грани концепта, от объекта, на который направлено чувство. (ср. ЛЮБОВЬ к детям, к чтению, к противоположному полу). Полагая, что репрезентация концепта в художественном тексте значительно раздвигает его рамки, рассмотрим сначала, какие составляющие данного концепта актуальны для современной англоязычной лирики.

В ходе анализа семантической структуры 152 современных стихотворений выявлены 40 эмотивных смыслов концепта ЛЮБОВЬ, характерных для англоязычной эмотивной картины мира. Необходимо отметить, что выборка не является достаточно репрезентативной для того, чтобы делать категоричные выводы о распространенности того или иного дополнительного смысла, поэтому данные результаты можно рассматривать лишь как предварительные.

Наиболее широко представлены дополнительные эмотивные смыслы СТРАДАНИЕ, СТРАХ, СУМАСШЕСТВИЕ, РАДОСТЬ, ПОЛНОТА ЖИЗНИ, ЦЕЛОСТНОСТЬ, ТАЙНА, ЖЕЛАНИЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ.

Достаточно частотными в современной англоязычной картине мира являются такие дополнительные эмотивные смыслы концепта ЛЮБОВЬ как ВОСХИЩЕНИЕ, РЕВНОСТЬ, УДИВЛЕНИЕ, НОВИЗНА, НЕОБЫЧНОСТЬ, СВОБОДА, РАСКРЕПОЩЕННОСТЬ, ЕДИНЕНИЕ, ОДИНОЧЕСТВО, НЕНАВИСТЬ, БЛАЖЕНСТВО, НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА, ЭКСТАЗ, ОПЬЯНЕНИЕ.

Единичными в нашей выборке оказались эмотивные смыслы: ФАТАЛЬНАЯ НЕИЗБЕЖНОСТЬ, УНИКАЛЬНОСТЬ, ВЛАСТЬ, ВЕЛИЧИЕ, ХРУПКОСТЬ, ОСТОРОЖНОСТЬ, НЕЖНОСТЬ, ЗАБОТА, ГАРМОНИЯ, ДРУЖБА, НАДЕЖДА, ПОМОЩЬ, ИСЦЕЛЕНИЕ, СПАСЕНИЕ, ГОРДОСТЬ, СДЕРЖАННОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ.

Как видим, национальные эмотивные смыслы, представленные в словаре, и личностные эмотивные смыслы изучаемого концепта существенно различаются не только в количественном отношении, но и качественно. Рациональная составляющая концепта превалирует в личностных эмотивных смыслах, а в национальных представлена лишь двумя составляющими — ЗАБОТА и ИНТЕРЕС.

Рассмотрим далее дополнительные эмотивные смыслы концепта ЛЮБОВЬ, представленные в сонетах Шекспира. Анализ 154 сонетов позволил выявить следующие дополнительные эмотивные смыслы (расположим их в порядке убывания): СТРАДАНИЕ, ВОСХИЩЕНИЕ, ЖЕЛАНИЕ ПОТОМСТВА, ПРЕДАННОСТЬ, БРЕННОСТЬ, РАДОСТЬ, БЛАЖЕНСТВО, РЕВНОСТЬ,

СТРАСТЬ, ЖЕЛАНИЕ, СТРАХ, СУМАСШЕСТВИЕ, САМОУНИЧИЖЕНИЕ, УНИКАЛЬНОСТЬ, ТАЙНА.

Сравнение списков дает весьма интересные результаты, которые мы попытаемся интерпретировать в свете избранного нами подхода к изучению категории эмотивности. Совпадение списков обнаружено по 14 позициям. Из совпадающих эмотивных смыслов наиболее частотными являются следующие: СТРАДАНИЕ, ВОСХИЩЕНИЕ, РАДОСТЬ, БЛАЖЕНСТВО, РЕВНОСТЬ, СТРАХ, ЖЕЛАНИЕ, СТРАСТЬ. Отличия в списках личностных эмотивных смыслов у Шекспира и у современных поэтов обусловлены не только временным разрывом в 4 века, но и тем, что современных поэтов в нашей выборке много, а Шекспир — один (хотя, как известно, существуют и другие точки зрения на авторство работ, печатавшихся под именем Вильяма Шекспира. [См. Степанов, 2008: 339 и др.]). У современных поэтов значительно шире спектр дополнительных эмотивных смыслов, раздвигающих рамки анализируемого здесь концепта. Удивительно, тем не менее, то, что в нашей выборке у современных поэтов мы не обнаружили такого личностного эмотивного смысла как ЖЕЛАНИЕ ПОТОМСТВА. Кроме того, репрезентация смысла ПРЕДАННОСТЬ обнаружена нами лишь в одном современном стихотворении. Означает ли это, что в современной поэтической эмотивной англоязычной картине мира эти эмотивные смыслы не являются ценностными? Интересно было бы сравнить эти данные с репрезентацией концепта ЛЮБОВЬ в современной русской поэзии. Так, анализ эмотивной семантики в современной англоязычной поэзии позволяет нам увидеть срез современного общества с его демографическими проблемами — падением рождаемости и растущим числом разводов. Почти полное отсутствие эмотивного смысла БРЕННОСТЬ у современных поэтов (в нашей выборке имеется лишь один пример подобного рода) также очень интересно и обусловлено, видимо, не только различиями литературно-художественных предпочтений и тенденций 16–17 и 20–21 веков, но и различиями в уровне развития медицины и продолжительности жизни.

Исследователи языка эмоций неоднократно отмечали, что в языке значительно больше наименований для отрицательных эмоций, и в речи они также представлены шире. Современная

поэзия не является исключением. Действительно, такие отрицательные эмоции как страдание, часто вызванное разлукой или ревностью, и страх нередко становятся объектом поэтической рефлексии. Приведем лишь два примера. Первый пример взят из стихотворения “What It’s Like To Be Alive” Д. Рис-Джоунса: “and I remember how I did not know if this was grief or love” [В. А., 191]. Доминантным личностным эмотивным смыслом концепта ЛЮБОВЬ в данном стихотворении является ЖИЗНЬ, что становится ясно из сравнения названия стихотворения с его текстом. Стихотворение представляет собой воспоминание о прекрасных свиданиях с любимой. Практически каждая вторая строка стихотворения начинается с фразы “I remember”, за которой следуют описания пейзажа, красоты ночи, деталей внешности любимой и счастливых свиданий, что в совокупности раскрывает смысл стихотворения: полноту жизни способна дать только любовь, однако суть любви противоречива, любовь предполагает не только счастье, но и страдание.

В стихотворении Лавины Гринлоу “Tryst” любовь окружена ореолом опасности, печали и страха:

“...Dawn traffic in both directions,/taxi, milk floats, builders’ vans./ Each proposes a service or poses a threat/ like the police, slumped couples in cars/ left to patrol each other, to converge/ at a red light that stops little else./

Each separation is outweighed/ by more faith, more sadness;/ accumulated static,/ the shock in every step” [В. А., 182].

Приведенный фрагмент содержит оригинальную развернутую метафору, уподобляющую любовные пары взаимному полицейскому патрулированию, что усиливает атмосферу страха.

Поскольку ни одна из отрицательных эмоций не включена в словарную дефиницию лексемы LOVE, эмотивные смыслы, представленные такими словосочетаниями как pain of love, gently wounding, killing softly и другими, подобными проанализированным выше, следует отнести к личностным. В то же время необходимо отметить, что личностные смыслы такого типа находятся, видимо, на границе личностных и национальных смыслов, поскольку представлены достаточно широко в поэтических текстах.

Привлекает внимание и большое количество современных стихотворений, в которых представлены амбивалентные чувства

любви-ненависти. Некоторые словари приводят амбивалентную лексему LOVE-HATE в сочетании LOVE-HATE RELATIONSHIP, предлагая следующее толкование: a relationship in which the partners often argue or feel angry with each other but do not wish to end the relationship [Longman, 2000: 806]. Исходя из этого, дополнительный эмотивный смысл реализованной в тексте лексемы HATE можно было бы определить как национальный. В словаре по психоанализу отмечается, что понятие амбивалентности заимствовано Фрейдом у Блейлера, который наряду с аффективной амбивалентностью выявлял также интеллектуальную и волевую амбивалентность. Аффективная амбивалентность означает, что субъект одновременно и любит и ненавидит одного и того же человека [Лапланш, Понталис, 1996: 52–53].

В то же время в нашей выборке имеется большое количество стихотворений о любви, где реализуется именно личностный эмотивный смысл НЕНАВИСТЬ. Рассмотрим некоторые примеры. В стихотворении Черил Фоллон “Love Rats” подробно и саркастически описывается процесс приготовления кулинарного изыска: “Lock all the doors, push back your hair and sleeves, lash on your apron, try your hand at Love Rat Casserole!” [B.A., 251]. Далее становится ясно, что таким своеобразным методом лирическая героиня пытается отомстить мужчинам за боль разочарования — крыса в стихотворении олицетворяет предательство и измененность любовников героини. В стихотворении Кэтрин Смит “The New Bride” чувство ненависти спровоцировано изменой любимого и ревностью к его новой возлюбленной:

“The Wedding is a riot of white nylon. Everybody
drinks your health and hers, the simpering bitch.
She and Delia Smith keep you fat and happy
As a pig in shit. I want her cells to go beserk” [B.A., 254].

Данное стихотворение демонстрирует шокирующую откровенность выражения ненависти посредством совсем не поэтичных дисфемизмов.

В коротком стихотворении Луизы Глюк “Hesitate to Call” любовь к покинувшему лирическую героиню возлюбленному сравнивается с рыбой, бьющейся в сети, и со злокачественной опухолью:

“Lived to see you throwing
Me aside. That fought
Like netted fish inside me. Saw you throbbing
In my syrups. Saw you sleep. And lived to see
That all, that all flushed down
The refuse. Done?
It lives in me.
You live in me. Malignant.
Love, you ever want me, don’t.” [S.A., 282].

Заглавие стихотворения (Hesitate to call) и его конец (Love, you ever want me, don’t) дают ключ к дешифровке чувств героини. Основной функцией заглавия является назывная, но заглавие также значительно влияет на осмысление текста [Арнольд, 1999: 354]. В данном стихотворении функция названия дополняется функцией перекодировки смысла, то есть привнесением совсем другого, фактически противоположного эмотивного смысла в стихотворение. Выражение hesitate to call становится отмеченным только в соединении с отрицанием don’t — фраза don’t hesitate to call — это частотный пример современной фатической коммуникации, приглашение не стесняться и звонить, если надо. В контексте стихотворения, в котором основное место отводится метафорическому описанию страданий отвергнутой лирической героини, имплицитная подстановка названия к последнему предложению дала бы следующее высказывание: Love, (if) you ever want me, don’t hesitate to call. Таким образом, ненависть, обида и оскорбленное самолюбие героини, звучащие в последней строке стихотворения, трансформируются в прощение и мольбу (завуалированную в этикетную просьбу) позвонить.

Если в этих стихотворениях ненависть направлена на объект любви и ревности, то в стихотворении Кэролин Кайзер “Bitch” лирическая героиня ненавидит себя и свою страсть, которую она сравнивает со скулящей собакой:

“Now when he and I meet after all these years,
I say to the bitch inside me, don’t start growling.
He isn’t a trespasser anymore,
Just an old acquaintance tipping his hat” [S.A., 276].

Наиболее ярко личностные эмотивные смыслы в современной поэзии проявляются в метафорах и образных сравнениях. В вышеуказанном стихотворении использована развернутая метафора, которая представляет страдания и ненависть лирической героини в виде различных «животных» реакций собаки: “My voice says, ‘Nice to see you’,/ As the bitch starts to bark hysterically”... /“At a kind word from him, a look like the old days,/ The bitch changes her tone: she begins to whimper, / She wants to snuggle up to him, to cringe.../ She slobbers and grovels.../ You gag as I drag you off by the scruff,/ Saying ‘Goodbye! Nice to have seen you again.” [S.A., 276]. Стихотворение построено на контрасте этикетной лексики, отражающей внешнюю ситуацию вежливого сдержанного общения, и метафорически представленной внутренней бурной реакции.

К сугубо личностным смыслам следует отнести большое количество дополнительных смыслов, реализованных в ассоциативных определениях концепта ЛЮБОВЬ. Приведем лишь некоторые из них, представленные в сборниках современной поэзии “Staying Alive” [S.A.] и “Being Alive” [B.A.]: an onion, organ recital, a sail, a swallow tail, a coat, a trumpeter, a trick, a toe tiptoeing on a rope, a bowl of apples, a two-headed animal, the lure, the thin goat staked out in the clearing, muzzle of a gun, chilled honey, silkworms munching mulberry leaves, a piano being played by regimented fingers, geese at dawn, warm spring rain, dawn, summer morning, silken mist, thick hot soup that sustains me, the best novel I’ve read, dragonflies in the sun, a part of the linen industry, autocrat.

Нетрудно заметить, что в подобных сравнениях частично реализуются вышеупомянутые эмотивные смыслы страдания, восхищения, блаженства, удивления, уникальности и тайны, однако конкретизация этих смыслов очень своеобразна и индивидуальна и проецируется как на все органы чувств — зрение, слух, обоняние, осязание, вкус — так и на рациональную сферу восприятия. Типологизация подобных личностных эмотивных смыслов возможна только в самом общем виде (установление связи концепта ЛЮБОВЬ с концептами времени, пространства, животного мира, артефактов и т. п. Ср. когнитивный анализ метафорического представления концепта LOVE в известной книге

Дж. Лакоффа и М. Джонсона [Lakoff, Johnson, 2003]). Новизна и неожиданность каждого личностного эмотивного смысла в стихотворении в значительной мере определяют его воздействующую силу и эстетический эффект, конечно, при наличии прочих художественных достоинств и соблюдении чувства меры и чувства приличия. Последнее, к сожалению, далеко не всегда имеет место.

Существует целый ряд стихотворений, посторенных на выдвигании смысла противоречивости, парадоксальности и необъяснимости любви, что восходит к эмотивному смыслу ТАЙНА. Приведем в качестве примера первую и последнюю строфы из написанного в юмористическом ключе стихотворения Уинслоу Хью Одена “O Tell Me the Truth About Love”:

Some say that love’s a little boy,
And some say it’s a bird,
Some say it makes the world go round,
And some say that’s absurd.
And when I asked the man next-door,
Who looked as if he knew,
His wife got very cross indeed,
And said it wouldn’t do.

When it comes, will it come without warning
Just as I’m picking my nose?
Will it knock on my door in the morning,
Or tread in the bus on my toes?
Will it come like a change in the weather?
Will its greeting be courteous or rough?
Will it alter my life altogether?
O tell me the truth about love [S.A., 292–293].

Некоторые стихотворения очень хорошо демонстрируют противоречивость и взаимоисключаемость и в то же время сосуществование противоположных эмотивных смыслов изучаемого здесь концепта. Приведем фрагменты из стихотворения Джудит Райт “Woman to Man”, построенного на антитезах:

This is the hunter and the chase,
the third who lay in our embrace.

This is the maker and the made;
this is the question and reply;
that blind head butting at the dark,
the blaze of light along the blade.

Oh hold me, for I am afraid [S.A., 268–269].

Выше мы отмечали, что эмотивные смыслы концепта ЛЮБОВЬ варьируются в зависимости от того, на кого направлено чувство, или кто (или что) является адресатом эмоции. В данной статье не анализировались стихи о любви к детям, родителям, учителям, родине, а также о любви к Богу или к ближнему. Смена адресата повлечет за собой не только новые индивидуальные эмотивные смыслы, но и приведет к выдвиганию иных элементов национальных эмотивных смыслов. Так, даже самый общий взгляд на эту проблему позволяет заключить, что для репрезентации, например, ситуаций «родительская любовь» или «любовь к ближнему» актуальны эмотивные смыслы ЗАБОТА и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, то есть рационализированные эмотивные смыслы (Ср. “There’s a kind of love called maintenance” [В. А., 2009]. Исследование проблемы личностных эмотивных смыслов актуально и в гендерном аспекте. Так, сравнение любовной лирики, написанной женщинами, может выявить гендерные личностные эмотивные смыслы отличные от тех, что характерны для мужской любовной лирики. Пока что мы, сопоставляя личностные эмотивные смыслы концепта ЛЮБОВЬ, лишь попытались проверить гипотезу о том, что сонеты Шекспира написаны двумя людьми — мужчиной и женщиной (графом Рэтлендом и его женой Елизаветой Сидни). Сравнение выявленных выше (см. начало статьи) дополнительных эмотивных смыслов концепта ЛЮБОВЬ в сонетах Шекспира показало, что все они представлены более или менее равномерно в сонетах, написанных Рэтлендом, и в сонетах, написанных Елизаветой. Существенное расхождение обнаружено лишь в случае с тремя эмотивными смыслами: БРЕННОСТЬ, ЖЕЛАНИЕ ПОТОМСТВА и ПРЕДАННОСТЬ. Эти эмотивные смыслы значительно чаще представлены в сонетах,

предположительно написанных Елизаветой. Результаты «гендерного эмотивного тестирования» сонетов, таким образом, являются противоречивыми.

В заключение отметим, что полностью разделяем мнение И. В. Арнольд о том, что «лексические способы выражения в речи эмоции, оценки и экспрессии не только тесно взаимодействуют друг с другом, но и неотделимы от синтаксических, фонетических и других возможных способов их передачи в акте общения и поэтому должны изучаться в условиях контекста и ситуации» [Арнольд, 2004: 165].

Изучая личностные эмотивные смыслы в данной статье, мы опирались на основные положения когнитивной лингвистики, эмоциологии текста, стилистики декодирования И. В. Арнольд, а также использовали некоторые положения литературоведения и психологии. Думается, что это вполне оправданно, поскольку междисциплинарность является одной из существенных тенденций современной научной мысли.

* * *

АРНОЛЬД И. В. 1999, Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. Сборник статей. СПб.

АРНОЛЬД И. В. 2004, Стилистика. Современный английский язык. Учебник для вузов. М.

ЛАПЛАНШ Ж., ПОНТАЛИС Ж. П., 1996, Словарь по психоанализу. М.

СТЕПАНОВ С. А., 2008, Комментарий // Уильям Шекспир. Гамлет, принц датский. Сонеты. СПб.

ШАХОВСКИЙ В. И., СОРОКИН Ю. А., ТОМАШЕВА И. В. 1998, Текст и его когнитивно-эмотивные метаморфозы. Волгоград

LAKOFF J., JOHNSON, M., 2003, Metaphors We Live By. Chicago and London

LONGMAN DICTIONARY OF ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE. 2000, Fourth Impression.

Источники и принятые сокращения:

(В. А.) — BEING ALIVE. The sequel to Staying Alive, 2004, Ed. by N. Astley. Bloodaxe Books, Glasgo

(S. A.) — STAYING ALIVE. Real poems for unreal times. 2003, Ed. by N. Astley. Bloodaxe Books, Trowbridge

И.Н. Хольмстрем

CATÉGORIE DU MOTIF COMME FACTEUR DE L'ORGANISATION DU TEXTE

La catégorie du motif liée à la tradition culturelle est examinée dans les œuvres des savants russes modernes (I. P. Smirnov, E. Farino, I. V. Silantiev, V. I. Tupa, A. K. Jolkovsky, U. K. Chtcheglov etc) comme le facteur essentiel de l'organisation du texte.

La conception de A.K. Jolkovsky, de U. K. Chtcheglov («Thème — Procédés de l'expressivité — Texte» [Жолковский, Щеглов, 1996: 14–15]) est proche de la compréhension des particularités distinctives du langage littéraire de tout autre langage de B. V. Tomachevski.

A. K. Jolkovsky et U. K. Chtcheglov examinent le développement de l'œuvre littéraire du thème, conception initiale, au texte, manifestation matérielle verbale. Leur «conception «thème-texte» est une tentative de souligner, de nommer et d'écrire tous les étapes du passage de la formulation abstraite du thème (idée) à la composition concrète verbale du texte» [Жолковский, Щеглов, 1996: 6]: «Pour transformer le thème en texte le thème doit traverser un réseau des procédés d'expressivité» [Жолковский, Щеглов, 1996: 6], donc le texte est «un réseau sémantique des liens» [Гаспаров, 1994: 285]. V. I. Tupa exprime une pensée qu'un œuvre étant un modèle à plusieurs niveaux est une matérialisation d'une idée esthétique d'un auteur [Тюпа, 1982: 12]. Alors l'auteur est «une source conceptuelle et personnelle du monde littéraire de l'œuvre» [Тюпа, 1982: 10]. L'auteur possède un phénomène esthétique de la conscience qui au total à l'aide de l'ordre à plusieurs niveaux (situation, sujet, détails d'objet, détails de sujet, composition, rythme) est transformé en phénomène linguistique du texte [Тюпа, 1982: 10]. Ainsi selon V. I. Tupa, A. K. Jolkovsky, U. K. Chtcheglov un œuvre littéraire représente une idée matérialisée d'auteur.

A. K. Jolkovsky et U. K. Chtcheglov concluent que «les motifs littéraires communs de fable» sont une réalisation «des combinaisons typiques» [Жолковский, Щеглов, 1996: 16]. Donc on peut examiner «des combinaisons typiques» comme «les répétitions sémantiques intertextuelles» qui «manifestent des motifs fondamentaux transhistoriques appartenant à la tradition» [Тюпа, 2004: 173, 178].

On peut lire dans les œuvres de U. M. Lotman du lien d'un motif à la tradition culturelle: «Les prédicats se rapportant au thème donné dans le système

culturel commun ou bien dans quelque catégorie déterminée des textes peuvent être définis comme motifs» [Лотман, 1975: 142]. B. N. Poutilov écrit que «chaque motif possède un jeu de significations stable partiellement jetées dès l'origine, partiellement apparues au cours d'une longue histoire de la vie» [Путилов, 1992: 84]. B.M. Gasparov remarque «le lien fondamental du motif avec le début de la tradition» [Гаспаров, 1994: 30]. On pourrait augmenter le nombre des exemples parce que dans la critique littéraire russe l'intérêt pour l'étude de la catégorie du motif s'accroît (E. M. Mélétsky, B. N. Poutilov, G. V. Krasnov, V. I. Tupa, E. K. Romodanovskaya, B. M. Gasparov, V. E. Vetlovskaya, I. V. Silantiev, N. D. Tamartchenko, U. V. Chatine, A. K. Jolkovsky, U. K. Chtcheglov).

La base de la compréhension de la nature du motif est sa définition en qualité d'une unité de la langue narrative. Cette pensée a été exprimée premièrement par A. N. Vesselovski: «Le motif c'est la plus petite unité de récit» [Веселовский, 1989: 305]. Cette définition est actuelle pour la critique littéraire moderne. Par exemple, I. V. Silantiev presque mot à mot répète dans son œuvre une idée de A. N. Vesselovski: «Le motif est une unité de la langue narrative» [Силантьев, 2004a: 78]. Ici on voit un trait principal de la science littéraire nationale, sa succession.

La critique littéraire moderne ouvre quelques approches pour étudier la catégorie du motif.

Une approche thématique pour étudier le motif (B. V. Tomachevski, V. B. Chklovski, V. I. Tupa, A. K. Jolkovsky, U. K. Chtcheglov, V. E. Vetlovskaya, U. V. Chatine) propose d'examiner le système des motifs comme une réalisation du thème dans le texte de l'œuvre: le thème dans le texte se réalise à l'aide du système des motifs [Силантьев, 2004b: 41]. Ainsi le motif est «le plus petit élément thématique» de l'œuvre [Ветловская, 2002: 99]. Coopérant l'un avec l'autre les motifs «forment le lien thématique de l'œuvre. A ce point de vue une fable de l'œuvre est un ensemble des motifs avec leur causalité temporelle logique, un sujet (autre page) est un ensemble des mêmes motifs dans la même suite logique qui est représentée dans l'œuvre» [Томашевский, 2001: 182–183]. Remarquée par B. V. Tomachevski la combinaison du motif avec le thème comme en même temps avec le sujet et avec la fable de l'œuvre permet de parler d'une coopération des approches thématique et pragmatique, actuelles aujourd'hui pour la science littéraire moderne.

Dans le cadre de l'approche pragmatique le motif a des propriétés prédicatives: «La structure du motif peut être assimilée à la structure de la proposition (du jugement). Nous proposons d'examiner le motif comme un microsujet à un acte dont la base est une action. L'action du motif est prédicat» [Мелетинский,

1983: 117]. Donc, «le motif «avance» le récit en déterminant la perspective du développement de l'action et des événements» [Силантьев, 2004б: 79]. B. M. Gasparov montre que finalement à l'aide de la coopération des motifs pénétrants on peut construire une organisation sémantique du texte littéraire, sa structure sémantique [Гаспаров, 1994]. Le savant souligne que le principe de répétition est important pour le motif: «Nous avons en vue tel principe à l'aide duquel certain motif étant une fois existé se répète puis plusieurs fois ayant chaque fois un nouveau variant, de nouveaux traits et de nouvelles combinaisons avec les autres motifs» [Гаспаров, 1994: 30]. Ainsi «une unité» sémantique de l'analyse <...> est le motif: un composant mobile qui entrelace avec le tissu du texte et n'existe qu'au cours de la fusion avec des autres composants» [Гаспаров, 1994:301].

M. Y. Dimarski indique que la répétition est une «propriété inaliénable du motif» [Дымарский, 1999: 118]. Le motif dont la propriété essentielle est une répétition [Гаспаров, 1994: 30–31] est examiné par des chercheurs modernes «comme facteur d'engendrement de texte» [Тюпа, 2004: 178] car il se rapporte à la fable du texte comme au sujet de l'œuvre. «La syntactique du motif» dans l'œuvre est liée au niveau de la fable, et «la pragmatique du motif» au niveau du sujet, «comme au niveau de l'organisation du sens actuel de cette narration» [Силантьев, 2004б: 110]. C'est-à-dire la pragmatique du motif est examinée comme une «unité de thème-rhème <...> dans le système d'un discours littéraire» [Силантьев, 2004б: 67]. Cette idée du caractère prédicatif du motif est décrite en détails dans les œuvres de V.I.Tupa.

La troisième approche de la compréhension de la nature du motif (B. N. Poutilov, N. D. Tamartchenko, U. V. Chatine, A. K. Jolkovsky, U. K. Chtcheglov) propose d'examiner le motif dans le texte comme le résultat de la réalisation de son invariant. Il y a le schéma suivant: «invariant du motif — variant du motif» [Силантьев, 2004б: 48] où l'invariant est «une langue comme système des invariants» [Силантьев, 2004б: 48], et le variant est «un langage comme une réalisation fonctionnelle du système» [Силантьев, 2004б: 48]. Ainsi la structure du motif est un invariant qui «généralise la structure sémantique du motif et les variants qui réalisent l'invariant du motif sous forme de ses manifestations concrètes de fable» [Силантьев, 2004б: 48]. La possibilité d'examiner le système des motifs dans le texte comme manifestation d'un invariant permet au cours de l'analyse de l'œuvre littéraire de parler du thème invariant dans les œuvres d'un écrivain. «Le thème invariant <...> d'un écrivain est un point de vue, une manière d'auteur de voir toutes les choses, une pensée aimée qui est dans toutes ses déclarations littéraires, et souvent dans toutes ses déclarations habituelles. A

l'aide des procédés de l'expressivité le thème invariant d'un écrivain est incarné en plusieurs de motifs qui ont aussi une tendance à la constance» [Жолковский, Щеглов, 1996: 19]. La constance des motifs dans les œuvres d'un écrivain permet d'examiner ses œuvres comme une communauté, comme une unité. «La symbolique multiple d'un œuvre poétique nous montre les principes <...> constants d'organisation <...> qui sont porteurs de l'unité dans les plusieurs œuvres du poète <...> qui laissent une empreinte de la personne poétique unique sur ces œuvres <...> qui représentent une intégrité d'une mythologie individuelle du poète <...> qui font des images inoubliables des vers de Pouchkine» [Якобсон, 1987: 145]. Ainsi le motif en même temps est lié thématiquement au sens de tout un œuvre où il est comme aux autres œuvres de cet auteur, et en même temps la sémantique du motif est liée étroitement à la tradition culturelle.

V. I. Tupa remarque que «les motifs d'un œuvre littéraire sont les unités de la sémantique littéraire ancrées profondément dans la culture et dans la vie quotidienne nationale et humaine. Dans le texte ils apparaissent grâce aux répétitions sémantiques, aux parallèles, aux antithèses, et aussi ils sont actualisés par des répétitions d'un caractère intertextuel (réminiscences, a l l u s i o n s)» [Тюпа, 2006: 59]. Voilà pourquoi au cours de l'analyse d'un œuvre littéraire il est indispensable de se rappeler que «les innovations d'auteur» s'opposent ici à l'«ensemble traditionnel des motifs» [Тюпа, 2004: 179]. Par suite de tout ça le problème de l'organisation d'un œuvre littéraire est lié étroitement aux questions de répétition et de tradition qui sont une manifestation et une réalisation de la «mémoire» de la culture.

* * *

- ВЕСЕЛОВСКИЙ А. Н. 1989. Историческая поэтика. М.
 ВЕТЛОВСКАЯ В. Е. 2002. Анализ эпического произведения. Проблемы поэтики. СПб.
 ГАСПАРОВ Б. М. 1994. Литературные лейтмотивы: Очерки по русской литературе XX века. М.
 ДЫМАРСКИЙ М. Я. 1999. Проблемы текстообразования и художественный текст. СПб.
 ЖОЛКОВСКИЙ А. К., ЩЕГЛОВ Ю. К. 1996. Работы по поэтике. выразительности. Инварианты — Тема — Приемы — Текст. — М.
 ЛОТМАН Ю. М. 1975. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин». Тарту.

МЕЛЕТИНСКИЙ Е. М. 1983. Семантическая организация мифологического повествования и проблема создания семиотического указателя мотивов и сюжетов // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Тарту. Вып. 635.

ПУТИЛОВ Б. Н. 1992. Веселовский и проблемы фольклорного мотива // Наследие Александра Веселовского. Исследования и материалы. СПб.

СИЛАНТЬЕВ И. В. 2004а. Поэтика мотива. М.

СИЛАНТЬЕВ И. В. 2004б. Становление и развитие теории мотива // Мотивный анализ. М.

СИЛАНТЬЕВ И. В. 2004в. Силантьев И.В. Становление и развитие теории мотива // Мотивный анализ. М.

ТОМАШЕВСКИЙ Б. В. 2001. Теория литературы. Поэтика. М.

ТЮПА В. И. 1982. Эстетический феномен — произведение — текст // Типологический анализ литературного произведения. Кемерово.

ТЮПА В. И. 2004. Мотив в системе художественного целого // Мотивный анализ. М.

ТЮПА В. И. 2006. Анализ художественного текста. М.

ЯКОВСОН Р. О. 1987. Работы по поэтике. М.

И. П. Шишкина

**К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ
И ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТИ В ТЕКСТЕ ДРАМЫ.
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ДРАМАТУРГИИ
XX ВЕКА)**

Нашедшие широкое и глубокое освещение в трудах И. В. Арнольд [Арнольд, 1999: 341–440] проблемы интертекстуальности получили своё развитие в работах целого ряда авторов последних десятилетий. На основе теории интертекстуальности разрабатывается теория интердискурсивности, базирующаяся на понятии дискурса в двух его ипостасях: 1) как текста в неразрывной связи с социальными, культурно-историческими и другими значимыми факторами его порождения с учётом взаимодействия «автор–адресат», 2) как совокупности текстов, обладающих интенционально-коммуникативной и содержательно-тематической общностью. Интердискурсивность возникает в том случае, когда в коммуникативном событии одновременно артикулируются два или более дискурсов. Формой проявления интердискурсивности в эмпирическом материале (то есть в текстах) является интертекстуальность, понимаемая как следы предыдущих текстов в данном тексте [Андреева, 2006: 11].

Наблюдения над художественно-изобразительной структурой драматических произведений М. Фриша, Фр. Дюрренматта, П. Вайса показали, что в них реализуется комплекс проявлений интертекстуальности и интердискурсивности.

Драма как один из основных литературных родов ведёт свою историю, как известно, из времён античности. В тот далёкий от нас период были сформированы закономерности построения художественной системы драматических произведений, в первую очередь трагедии, о которых писал в своей «Поэтике» Аристотель [Aristoteles: 30–39] и которые по сей день лежат в основе структурно-композиционного оформления драмы.

Естественно, каждый период развития литературного процесса в национальных литературах вносил что-то новое в художественную форму драмы. Ибо, по словам Фридриха Дюрренматта: “Jede grosse Theaterpoche war moeglich, weil eine bestimmte Theaterform

gefunden worden war, ein bestimmter Theaterstil, in welchem und durch welchen man Theaterstuecke schrieb" [Duerrenmatt. Theaterprobleme. Zit. nach: Theorie des Dramas: 104].

Далее Фр. Дюрренматт пишет: «So ist das heutige Theater zweierlei, einerseits ein Museum, andererseits aber ein Feld fuer Experimente, so sehr, dass jedes Theaterstueck den Autor vor neue Aufgaben, vor neue Stilfragen stellt» [Ebenda].

Такое сочетание «музея», традиционных форм композиционно-речевого построения драмы, и «эксперимента», введения элементов, модифицирующих традиционную структуру драмы, мы наблюдаем в немецкоязычной драматургии второй половины XX века. Общим направлением такого рода модификаций можно считать определённую нейтрализацию акциональной доминанты драматического текста и включения в него элементов эпического повествования, различных форм экспликации «образа автора».

Несомненное влияние оказала в этом плане теория эпического театра Б. Брехта [Brecht. Vergnuegungstheater oder Lehrtheater, 1936], в котором «сцена начала повествовать» (“Die Buehne begann zu erzaehlen”), сюжетное напряжение уступило место глубинному и интеллектуальному напряжению, зонги и хоры объясняли зрителю сущность происходящего на сцене, комментировали события.

Наиболее полное и яркое сочетание драматического и эпического можно наблюдать в произведениях крупнейших немецко-швейцарских драматургов XX века Макса Фриша и Фридриха Дюрренматта.

Оба автора включают в текстовую ткань драмы эксплицитно и имплицитно выраженный авторский комментарий, интерпретацию развивающегося действия. Функции комментатора выполняют ведущий, а также ряд действующих лиц, не принимающих непосредственного участия в фабульном действии.

В драме “Die Chinesische Mauer” ведущий игры Современник (Der Heutige) обращается в прологе непосредственно к публике, вводя её в ситуацию действия, даёт энциклопедическую справку о месте действия, говорит о времени действия и о действующих лицах:

Der Heutige: Meine Damen und Herren. Sie sehen die Chinesische Mauer, das groesste Bauwerk der Menschheit...Vollendet wurde dieses Werk unter dem glorreichen Kaiser TSIN SCHE HWANG TI, der heute Abend persoendlich auf unserer Buehne erscheinen wird....

Was im uebrigen den heutigen Abend betrifft, so verlese ich Ihnen, damit keine falschen Erwartungen entstehen, die weiteren Figuren unseres Spieles: [Frisch 1: 141].

В дальнейшем Современник неоднократно обращается к публике с вопросами, которые должны были её волновать (то есть задаёт вопросы от имени публики о месте действия и действующих лицах).

Фр. Дюрренматт также вводит в свои пьесы фигуры, не принимающие активного участия в развитии действия, но комментирующие его. В пьесе “Der Besuch der alten Dame” такими фигурами являются представители средств массовой информации: Presseemann; Presseemann II; Radiosprecher; Kameramann. Они объединены в афише в группу с оценочным обозначением die Laestigen. Представители СМИ сообщают о происходящем и комментируют его, например:

Der Radiosprecher: Meine Damen und Herren...Wir kommen zum Hoehepunkt des Besuches, den Frau Claire Zachanassian ihrem ebenso sympatischen wie gemuetlichen Heimatstaedtchen abstattet...Wir befinden uns im Theatersaal im Goldenen Apostel, in Jenem Hotel, in welchem Goethe uebernachtete. Auf der Buehne ...versammelten sich die Maenner...Die Frauen befinden sich im Zuschauerraum“ [Duerrenmatt: 329].

Речь радиорепортёра имеет двустороннюю адресованность: к жителям города Гюллена, но и к зрителю/читателю, о чём свидетельствуют последние предложения, указывающие на происходящее на сцене.

В той же функции выступает в драмах обоих авторов хор, традиционная составляющая античной драматургии, который вводится в текст как коллективный персонаж-комментатор. По языковому строю партии хора стилизованы под античные стихотворные формы, но наполнены новым содержанием и ассимилированы в событийной ситуации соответствующей драмы.

Так в пьесе М. Фриша “Biedermann und die Brandstifter” хор «одет» в униформу пожарных, и его партия открывает произведение. Обращаясь к жителям города, хор предупреждает об опасности:

Chor: Buerger der Vaterstadt, seht
Waechter der Vaterstadt uns,
spaehend,

horchend,
Freundlichgesinnte dem freundlichen Buerger

.....
Chorfuehrer: Feuergefaehrlich ist viel,
aber nicht alles, was feuert, ist Schicksal,
Unabwendbares (Frisch 2: 140)

Далее хор в каждой сцене подводит итог действия и комментирует его, время от времени вступая в своеобразный диалог с действующими лицами.

Хор в этой драме не «руководит» действием, а сопровождает его, и адресуясь к зрителю, ориентирует его не столько в конкретно развивающемся действии, сколько в проблематике драмы. Партия хора переводит конкретную событийную ситуацию на уровень философского и нравственного обобщения, благодаря чему драма воспринимается как притча (в соответствии с коммуникативной интенцией драматурга).

В пьесе Фр. Дюрренматта “Der Besuch der alten Dame” хор «составлен» из жителей города Гюллена, где происходит действие. Хор также комментирует происходящее, но этот комментарий является главным образом, средством выражения авторской иронии по отношению к поведению и поступкам жителей города.

Художественная форма партии хора выстроена по образцу хора из трагедии Софокла «Антигона»¹. Фр. Дюрренматт сохраняет стихотворный размер, синтаксический параллелизм в стихотворных строках, лексическое наполнение отдельных строк:

Chor 1:

Ungeheuer ist viel Gewaltige Erdbeben Der Sonnenhafte Pilz der Atombombe	Ungeheuer ist viel, und nichts Ungeheuer als der Mensch
Chor II: Doch nichts Ungeheuer als Armut	

¹ Сопоставление производилось на основе перевода трагедии Софокла на немецкий язык.

В произведениях обоих драматургов хор полифункционален, каким он был и в античной драматургии.

Особую страницу в немецкой драматургии второй половины XX века занимает документальный театр (das dokumentarische Theater), представленный прежде всего творчеством Петера Вайса, сформулировавшего основные принципы этого направления драматургии. Он пишет:

“Das dokumentarische Theater ist ein Theater der Berichterstattung. Protokolle, Akten, Briefe, statistische Tabellen, Boersenmeldungen, Abschlussberichte von Bankunternehmen und Industriegesellschaften, Regierungserklaerungen, Ansprachen, Interviews, Aeusserungen bekannter Persoenlichkeiten, Zeitungs — und Rundfunkreportagen, Fotos, Journalfilme und andere Zeugnisse der Gegenwart bilden die Grundlage der Auffuehrung“ (P.Weiss 1: 464).

Материал и сюжеты в драматических произведениях П. Вайса имеют документальную основу, и этот документальный материал перерабатывается автором, в соответствии с разработанной им стратегией, в «художественный продукт». П. Вайс экспериментирует, ищет художественную форму, соответствующую общественно детерминированному содержанию его пьес.

Драма, получившая широкую известность (её называли «первым значительным произведением немецкой драматургии после смерти Брехта»), озаглавлена П. Вайсом “Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade”. Действие происходит в 1808 году в психиатрической больнице 15 лет спустя после трагической гибели Марата. Маркиз де Сад, помещённый в Шарентон, ставит пьесу о событиях 1793 года. Этот сюжетный ход позволяет автору органично сочетать исторические факты и художественный вымысел. Сам П. Вайс говорит в послесловии к драме, что вся сюжетная линия Марата документально точна, высказывания Марата в монологах и диалогах по содержанию, а иногда в аутентичной форме, соответствует текстам из его письменного наследия [Weiss. Stuecke, 1977: 244]. Фактологическую основу имеет пребывание де Сада в психиатрической лечебнице: он провёл в Шарентоне 13 лет (1801–1814), ставил там с пациентами пьесы и сам играл в них. Фикциональным элементом фабулы является личная встреча Марата и де

Сада и их диалоги «о жизни и смерти». По признанию автора, в конфронтации де Сада и Марата ему важно было показать конфликт крайнего индивидуализма и социально ориентированных раздумий о необходимости политических преобразований.

Исходная сюжетная позиция драматурга определяет всю художественно-изобразительную структуру пьесы.

Организирующим центром текста драмы выступает традиционная для немецкого народного театра-балагана фигура глашатая (*Ausrufer*), одетая в костюм Арлекина. Через фигуру глашатая реализуется комплекс коммуникативно-прагматических и художественных тактик драматурга. Глашатай даёт указания к началу действия, он представляет и характеризует появляющихся исторических персонажей:

Es ist uns eine ganz besondere Ehr
Ihnen zu praesentieren den Herrn Voltaire
(zeigt mit dem Stab) (Weiss 2: 210)

Он комментирует поступки и высказывания действующих лиц, обращается к публике с призывом задуматься и оценить происходящее:

Wir bitten geehrtes Publikum
Zu bedenken wie unueberlegt und dumm
Das Volk immer wieder ins Unglueck geraet
Weil es von der Sachlage nichts versteht (Weiss 2: 183)

Комментирующую, а в ряде случаев и направляющую действие, функцию выполняет также хор. Хор составляют пациенты клиники, среди них выделяются четыре солирующих певца. Стихотворная форма партии хора не стилизована под античную, в ней комбинируются традиционные для немецкого стиха метры.

Кроме глашатая и хора в драме широко используются традиционные приёмы уличного народного театра: пантомима, дурачество, танец, песня, которые в исполнении пациентов клиники приобретают то гротескный, приближающий действие к театру абсурда, характер, то зловеще-символический смысл танца смерти (*Totentanz*).

Важной составляющей художественной структуры драмы является её музыкальное оформление (в титуле указано имя композитора). Музыка сопровождает всё действие драмы. Оркестр, наряду с хором, воспринимается как коллективное действующее лицо: он реагирует на все события характером и тональностью музыки (в начале действия: *feierlicher Musikeinsatz*; действие близится к трагической развязке: *Musik geht zu einem tragischen Anklang ueber*; в последней сцене: *das Orchester intoniert den Schlussmarsch*).

Таким образом, в драме функционируют во взаимодействии вербальный ряд (слово), визуальный ряд (пантомима), акустический ряд (музыка), создавая новую, но базирующуюся на традиционных основаниях, художественную форму драмы.

Другая, не менее известная и не менее интересная в плане рассматриваемой проблемы, драма П. Вайса — “*Die Ermittlung. Oratorium in 11 Gesaengen*” (Musik von Luigi Nono). Это сценический документ процесса над палачами Освенцима. В Послесловии к драме автор перечисляет её документальные источники, включая многочисленные публикации в прессе. Во вступительном примечании он подчёркивает, что речь свидетелей содержит только факты. Девять свидетелей говорят от имени многих сотен.

Подзаголовок драмы — оратория — определяет её композицию: 11 песней (*Gesaenge*), каждая из которых имеет своё заглавие. Действующими лицами являются судья, обвинитель, защитник, свидетели, обвиняемые, то есть участники любого судебного процесса. Центральное место в драме занимает противопоставление свидетелей и обвиняемых. Первые анонимны, это обобщённые фигуры жертв, утративших свои имена в лагере, в то время как 18 обвиняемых — это конкретные лица, их имена взяты автором из материалов реального судебного процесса. П. Вайс говорит во вступительной заметке к драме, что для него они являются в то же время символами системы, ответственной за злодеяния Освенцима.

Подведём некоторые итоги.

Высказывания ведущих и комментаторов действия в драмах М. Фриша и Фр. Дюрренматта делают текст открытым для *диалога с адресатом*, что является, как известно, одним из проявлений интертекстуальности (в широком значении этого термина).

В партиях хора реализуется *прототипическая интертекстуальность*: в них актуализованы типологические характеристики хора античной трагедии как на уровне функциональном, так и на композиционно-стилистическом. В драме Фр. Дюрренматта «Der Besuch der alten Dame» есть модифицированные цитаты из трагедии Софокла «Антигона», то есть имеет место и *межтекстовая интертекстуальность*.

В драматических произведениях П. Вайса представлен широкий спектр явления *интердискурсивности*.

В соответствии со своей теорией документального театра П. Вайс интегрирует в художественный дискурс драмы различные элементы дискурса документального: высказывания исторических лиц, сообщения прессы, документальные источники. Исторически документированная основа интерпретируется автором с культурно-идеологических позиций современного автора.

Вторая линия интердискурсивных и интертекстуальных связей в проанализированной драме о гибели Марата — это обращение автора к художественной стратегии немецкого народного театра-балагана: фигура глашатая, традиционные костюмы-маски, аллегорические фигуры.

В текстовую ткань драмы интегрированы кодовые системы других видов искусства: полноправным «действующим лицом» является музыка, которая тематически развивается вместе с действием, предвосхищая или сопровождая его. Включены также пантомима, танец, пение, которые коррелируют с речью персонажей и придают ей символический смысл или гротескный характер. Таким образом *интердискурсивность* приобретает более широкий характер, проявляясь во взаимодействии вербального, визуального и акустического кодов, и трансформируется в поликодовость, которая, однако, реализуется в полном объеме лишь при сценическом воплощении произведения.

* * *

АРНОЛЬД И. В. 1999. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность. Сборник статей. СПб.

АНДРЕЕВА В. А. 2006. Литературный нарратив: текст и дискурс. СПб. «Норма».

ARISTOTELES. 1961. Poetik. Stuttgart: Reclam.

BRECHT B. 1970. Vergnuegungstheater oder Lehrtheater? In: Brecht B. Ein Lesebuch fuer unsere Zeit. Berlin u. Weimar: Aufbau-Verlag.

THEORIE DES DRAMAS. 1995. Hrsg. U. Stachle. Stuttgart: Phil.Reclam jung.

Источники и принятые сокращения

DUERRENMATT: Fr. Duerrenmatt. Der Besuch der alten Dame. // Duerrenmatt Fr. Komoedien. Zuerich: Die Arsche 1957

FRISCH 1 : M. Frisch. Santa Cruz // Frisch M.

Gesammelte Werke. Bd. II-1. Frankfurt / M: Suhrkamp 1976

FRISCH 2 : M. Frisch. Biedermann und die Brandstifter // Frisch M. Stuecke. Leipzig : Reclam 1973

WEISS 1 : P. Weiss. Das Material und die Modelle. Notizen zum dokumentarischen Theater // Weiss P. Dramen. Bd.2 Frankfurt / M.: Suhrkamp 1968

WEISS 2 : P. Weiss. Marat/Sade. Die Ermittlung // Weiss P. Stuecke. Berlin: Henschelverlag 1977.

Т. В. Юдина

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА

В связи с бурным развитием международных контактов перевод как профессиональная деятельность постоянно находится в центре внимания заинтересованных лиц. Многочисленные публикации говорят о стремительном росте теоретических исследований в этой области. Теория перевода — наука, в которой смыкаются интересы многих научных областей знаний, поэтому представляется вполне естественным, что разработка теоретических оснований переводческой деятельности ведется в основном на базе ключевых понятий и терминологического аппарата смежных наук. В настоящее время теория перевода опирается на научные результаты, полученные в семантике, лингвистике текста, прагмалингвистике, теории дискурса, теории коммуникации, нейролингвистике, компьютерной лингвистике и других областях знаний.

Одной из важнейших задач теории перевода является изучение процесса перевода как совокупности действий, которые совершает переводчик в процессе своей профессиональной деятельности. Результатом такого изучения стала разработка моделей перевода, рассматривающих переводческий процесс с тех или иных позиций. Было бы неправильным ожидать, что теоретическая модель перевода решит все проблемы, с которыми сталкивается переводчик. Как правило, модель формулирует набор стратегий для решения проблем, возникающих в процессе перевода, и координирует действия, направленные на решение этих проблем. Модель представляет собой попытку описать, а не объяснить переводческий процесс. Объяснение может быть сделано с помощью теории. Если модель отвечает на вопрос «что?», то теория отвечает на вопрос «почему?». Данная статья посвящена рассмотрению некоторых теорий, разрабатываемых в рамках современной лингвистики текста, значимых для объяснения ключевых проблем теории перевода.

Лингвистика текста не является обозначением одной теории или метода. Это наука о текстах. Любое коммуникативное событие представляет собой текст и поэтому может быть предметом

рассмотрения этой науки. Возможность опоры на лингвистику текста при разработке теории перевода впервые отметил Ю. Найда, который писал о том, что теория перевода должна принимать во внимание общие признаки текстов, которые он назвал «универсалиями дискурса». Поскольку «универсалии дискурса» имеют различные средства выражения в разных языках, для изучения процесса перевода, по мнению автора, актуализация данных «универсалий» в текстах представляет особый интерес [Nida, 1975]. Ю. Найда, раскрывая понятие динамической эквивалентности и противопоставляя ее формальной эквивалентности, обращает внимание на изменение коммуникативной ситуации при переходе от исходной культуры к принимающей культуре, отмечает прагматические факторы, которые обуславливают смысл сообщения переводчика. В его трудах перевод рассматривается как акт коммуникации, и современные исследователи справедливо называют его «предвестником современной коммуникативной теории перевода» [Львовская, 2008: 27].

В современном переводоведении трактовка процесса перевода как коммуникативного акта стала нормой. Для этого есть все основания. Процесс перевода предполагает обмен информацией, он является промежуточным звеном в процессе межъязыкового общения «разноязычных» коммуникантов. Процесс перевода также как и любой другой вид передачи информации в коммуникативном акте может быть описан терминами теории информации. Так, для осуществления процесса перевода необходимы следующие составляющие: источник информации (отправитель), устройство, преобразующее информацию в иную форму (переводчик), канал коммуникации (языковой), обеспечивающий передачу сообщения в письменной или устной форме, принимающее устройство (получатель). Важнейшим компонентом коммуникативного акта является код, в качестве которого в вербальной коммуникации выступает язык. В процессе передачи сообщения оригинала через канал связи происходит замена первоначального кода другим, в результате чего реципиент получает сообщение-перевод [Тюленев, 2004: 10–13]. Процесс коммуникации в подобном случае будет иметь опосредованный характер, а гарантом ее обеспечения является переводчик, который попеременно выступает то в роли получателя, то в роли отправителя информации.

Существенное добавление к характеристике процесса перевода как коммуникативного акта было сформулировано автором интерпретативной модели перевода Д. Селескович. Согласно данной модели, в процессе перевода переводчик не ограничивается операцией перекодирования сообщения путем механической замены языковых единиц оригинала соответствующими единицами на языке перевода. Он должен понять смысл сообщения и выразить его на другом языке. Необходимость опоры на смысл в процессе перевода отмечается и отечественными переводчиками и теоретиками переводоведения: А. В. Федоровым, Л. С. Бархударовым, В. Н. Комисаровым и другими. Согласно интерпретативной модели процесс перевода включает три этапа: понимание, предполагающее выделение смысла, девербализацию — абстрагирование от языковой формы и ревербализацию — выражение смысла на языке перевода [Seleskovitch, Lederer, 1995; Lederer, 2003; Бодрова-Гоженмос, 2002].

Критика данной теории, как правило, сосредоточена на том, что в ней процесс перевода на стадии восприятия представляется как *«извлечение смысла, минуя его языковое выражение»* [Сдобников, Петрова, 2006: 246], как *«извлечение смысла, минуя языковое содержание»* [Алексеева, 2004: 148].

Действительно, в работах Д. Селескович и М. Ледерер, большинство из которых были написаны в 70-е года, не раскрывается значение терминов, которые они используют. Очевидно, что авторы не ставили перед собой такой задачи. Несмотря на бурное развитие лингвистики текста, которое происходило в тот период, многие понятия оставались малоизученными или пока еще не подвергались исследованию. В частности, недифференцированное использование терминов «значение», «семантика», «содержание», «смысл» текста или высказывания было свойственно исследованиям того времени. В настоящее время накоплен достаточно богатый материал, который позволяет, и дифференцировать эти понятия, и проследить их взаимосвязь. Труды, посвященные процессам смыслообразования в тексте, убедительно демонстрируют, что процесс вычленения смысла текста не означает отрыва от его языкового содержания. Понятия «содержание текста» и «смысл текста» соотносятся с понятиями поверхностной (содержательной) и глубинной (смысловой) структуры текс-

та. Содержание текста есть *«результат взаимодействия значений языковых единиц, входящих в текст»* Это семантическое целое, элементами которого являются *«взаимодействующие речевые реализации языковых (лексических, лексико-грамматических, грамматических) значений»*, выраженных средствами данного текста. Смысл текста как явление более высокого уровня складывается из взаимодействия содержательной структуры текста с контекстуальной, ситуативной и энциклопедической информацией, он зависит от тезауруса читателя и связан с актуализацией прошлого опыта, знания, оценочно-эмоциональных компонентов сознания личности [Тураева, 1986: 14]. По сути своей смысл является коммуникативной и субъективной категорией, но процесс смыслообразования невозможен без опоры на языковое значение текста (его семантику, содержание). Смысл текста — это информация, вытекающая из содержания текста, которое определяется конфигурациями конкретных языковых значений в их речевых реализациях. В современных работах, развивающих интерпретативную теорию перевода, взаимосвязанность смысла и языкового содержания отчетливо прослеживается. В качестве примера приведем описание трех стадий переводческого процесса в статье Т. И. Бодровой-Гоженмос:

«— понимание смысла, возникающего в результате синтеза актуализированных в речи языковых значений и когнитивных дополнений, относящихся к данному тексту;

— девербализация, в процессе которой переводчик отделяет языковую форму от содержания, абстрагируясь от языковых единиц и сохраняя в памяти лишь смысл, который удерживается без языковой опоры;

— ревербализация или выражение этого смысла средствами другого языка» [Бодрова-Гоженмос, 2002].

Таким образом, смысл является одним из ключевых понятий теории перевода. На стадии восприятия текста, предназначенного для перевода, смысл является результатом его декодирования; на уровне порождения перевода смысл программирует отбор и распределение языковых единиц и тем самым задает ту или иную форму текста-перевода.

Утверждение коммуникативной парадигмы в филологии привело исследователей к признанию текста основной и высшей

единицей коммуникации. Понимание процесса перевода как коммуникативного акта говорит о включении понятия «текст» в концептуальную систему теории перевода [Алексеева, 2004; Сдобников, Петрова, 2006; Тюленев, 2004; Seleskovitch, Lederer, 1995; Lederer, 2003 и др.]. Убедительным примером этого может служить следующее определение: «...под переводом понимается такой вид языковой (устной или письменной) деятельности человека, который может быть охарактеризован как би- или полилингвистический и в результате которого создается текст, репрезентирующий текст-оригинал на языке перевода» [Тюленев, 2004: 18]. Таким образом, текст является объектом анализа на первом этапе перевода и предметом синтеза на заключительном этапе переводческого процесса. Проблема определения единицы перевода (транслатемы) в таком случае оказывается тесно связанной с проблемой вычленения единицы текста. Следует отметить, что вопрос о единице перевода поднимается в связи с процессом перевода, а не с переводом как текстом, результатом перевода. Учитывая, что опорой в процессе перевода является смысл, то представляется логичным принимать за единицу перевода фрагмент текста относительно законченный по смыслу. Относительная смысловая завершенность — один из критериев выделения сверхфразового единства (СФЕ) в лингвистике текста. Для вычленения единицы перевода также существенным является вывод о том, что «в основе членения текста на СФЕ лежит определенное членение экстралингвистической действительности (реальной или идеальной, связанное с обменом информацией и семиологически значимое» [Тураева, 1986: 116]. Единица перевода, также как и СФЕ не имеет фиксированной длины, более того, в процессе синхронного перевода ее конечная граница «необозрима» с самого начала как в процессе письменного или устного последовательного перевода. М. Ледерер в качестве единицы перевода в процессе синхронной переводческой деятельности предлагает принять за единицу перевода единицу смысла — смысловой сегмент, формирующийся в результате сознательных и бессознательных мыслительных операций в процессе восприятия текста переводчиком [Lederer, 2003: 18-19]. Представляется, что в данном случае единица перевода маркируется нарушением преемственности тема-рематической цепочки и смены микротемы. Рассмотрение единицы тек-

ста в качестве единицы перевода соответствует функционально-коммуникативному подходу к переводческой деятельности, согласно которому текст перевода должен сохранить коммуникативную интенцию автора и произвести соответствующее впечатление на реципиента. Поэтому перед переводчиком стоит задача не только передать смысл отдельных фрагментов текста, но и направить его по единому коммуникативному руслу. В этом случае будет создан текст-перевод, равнозначный тексту-оригиналу по смысловой структуре и коммуникативной цели.

Вычленение смысла на этапе восприятия в процессе перевода подразумевает анализ текста оригинала. Анализ текста, традиционно называемый предпереводческим анализом, является важной составляющей переводческого процесса, поскольку направлен на осмысление текста и выработку стратегии перевода: он способствует точному восприятию текста оригинала, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в процессе перевода, намечает пути решения проблем. Наиболее продуктивным в этом плане представляется анализ текста с опорой на текстовые категории. Характер функционирования текстовых категорий в речевом произведении дает возможность взглянуть на текст или его фрагмент как единое семантическое целое, что является принципиальным моментом для последующих этапов перевода — дегербиализации и ревербиализации. В зависимости от специфики текста — его стилевых и стилистических особенностей, прагматической цели, переводчик в различной степени может концентрировать свое внимание на изучении тех или иных текстовых параметров, но в поле зрения неизбежно попадают такие категории как авторская интенция, адресованность, модальность и информативность текста, категория времени, связность текста на синтаксическом и семантическом уровнях (когезия и когерентность), членение текста (структурно-композиционное и актуальное), тональность текста, категории причины и следствия, интертекстуальность текста.

Алгоритмы анализа письменного и устного текста различны, поскольку условия протекания этих двух видов деятельности существенно отличаются друг от друга. Основными факторами, которые определяют эти различия, являются фактор времени, «канал общения», условия переводческой деятельности. Пере-

водчик письменного текста находится в этом смысле в более благоприятных условиях, он имеет возможность с помощью текстовых категорий рассмотреть (в прямом и переносном смысле) поверхностную структуру текста и проникнуть в его глубинные слои. В случае устного перевода, переводчик иногда имеет заранее в своем распоряжении текст-оригинал и возможность проанализировать его по всем необходимым параметрам, но часто у него такой возможности нет, и он вынужден прогнозировать возможные трудности по информации работодателя о тематике встречи или конференции, условиях работы и участниках. Предпереводческий анализ в таком случае состоит из двух этапов: первый этап — прогнозирующий анализ с опорой на категории, позволяющие изучить автора, реципиента, возможные интертекстуальные связи текста-перевода; второй — непосредственно в процессе перевода, направленный на вычленение смысла на основе предыдущего этапа анализа и собственного тезауруса.

Изучение текстовых категорий предполагает и изучение средств выражения той или иной категории в тексте. Поэтому, фокусируя свое внимание на особенностях функционирования той или иной категории в тексте, переводчик получает представление о лингвистических (лексических, синтаксических) и лингвостилистических особенностях данного текста — стилистических приемов и экспрессивных средств, средств выдвижения информации.

На первый взгляд, анализ текста с опорой на аппарат текстовых категорий сосредоточен только на изучении его категориальной семантики, но при более глубоком рассмотрении он расширяет рамки собственно текстовой структуры и позволяет выйти на другие уровни анализа. Подобный подход к предпереводческому анализу текста базируется на понимании текста как единицы, репрезентирующей дискурс. По своей сути — это семантико-смысловой анализ, ориентированный на вычленение смысла речевого образования. Такой подход подводит к проблеме соотношения понятий «текст» и «дискурс» в контексте переводческой деятельности.

Изучение дискурсивной деятельности переводчика с учетом когнитивных и психологических процессов, характерных для личности в процессе осуществления этой деятельности, — одно из направлений, которое еще только разрабатывается перевод-

ческой наукой, но совершенно очевидно, что процесс перевода по сути своей является коммуникативным событием, происходящим в конкретном социокультурном контексте.

В процессе своей профессиональной деятельности переводчик выступает одновременно и как субъект восприятия, и как субъект порождения текстов, в сознании которого происходит мгновенная когнитивная обработка данных в обоих направлениях. Все тексты, «создаваемые человеком, произносимые и воспроизводимые им в графическом виде тексты внутри коммуникативного континуума, и составляют понятие дискурса» [Олянич, 2007: 38–39]. При таком подходе мы можем говорить о том, что переводчик в процессе своей профессиональной деятельности имеет дело не с переводом отдельного изолированного текста (устного или письменного), а с переводом текста, репрезентирующим некий тип дискурса. Правомерность такой трактовки подтверждает определение Н. Д. Арутюновой, в котором дискурс определяется через понятие «текст», раскрывая тем самым взаимосвязь этих двух понятий: «Дискурс — связный текст в совокупности с экстралингвистическими — прагмалингвистическими, социокультурными, психологическими и другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания ... Дискурс — это речь, «погруженная в жизнь» ... в отличие от термина «текст», дискурс не применяется к древним и другим текстам, связи которых с живой жизнью не восстанавливаются непосредственно» [Арутюнова, 1990:136-137].

Таким образом, при трактовке процесса перевода как разновидности дискурсивной деятельности, представляется целесообразным употреблять термин «дискурс» в широком смысле по отношению к текстам вместе с их экстралингвистическими характеристиками, а термин «текст» в узком смысле как элемент некоторой дискурсивной макросистемы. Переводческий дискурс является средой порождения текстов-переводов, с другой стороны, тексты-переводы обеспечивает лингвистическую репрезентативность переводческого дискурса.

В заключение отметим, что введение в теорию перевода и освоение в ней таких понятий как «текст», «категории текста»,

«смысл текста», «дискурс» и рассмотрение их в качестве основополагающих позволяет говорить о преодолении лингвоцентрического подхода к описанию переводческого процесса. Кроме того, вклад лингвистики текста в теорию перевода отражает систему отсчета для оценки качества перевода. Сегодня при оценке перевода учитывается, прежде всего, точность и полнота переданного смысла при сохранении коммуникативной цели, а не только форма языкового выражения.

АРУТЮНОВА Н. Д., 1990. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. М.

АЛЕКСЕЕВА И. С., 2004. Введение в переводоведение. М.-СПб.

БОДРОВА-ГОЖЕНМОС Т. И., 2002. Процесс перевода с точки зрения интерпретативной теории // Социокультурные проблемы перевода. Воронеж.

ЛЬВОВСКАЯ З. Д., 2008. Современные проблемы перевода. М.

ОЛЯНИЧ А., 2007. Презентационная теория дискурса. М.

СДОБНИКОВ В. В., ПЕТРОВА О. В., 2006. Теория перевода. М.

ТЮЛЕНЕВ С. В., 2004. Теория перевода. М.

LEDERER M., 2003. The Interpretive Model. Manchester.

NIDA E. A., 1975. Language Structure and Translation. Stanford.

SELESKOVITCH D., LEDERER M., 1995. A Systematic Approach to Teaching Interpretation. Brussels.

ГОЛОСА МОЛОДЫХ

Интеллектуальные усилия диссертанта должны быть направлены не только на то, чтобы изложить своё открытие или вклад в избранную область знания, но и на то, чтобы убедить адресата в полезности этого вклада в науку.

И. В. Арнольд

А. Г. Ахиярова

О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ РАЗРЯДАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

В современной лингвистике имя прилагательное рассматривается в разных аспектах и направлениях. Одна из первых лингвистических проблем, которая возникает при рассмотрении имен прилагательных, касается их деления на лексико-грамматические разряды. Согласно традиционной классификации в русском языке прилагательные как особая лексико-грамматическая группа делятся на качественные, относительные и притяжательные, но, по мнению многих исследователей, подобная классификация недостаточно ясна и это порождает различные истолкования.

Ахманова О. С. в Словаре лингвистических терминов дает следующее определение имени прилагательного: Прилагательное — часть речи, характеризующаяся категориальным значением признака, грамматической категорией степеней сравнения, рода, падежа, числа, синтаксическим употреблением в функции определения (атрибутивная функция) и предикативного члена и развитой системой словообразовательных моделей. В словаре представлены следующие разряды имен прилагательных:

- качественное прилагательное, обозначающее качество предмета непосредственно, т. е. без отношения к другим предметам;
- относительное прилагательное, обозначающее качество предмета по отношению к другим и произведенное от именных основ;

• притяжательное прилагательное, обозначающее принадлежность одному лицу или животному, т.е. содержащее в себе указание на обладателя и характеризующееся особой парадигмой словоизменения [Ахманова, 2004].

В. В. Виноградов устанавливает три основных типа прилагательных по различиям системы склонения:

1. основной, качественно-относительный;
2. притяжательный;
3. местоименный.

В разряде качественно-относительных прилагательных Виноградов В.В., в свою очередь, выделяет:

1. качественные;
2. относительные;
3. двойственные прилагательные [Виноградов, 1986].

Виноградов В. В. пишет, что притяжательные прилагательные, подобно указательным местоимениям, несут функцию индивидуализирующего обособляющего указания на принадлежность одному существу, единичному обладателю (сестрин платок, отцовский дом, кошкин хвост). Местоименные имена прилагательные выделяются лексическим значением и грамматическим строением и представляют собой непродуктивную группу. Продуктивным является разряд качественно-относительных имен прилагательных. На наш взгляд, Виноградов В. В. объединяет качественные и относительные прилагательные в один разряд, в силу того, что граница между ними очень условна. Более того, во всех относительных прилагательных потенциально заложен оттенок качественности, который, в определенных сочетаниях, развивает эти значения (золотое сердце — золотая осень, золотые руки).

С позиций прототипической семантики качественно-относительные прилагательные представляют собой прототипическое ядро этой части речи.

Согласно Виноградову В. В. сердцевину (ядро) класса имени прилагательного также составляют качественно-относительные прилагательные, тогда как притяжательные и местоименно-указательные прилагательные находятся на его периферии.

Иванова И. П., Бурлакова В. В., Почепцов Г. Г. в книге «Практическая грамматика английского языка» также говорят о

полевой структуре прилагательного. Они считают, что ядро поля прилагательного занимают качественные прилагательные, так как они имеют способность передавать степень интенсивности качества, могут занимать любые синтаксические позиции, свойственные прилагательным, и способны выступать в синтаксических функциях, свойственных существительному — в функции подлежащего или дополнения. Относительные прилагательные не принадлежат ядру поля, так как многие из них не могут передавать степень свойства. На периферии поля находятся прилагательные с неполными синтаксическими функциями [Иванова, Бурлакова, Почепцов, 1981].

Харитончик З.А. дает следующее определение имени прилагательного: «Имя прилагательное — это часть речи, которая обозначает признак, свойство, качество. Этот класс качественно-относительных прилагательных «выступает в качестве фундамента для раскрытия ономаσιологической сущности адъективной лексики»». [Харитончик, 1986: 8].

Известно, что различение качественных и относительных прилагательных достаточно трудно, но тем не менее лексико-словообразовательные особенности качественных прилагательных, выделенные Виноградовым В.В., позволяют это сделать.

Качественные прилагательные имеют следующие особенности:

- полную и краткую форму;
- степени сравнения;
- возможность образовывать от большей их части наречия;
- способность сочетаться с наречиями меры и степени;
- возможность образовывать отвлеченные имена существительные;
- возможность образовывать формы субъективной оценки;
- способность вступать в антонимические пары;
- наличие среди них слов как с непроемной, так и с произвольной основой.

Выделение вышеназванных разрядов прилагательных в традиционной грамматике происходит согласно морфологическим и семантическим критериям.

Арбатская Е. Д. и Арбатский Д. И. в статье «О лексико-семантических классах имен прилагательных в русском языке» предлагают несколько иную классификацию адъективных слов

в современном русском языке. Они выделяют предметно-качественные прилагательные, качественные (качественно-однородные) и качественно-градуальные прилагательные, которые, по нашему мнению, соответствуют традиционным разрядам прилагательных, а именно, притяжательным, относительным, качественным прилагательным, за исключением уточнений, предложенных исследователями.

В традиционной грамматике, как уже было отмечено, предметно-качественные прилагательные соответствуют притяжательным прилагательным. По мнению Арбатской Е. Д. и Арбатского Д. И., значение этих слов далеко выходит за рамки притяжательности. Они выделяют пять основных семантических разновидностей: 1. Действующий агент как характерный признак операции, действия; 2. Производитель, создатель какого-либо предмета, а также творец или автор какого-либо труда как характерный признак созданного или произведенного предмета; 3. Носитель признака, качества, состояния как характерная особенность этих свойств, качеств; 4. Владелец какой-либо вещи, собственности как характерный признак этой вещи, предмета; 5. Объект действия, забот, наблюдений как характерная черта операции.

В традиционной грамматике качественно-однородные прилагательные соответствуют относительным прилагательным. Арбатская Е. Д. и Арбатский Д. И. утверждают, что «несмотря на наличие яркой субстантивной, а также глагольной, наречной и прочей мотивации, качественные прилагательные обозначают, в конце концов, не сами предметы или процессы, обстоятельства, а статические качества, «вытекающие из самой природы предмета» (В. В. Виноградов). Мотивация качественных прилагательных утрачивает свое самостоятельное предметное значение и отходит на задний план, а на передний план выдвигается конкретное качество, свойство конкретных предметов, явлений» [Арбатская Е. Д. и Арбатский Д. И. 1983, с. 55].

Качественно-градуальные прилагательные соответствуют в современной грамматике качественным прилагательным. Согласно мнению исследователей, качественно-градуальные прилагательные обобщают и раскрывают качественное разнообразие окружающего мира, содержат в своем значении указания на неоднородность качества.

Каждый из широких лексико-семантических классов, представленных Арбатской Е. Д. и Арбатским Д. И., подразделяются, в свою очередь, на несколько семантических подклассов. Главное различие между этими разрядами исследователи видят не в мотивированности или немотивированности, не в способе их восприятия, а в самом характере качественного значения. Исследователи полагают, что каждый из указанных разрядов отражает особую область качества с соответствующими компонентами — предметностью, однородностью и неоднородностью, неградуальностью — градуальностью. Лишь совокупность всех этих разрядов и их разновидностей раскрывает наиболее полно весьма широкую категорию качества как специфического значения имен прилагательных [Арбатская, Арбатский 1983].

В. И. Чернов предлагает рассмотреть традиционную классификацию в ином теоретическом аспекте. Он предлагает анализ, основанный на принципе: от функций к форме и семантике слова. Лексико-грамматическая категория представляется в виде трех известных звеньев: форма — семантика — функция слова. В результате своих исследований В. И. Чернов приходит к следующим выводам:

- Относительные прилагательные обозначают признак статический, неизменяемый во времени, постоянно свойственный предмету, объективно ему присущий.
- Качественные прилагательные почти всегда выражают признак, воспринимаемый субъективно, часто в сопоставлении с другими признаками.
- Сфера предикативного функционирования практически принадлежит прилагательным качественного значения, некачественные прилагательные выступают здесь исключительно редко.
- Атрибутивное использование — это единственная синтаксическая позиция, где функционирование прилагательных всех трех разрядов не знает грамматических ограничений.

В. И. Чернов подводит итог, утверждая, что в отличие от качественных, относительно-притяжательные прилагательные обычно не выступают в предикативных, полупредикативных и объектно-предикативных функциях. Они выступают исключительно в атрибутивной роли и вместе с определяемыми существительными образуют семантически замкнутую сложную номинацию [Чернов, 1973].

В статье «On Attributive and Predicative Derived Adjectives and Some Problems Related to the Distinction» Г. Марчанд также исследует прилагательные в их отношении к синтаксису. Он рассматривает производные прилагательные, которые подразделяет на транспозиционные и семантически производные. Г. Марчанд считает ошибочным попытку представителей трансформационной грамматики, а именно, Н. Хомского, объяснить определительные прилагательные как трансформы предикативных предложений. («the boy is tall» ← «tall boy»). Ссылаясь на Женевскую школу лингвистов (Ч. Балли, Г. Фрей), Г. Марчанд утверждает, что относительные прилагательные не могут использоваться в предложении предикативно. В. Винтер поддерживает Г. Марчанда и отмечает, что трансформации Хомского не охватывают все прилагательные, а истинны только для определенного круга прилагательных [Winter, 1965]. Таким образом, Г. Марчанд предлагает следующую синтаксическую классификацию имен прилагательных:

- прилагательные-связки (copular adjectives, semantic or qualifying adjectives), которые могут употребляться преадъективно и предикативно («a nice man» «the man is nice»);
- прилагательные, которые могут использоваться в предложении либо преадъективно (a polar bear, a heavy smoker), либо предикативно [Marchand, 1974].

Как уже было отмечено нами в начале статьи, деление прилагательных на лексико-грамматические разряды является одной из важных лингвистических проблем.

Все вышерассмотренные классификации отражают многоаспектность семантики и функционирования класса адъективной лексики. На наш взгляд, каждая из точек зрения должна быть принята во внимание при разработке более совершенной классификации разрядов имен прилагательных. Но, тем не менее, на наш взгляд, на сегодняшний день, можно с полной уверенностью выделить следующие три разряда прилагательных: качественные, относительно-притяжательные и местоименные прилагательные.

Качественные прилагательные выражают собственно качество прилагательного безотносительно к другому предмету. Качественные прилагательные могут градуироваться по степеням

сравнения, иметь краткие и полные формы, образовывать наречия, вступать в антонимические пары. В предложении они могут выполнять атрибутивную и предикативную функцию. Относительные прилагательные выражают признак и качество предмета через отношение к другому предмету. В предложении они выполняют атрибутивную роль. Лексико-словообразовательные признаки, характерные для качественных прилагательных, контекстуально обусловлены по отношению к относительным прилагательным. Что касается местоименных прилагательных, то, в отличие от двух других типов, они представляют собой замкнутый и непродуктивный разряд прилагательных.

* * *

MARCHAND H., 1974. №. 18. On Attributive and Predicative Derived Adjectives and Some Problems Related to the Distinction. // Studies in syntax and word-formation. — С. 349–369.

WINTER W., 1965. Transforms without Kernels. // Language. № 41. — 484–489.

АРБАТСКАЯ Е. Д., АРБАТСКИЙ Д. И., 1983. О лексико-семантических разрядах имен прилагательных русского языка // ВЯ. №1. — С. 52–65

АХМАНОВА О. С., 2004 Словарь лингвистических терминов. М. изд. 2-е.

ВИНОГРАДОВ В. В., 1986. Русский язык (Грамматическое учение о слове). 3-е изд., М.: Высш. школа

ИВАНОВА И. П., БУРЛАКОВА В. В., ПОЧЕПЦОВ Г. Г., 1981. Теоретическая грамматика современного английского языка. М.: Высш. школа — 285.

ХАРИТОНЧИК З. А., 1986. Имена прилагательные в лексико-грамматической системе современного английского языка. Минск: Вашейш. школа. — С. 96

ЧЕРНОВ В. И., 1973. О функциональном аспекте лексико-грамматической классификации имен прилагательных // РЯ в школе. №5. — С. 82–87.

Е. А. Варлакова

ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН VS ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН (СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

Несмотря на то, что изучение детективного жанра привлекало внимание исследователей, большинство из них являлись литературоведами (А. Адамов, Б. Брехт, А. Вулис, А. Грамши, Д. Д. Карр, Т. Кестхейи, Ю. М. Лотман, Х. Пирсон, Б. Райнов, Д. Сейерс, Дж. Симонс, В. Шкловский, Ю. К. Щеглов, У. Эко). Число работ, посвященных текстотипологическим признакам детектива, т. е. описывающих его с собственно лингвистических позиций, ограничено. Это намечает лакуну в научном знании и определяет актуальность исследования, которое бы могло её заполнить.

«Для того чтобы описать текст и выявить его особенности по сравнению с другими существующими текстами в данном языке, — пишет Ирина Владимировна Арнольд, — необходимо установить термины для сравнения. Невозможно установить своеобразие чего бы то ни было, не зная, что является обычным и из каких возможных вариантов выбрано то, что включено в текст. Чем более четко очерчено обычное, тем заметнее индивидуальные особенности. Для того чтобы установить характерные и повторяющиеся принципы выбора, мы должны знать все те формы, из которых производится отбор» [Арнольд, 2006: 316]. Рассуждения известного ученого представляют очевидную ценность для того, кто занимается сложными проблемами текстотипологии.

Единицей типологического анализа традиционно признается текстотип (тип текста) — «единица более высокого уровня абстракции по сравнению с реальной речевой манифестацией, включающая инвариант смысловой, прагматической и грамматической структур текста и выступающая в виде продуктивной модели, по которой строится абсолютное большинство конкретных текстов» [Руберт, 1991: 6]. Приключенческий детектив (детективный роман) является синкретичным типом текста и занимает промежуточное положение между двумя типами художественного текста: детективным и приключенческим.

В литературоведении детективный жанр традиционно объединяют со всеми приключенческими жанрами, независимо от их формы, в понятие, которое не имеет строго очерченных границ и именуется «приключенческой литературой». К признакам «приключенческой литературы» относятся: «динамичность, острота сюжета, изобилующего загадками, исключительными ситуациями, внезапными поворотами действия, а также резкая психологическая контрастность между положительными и отрицательными персонажами. Сюжеты насыщены преследованиями, похищениями, переходами от опасности к избавлению, неожиданными катастрофами, а действие легко протекает в необычных условиях» [Краткая литературная энциклопедия, 1964: 607]. В данной статье, где «приключенческие тексты» ограничены произведениями крупной жанровой формы, формулируется тезис о текстотипологическом различии приключенческого романа и приключенческого детектива и делается попытка подтвердить это различие на примере приключенческого романа Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада» и приключенческого детектива Элмора Леонарда «Блюз в Тишоминго». Сравнительно-сопоставительный анализ данных текстов позволил сделать следующие выводы:

1. Ключевым концептом, объединяющим приключенческий и детективный роман, является концепт «приключение». «Приключение» — это захватывающее происшествие, неожиданное событие или случай жизни, цепь нечаянных событий и непредвиденных случаев [Словарь русского языка, 1999: 415]. Понятийное ядро концепта «приключение», т. е. его сигнификат, представленный наиболее актуальными ассоциациями, составляют лексические группы, обозначающие «событие», «случай». Концепт «приключение» репрезентируется лексикой, характеризующей необычность одноименного события (*extraordinary, unusual, incredible, breathtaking, exciting, thrilling*), его неожиданность (*suddenly, unexpectedly, surprise, astonishment, wonder*), а также опасность и рискованность (*dangerous, high-risk, to run risks, venturesome, perilous, etc.*).

Ключевым концептом, различающим приключенческий и детективный роман, является концепт «тайна» — он присутствует в детективном романе, как и в любом ином типе детективного текста, который предполагает разгадку тайны преступления,

но отсутствует в приключенческом романе. Текст детективного романа, в отличие от текста приключенческого романа, содержит связанные с концептом «тайна» инвариантные концепты «преступление» и «следствие» [Лесков, 2005: 10]. Понятийное ядро концепта «тайна» составляют лексические группы, обозначающие «знание» и «информацию» [Шейгал, 2002: 20]. Концепт репрезентируется тематической лексикой, характеризующей информацию или ее отсутствие (*secrecy, mystery, enigma, hiding-place, complexity, uncertainty, etc.*) а также лексикой, обозначающей раскрытие тайны (*confession, discovery, evidence, proof, truth, etc.*).

2. Исследуемые типы текстов имеют отчасти сходное лексико-семантическое наполнение, но разное композиционно-сюжетное развитие. Общим для приключенческого и детективного романов является насыщенность исторической, географической и другой информацией, что создает эффект достоверности и объясняет их принадлежность к приключенческой литературе. Тексты изобилуют реальными географическими названиями, датами, именами исторических личностей и другими характерными приметам описываемого места и времени.

В приключенческом романе автора Рафаэля Сабатини главный герой путешествует по морю и главным образом по Европе, поэтому в тексте встречается множество географических названий (*Whitehall, Nimeguen, Nantes, Bridgewater Bay, Dublin, Lyme Reigis, the Barbados, the Curibbean Sea, Puerto Rico*), исторической информации (*the Whigs, the Tory* — названия политических партий) и реальных имен (*Horace, Lovelace*). О принадлежности романа конкретному историческому времени говорят не только временные указатели (*on the 19th of September 1685*), но и имена исторических деятелей (*James Duke of York, M.A. de Ruyter, Feversham, King Louis, King William*), старые названия денег (*livre*) и старые географические названия (*The Spanish Main* — прежнее название испанских владений на северном побережье Южной Америки).

В приключенческом детективе Элмора Леонардо действие происходит в 20 веке (*November 8, 1926*), его герой путешествует по США, поэтому встречающиеся в тексте географические названия связаны с этой страной (*the cliffs of Acapulco, Tunica,*

the Mississippi, New Orleans, Atlantic City, Memphis, Florida, Oklahoma, Panama City). Роман изобилует именами реальных персоналий — певцов и музыкальных групп (*John Lee Hooker, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, Charley Patton, Robert Johnson, the Stones, Led Zeppelin, Eric Clapton*).

Явным отличием детективного романа от приключенческого романа является присутствие в первом криминалистической и научной информации. В приключенческом детективе активно используется специализированная — криминалистическая и судебная лексика (*a prison, the burglary charge, the police, the sheriff's deputy, a gangster, to get the sentence reduced, to scoop up, to get mugged, an extortion, a drug dealer, bail bondsman, a plea deal, to testify, to plead guilty, to get popped, etc.*).

Время действия в приключенческом романе чаще всего максимально отдалено от настоящего момента: его автор выступает как летописец, описывающий читателю события, которые произошли в прошлом. И, наоборот, во всех детективных текстах время должно быть максимально приближено к настоящему, чтобы у читателя создавалось впечатление, что он «вместе» с великим сыщиком участвует в расследовании.

Во всех приключенческих текстах место и время действия могут несколько раз меняться, так как герои романов всегда путешествуют, т. е. перемещаются в пространстве и во времени.

3. В отличие от приключенческого романа, детективный роман имеет особое построение событийного ряда. В приключенческом романе сюжет разворачивается в соответствии с порядком событий: последующее действие вытекает из предыдущего. В детективном романе сюжет разворачивается в обратном порядке: причины и следствия переставлены, а интерес повествования держится на тайне, возникающей в результате инверсии. Тайна разрешается только в самом конце [Бритиков, 1976: 410]. В приключенческом романе имеет место пересечение нескольких сюжетных линий, что не характерно для детективного романа, так как его читатель в течение всего повествования озабочен разгадкой одного события, произошедшего в начале. При этом приключенческий роман наполнен всевозможными вставками (политическая сатира, пародия, философские и лирические отступления, вводные эпизоды и др.), что не характерно для детективного романа, которому

обычно присуща напряженная интрига, а любого рода отступления замедляют динамику повествования. Ограниченное количество персонажей и отсутствие их подробных описаний позволяют читателю внимательно следить за расследованием, не отвлекаясь на маловажные характеристики.

4. Начало приключенческого романа, которое вступает в свои права там, где «нормальный и прагматический или причинно осмысленный ход событий прерывается и дает место для вторжения чистой случайности с ее специфической логикой случайного совпадения и случайного разрыва» [Бахтин, 1975: 242], маркируется характеристиками авантюрного времени — «вдруг» и «как раз». Приключенческая ситуация, изначально немотивированная, развивается от одной случайности к другой. Автор приключенческого романа не ищет объяснения приключениям своего персонажа. Начало и конец детективного романа часто лежат за пределами сюжета, который остается как будто незаконченным, что оставляет возможность для его дальнейшего развития.

5. Типичный персонаж приключенческих текстов, будь то приключенческий роман или приключенческий детектив, смелый, сильный и неутомимый. Он стремится открыть новое, и неизменно оказывается победителем. Он увлекает своим примером, и ему хочется подражать. Система образов в приключенческих текстах полярна: персонажи делятся на врагов и друзей протагониста. И в приключенческом романе, и в приключенческом детективе в портретном описании протагониста внимание акцентируется на нескольких ярких приметах внешности, например, на деталях одежды или особенностях поведения, а главным средством характеристики персонажей становятся поступки (ср. персонажи приключенческих романов Питер Блад, капитан Ларсон, Морис Джераль), (ср. Шерлок Холмс, Филипп Марлоу, Джеймс Бонд). Однако профессиональная принадлежность главного героя приключенческого романа и приключенческого детектива обычно различается. Если в приключенческом романе главный персонаж — капитан, летчик, космонавт, путешественник и пр., то в детективном — он чаще всего имеет отношение к полиции или к частному сыску.

Представляется, что проведенный анализ подтверждает целесообразность отнесения текстов приключенческого романа и

приключенческого детектива, несмотря на их общую приключенческую основу, к разным типам текста. Основание для этого выступает различия ключевых концептов, лексико-семантического наполнения, построения событийного ряда, приемов композиционного развертывания и системы образов.

* * *

АРНОЛЬД И. В., 2006. Стилистика. Современный английский язык. М.

БАХТИН М. М., 1975. Вопросы литературы и эстетики. М.

БРИТИКОВ А. Ф., 1976. Детективная повесть в контексте приключенческих жанров. Русская советская повесть 20–30-х годов. Л.

Краткая литературная энциклопедия., 1964. М.

ЛЕСКОВ С. В., 2005. Лексические и структурно-композиционные особенности психологического детектива. СПб.

РУБЕРТ И. Б., 1991. Типологические характеристики англоязычных малоформатных текстов «рецепт» и «полезный совет». Л.

Словарь русского языка, 1999. М. Т. III.

ШЕЙГАЛ Е. И., АРАЧАКОВА Е. С., 2002. Тезаурусные связи и структура концепта. // Язык, коммуникация и социальная среда. ВГТУ. Воронеж.

Источники и принятые сокращения

RAFAEL SABATINI., 2004. The Odyssey of Captain Blood. М.

ELMORE LEONARD., 2002. Tishomingo Blues. N.Y.

И. С. Вацковская

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Политический дискурс оказывает большое влияние на общественное сознание, широко распространен в средствах массовой коммуникации и неразрывно связан с понятием «манипуляция». Политический дискурс — это отдельная система коммуникации, к которой относят правительственные обсуждения, парламентские дебаты, партийные программы, речи политиков, то есть те жанры, которые принадлежат сфере политики. Политический дискурс — это дискурс политиков. Ограничивая политический дискурс профессиональными рамками, деятельностью политиков, исследователи отмечают также, что политический дискурс в то же время является формой институционального дискурса, то есть он актуализируется в такой институциональной обстановке, как заседание правительства, сессия парламента, съезд политической партии. Иными словами, дискурс является политическим, когда он сопровождает политический акт в политической обстановке [Dijk, 1981: 45].

Важная для средств массовой информации направленность на экспрессивность образов и доступность изложения заставляет искать соответствующие языковые средства, позволяющие наиболее лаконично, ярко, быстро и эмоционально воздействовать на читателя. Поэтому для политического дискурса характерно использование *прецедентных феноменов*.

Прецедентными феноменами называется особая группа вербальных или вербализуемых феноменов, которые известны любому среднему представителю того или иного лингвокультурного сообщества и входят в когнитивную базу этого сообщества [Гудков, 2004: 148]. Прецедентные феномены отражают в тексте национальные культурные традиции в оценке и восприятии исторических событий и лиц, мифологии, памятников искусства, литературы, произведений устного народного творчества [Немирова, 2004: 149].

Выделяют четыре типа прецедентных феноменов: прецедентные ситуации, тексты, высказывания и имена. В данной статье мы ограничимся рассмотрением функционирования прецедент-

ных имен в тестах политического дискурса американских и британских СМИ.

Прецедентным именем (ПИ) называется «индивидуальное имя», связанное или 1) с широко известным *текстом*, относящимся, как правило, к числу прецедентных, или 2) с *ситуацией*, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная, 3) *имя-символ*, указывающее на некоторую эталонную совокупность определенных качеств» [Гудков, 2004: 152]. Прецедентное имя обладает сложной структурой, «ядро которой составляют его дифференциальные признаки, апелляции к которым наиболее частотны, а периферию — атрибуты». Ядро прецедентного феномена имеет горизонтальную структурную организацию: в нем также можно выделить центр и периферию. К центру относятся те компоненты инварианта восприятия, апелляция к которым постоянно наблюдается в коммуникации и которые первыми «всплывают» при восприятии, а к периферии — те компоненты, которые, «не будучи частотными, с точки зрения их использования в общении, позволяют однозначно и адекватно интерпретировать случаи апелляции к ним, если таковая имеет место». Атрибутами прецедентного имени называются некие «элементы», тесно связанные с означаемым ПИ, являющиеся достаточными, но не необходимыми для его сигнификации [Захаренко, 1997: 84].

В рамках концепции Д. Б. Гудкова прецедентные имена подразделяются на те, которые функционируют денотативно (экстенционально), т. е. именуют предмет, указывая непосредственно на денотат, и те, которые функционируют коннотативно (интенционально), т. е. используются для характеристики объекта [Гудков, 2004: 163]. Именно этот подход лежит в основе последующего описания закономерностей использования прецедентных имен в текстах СМИ.

1) Прецедентные имена, функционирующие **денотативно** (экстенционально). «Now this state, who gave us in other times of challenge **John Adams** and **John Kennedy**, has now given us John Kerry, a good man, a great senator, a visionary lead [TG]». Прецедентные имена **Джон Адамс** и **Джон Кеннеди** употреблены здесь денотативно, т. е. указывают именно на широко извест-

тных президентов-демократов. Тот факт, что в один ряд с ними поставлено имя **Джона Кэрри**, позволяет причислить его к «своим», к политикам, которые заслуживают народное одобрение.

2) ПИ, функционирующие **коннотативно (интенционально)**, могут или характеризовать личность / явление по одному или нескольким параметрам или актуализировать другие прецедентные феномены.

а) ПИ, характеризующие личность / явление по одному признаку.

По внешности: «**John F. Kerry** may have the same initials as **President Kennedy**, but he has a far different view of what government should do to help families prosper [НТ]». Здесь в основу характеристики положена схожесть инициалов двух политических лидеров. Таким образом, завуалировано выражается идея противопоставления этих двух личностей, Джон Кэрри представлен антиподом Джона Кеннеди, чье имя в сознании американцев запечатлено с положительной эмоциональной оценкой.

По чертам характера (включая проявление характера в действиях, поведении)

«Twelve years ago when our country needed new leadership, Americans selected a **Democrat**, who gave us eight years of peace, prosperity and promise [НТ]. Имплицитно выражена идея о том, что настоящий кандидат от этой партии будет настолько же успешно управлять страной, как и его предшественник, имя которого здесь даже не указывается. Разумеется, приведенные характеристики позволяют безошибочно определить, что имеется в виду Билл Клинтон.

а) ПИ, характеризующие личность / явление по ряду параметров.

He (G. W. Bush) talked about war. This is the first time the United States of America has ever had a tax cut when we're at war. **Franklin Roosevelt, Harry Truman**, others, knew how to lead. They knew how to ask the American people for the right things» [НТ]. Прецедентные имена **Франклин Рузвельт** и **Гарри Трумэн** характеризуются по двум признакам, необходимым лидеру нации: умение вести за собой и умение убедить нацию в том, что для нее необходимо в данный момент, даже если ей это не нравится. Но в предложенном контексте эти прецедентные

имена противопоставлены Дж. Бушу, а следовательно, демонстрируется, что указанные характеристики ему не присущи.

Использование прецедентных имен в текстах политического дискурса обусловлено, прежде всего, эффектом экспрессивности, практически всегда возникающим при их употреблении, что способствует созданию в сознании читателей ярких нерасчлененных образов, а не дискретных феноменов [Демьянков, 2006: 75].

Экспрессия тесно связана с оценкой. Оценка, выраженная с помощью прецедентного имени, не может быть нейтральной, она эмотивна и субъективна, хотя СМИ стараются это скрыть, сохраняя претензию на объективное отражение действительности [Нахимова, 2005: 45].

Если реальное лицо обозначается прецедентным именем, то ему не только приписывается определенный комплекс характеристик, но с помощью этого имени данное лицо включается в определенный сюжет, находящий свое воплощение в прецедентном тексте и / или в прецедентной ситуации. Указанному лицу приписываются действия, заданные той позицией, которая представлена в сюжете, той моделью поведения, которая характерна для соответствующего персонажа [Немирова, 2004: 71].

При оценке эффективности использования прецедентных феноменов в политическом дискурсе следует учитывать следующие критерии:

1) Политическая уместность прецедентного феномена. Используемые автором прецедентные имена должны в полной мере соответствовать дискурсивным характеристикам текста и особенно представлениям адресата.

2) Социальная осознанность соответствующего прецедентного имени в качестве носителя определенных качеств.

3) Доступность используемого прецедентного феномена для читателей, на которых ориентируется соответствующее издание, способность читателей уловить смысл соответствующего образа.

4) Достаточная корректность и недвусмысленность использования прецедентного феномена. Незамеченная вовремя политиком возможность двоякого понимания фразы отвлекает внимание от авторского замысла [Немирова, 2004: 83].

Прецедентные феномены в целом и прецедентные имена в частности играют важную роль в консолидации того или иного

социума — именно общность стоящих за ними представлений и связанных с ними оценок служит осознанию членами некоторой социальной группы своего единства.

* * *

ГУДКОВ Д. Б., 2004. Теория и практика межкультурной коммуникации. М.

ДЕМЬЯНКОВ В. З., 2006. Язык СМИ и тексты политического дискурса.

КРАСНЫХ В. В., ГУДКОВ Д. Б., ЗАХАРЕНКО И. В., БАГАЕВА Д. В., 1997. Когнитивная база и прецедентные феномены в системе других единиц и в коммуникации // Вестник Моск. ун-та. Сер. 9. Филология. № 3.

НАХИМОВА Е. А., 2005. Прецедентные имена в политической коммуникации // Вестник Уральского государственного технического университета — УПИ. Серия «Филология», № 60 (8). Екатеринбург.

НЕМИРОВА Н. В., 2004. Прецедентность и интертекстуальность политического дискурса. М.

DIJK T. A., 1981. *Studies in the Pragmatics of Discourse*. Mouton.

Источники и принятые сокращения

HT — Herald Tribune

TG — The Guardian

NT — The New York Times

Н. И. Горбунова

**ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СЛОВА
КАК ЭМОТИВНОЕ СРЕДСТВО
В РЕЧИ ЖЕНСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ
В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ**

После признания многими учеными факта влияния фактора пола на когнитивную сферу, а также вербальное и невербальное поведение человека, одним из наиболее интенсивных в этом направлении в последние годы является изучение особенностей и различий в использовании и восприятии языка мужчинами и женщинами.

Гендер является составляющей эмоционального поведения, которое в любом обществе конвенционально, т. е. связано с определенными стереотипами и ритуалами. Эмоции, как сложное понятие, выражающее модификации внутреннего состояния субъекта и его отношение к окружающему миру, объединяют в себе два рода явлений: эмоциональные состояния и эмоциональные реакции. Эмоциональные реакции создают образ человека, раскрывая его эмоциональное состояние через внешние действия. Эмоциональность (или аффективность) часто имеет интенсивное внешнее проявление. По мнению С. Л. Рубинштейна эмоциональность (или аффективность) — это сторона эмоций, обуславливающая динамический аспект деятельности субъекта, связанная с повышением восприимчивости и интенсивностью действия [Рубинштейн, 2005: 562].

В обществе бытует мнение, что эмоциональность, сентиментальность, несдержанность — это специфически женские качества, которые часто порицаются и высмеиваются, что в отличие от мужчин, женщины реже скрывают свои эмоции, чаще выражают «нежные» чувства и чувствуют себя обиженными [Шмульская, 2003: 11; Бакушева, 1995: 12]. Высокая эмоциональность женской речи определяется, по мнению Г. В. Барышниковой, не только психофизиологическими механизмами (функциональной асимметрией мозга женщины), но и социальными и культурными нормами поведения [Барышникова, 2004: 9].

Традиционно способы описания автором эмоционального поведения персонажей классифицируются по предложенной В. И. Шаховским схеме: номинация, дескрипция и экспрессия. Номинация и дескрипция характерны для самого авторского описания и слов автора (номинация эмоций, описание эмоциональных состояний, описание жестового поведения), а экспрессия свойственна сфере персонажа (речи персонажа) [Суркова 2005: 8–9].

Наиболее эксплицитно эмоциональность женщин (как вид экспрессии) проявляется в их речевом поведении, как на лексическом, так и на синтаксическом уровне. Однако большинство лингвистов считают необходимым отметить, что какие-либо особенности невозможно рассматривать как абсолютные маркеры мужского или женского вербального и невербального поведения. Они носят вероятностный характер и отличаются только по частотности и особенностям использования тех или иных языковых средств, поэтому необходим учет ситуативной обусловленности коммуникации [Горошко, 1996; Шмольская, 2003; Барышникова, 2004; Жигайкова, 2004; Суркова, 2005]. Таким образом, в случае одинаковых ситуативных условий можно говорить о преобладании эмотивных средств в речи женщин. Все сказанное можно отнести и к литературным женским персонажам, так как в художественных произведениях отражаются представления авторов о реальном мире и реальных людях. В качестве объекта анализа с точки зрения эмоциональности поведения выбраны женские персонажи в произведениях Г. Воман.

К эмотивным средствам относятся использование междометий, эмоционально-оценочной лексики, часто в гиперболизированном виде, аффективов (сниженной и бранной лексики), лексических и синтаксических повторов, эллиптических предложений, нарушения порядка слов, восклицательных предложений и т.д. Эти средства встречаются и в речи женских персонажей Г. Воман. Как правило, перечисленные эмотивные средства встречаются не изолированно, а в сочетании друг с другом. В одном высказывании, например, могут одновременно употребляться междометия, гиперболизированные эмоционально-оценочные слова и синтаксический повтор:

1) **Angst vor dem Alter?** Die noch junge Schauspielerin wiederholte die Frage des Interviewers. **Oh nein, ganz und gar nicht.**

(стр. 11) (прямая речь актрисы без имени в рассказе „Der Tag mit den Frikadellen“)

Ярким эмотивным средством являются эмоционально-оценочные слова (прилагательные, наречия, причастия), которые героини рассказов Г. Воман часто используют в речи в гиперболизированном виде (в сочетании с интенсификаторами или в превосходной степени), например:

2) Ich glaube, das Alter, das wird etwas ungeheuer Spannendes. Wirklich ich bin gespannt auf das Alterwerden und auf das richtige Alter erst recht. (стр. 12) Актриса без имени в рассказе „Der Tag mit den Frikadellen“ выражает «особый интерес» к процессу старения. Эмотивность целого высказывания усиливается за счет модифицированного лексического повтора слов *Alter* и *spannend*.

Наиболее частотными интенсификаторами эмоционально-оценочных слов в речи женских персонажей в анализируемых рассказах являются: 1) наречия со значениями «ужасно, жутко» (*ungeheuer, furchtbar, schrecklich, entsetzlich, fürchterlich*), 2) наречия со значением «совершенно, полностью» (*absolut, vollkommen, total, komplett, ganz, ganz und gar*), 3) наречия со значением «очень, чрезвычайно, бесконечно, слишком» (*enorm, hochprozentlich, unendlich, riesig, sehr, außerordentlich, zu, extrem*):

1) *ungeheuer viel* (женщина, увлекающаяся батиком), *entsetzlich, absolut verheerend* (Наташа Тренсков), *furchtbar viel* (Мартина Ритчинг), *furchtbar ernst* (Мартина Ритчинг), *furchtbar aufgeregt* (Глория Хаман), *entsetzlich alt* (Фелиситас), *furchterregend heiЯ* (Клэр), *fürchterlich alt* (Фелиситас), *furchtbar rampig* (Фелиситас), *furchtbar unhygienisch* (Альберта), *schrecklich nervös* (Констанция Гримм), *schrecklich langweilig* (Госпожа Цубринген), *schrecklich gern* (Констанция Гримм); 2) *absolut erbärmlich* (Ирена Метц), *absolut verheerend* (Наташа Тренсков), *absolut widerlich* (Госпожа Цубринген), *vollkommen ungeschickt* (мать Мартины Ритчинг), *komplett durchneurotisiert* (мать Мартины Ритчинг), *total verzweifelt* (Мартина Ритчинг), *total fehlbesetzt* (Констанция Гримм), *absolut egal* (Глория Хаман), *total banal* (Глория Хаман), *ganz und gar schrecklich* (Госпожа Брайтбах), *so ganz und gar entsetzlich* (Констанция Гримм), *ganz fürchterlich* (Госпожа Цубринген), *ganz furchtbar* (Регина), *ganz schrecklich*

(Кирстен); 3) *so enorm empfindsam* (Мартина Ритчинг), *hochprozentig interessant* (мать Мартины Ритчинг), *riesig groß* (Мартина Ритчинг), *unendlich viel* (Мартина Ритчинг), *sehr sehr unglücklich* (Мартина Ритчинг), *unendlich groß* (Глория Хаман), *enorm alt* (Фелиситас), *außerordentlich bedeutsam* (Госпожа Цубринген), *extrem ungesund* (мать Мартины Ритчинг) и т.д.

Также встречаются такие интенсификаторы как *unausdenkbar* (*unausdenkbar schrecklich*), *unglaublich* (*unglaublich viel*), *wahnsinnig* (*wahnsinnig interessant*), *brutal* (*brutal grauenhaft*), а также сложные качественные прилагательные с компонентами *tod-* (*todunglücklich*, *todtraurig*, *todernst*), *stink-* (*stinklangweilig*). Иногда в качестве интенсификатора эмоционально-оценочных слов героини произведений Г. Воман использую в речи бранные слова, например: *verdammst stark*, *verflucht adquat*.

Перечисленные словосочетания выполняют в тексте две функции: экспрессивную (выражение различных эмоциональных состояний) и оценочную (характеристика предметов и явлений или выражение отношения к ним), например:

3) *Deine Lieblingsschauspielerin hat recht. Auf das Alter muss man sich einfach furchtbar freuen. Man muss darauf gespannt sein.* (стр. 14) Карола Мунк в рассказе „Der Tag mit den Frikadellen“, имитируя актрису, выражает крайне негативное к ней отношение.

4) *Entsetzlich, absolut verheerend, ich, Idiotin, murmelte die Humoristin vor sich hin.* (стр. 20) Наташа Тренков в рассказе „Beneidenswerte Menschen“ бурно выражает недовольство собой. Эмотивность целого высказывания усиливается за счет использования ругательного слова *Idiotin*.

5) *Jeremias ist doch auch so enorm empfindsam. Vielleicht noch mehr als Libby.* (стр. 36) Мартина Ритчинг в рассказе „Die Mama hat Quartier gemacht“ характеризует друга семьи Еремиаса как очень чувствительного человека и одновременно выражает сильное чувство жалости к нему и его жене, семейной паре Адлеров, которые горюют из-за смерти матери. Чтобы показать силу эмоционального напряжения героини, автор использует два интенсификатора *so* и *enorm*.

Чувство жалости, которое Мартина испытывает к Адлерам, постепенно модифицируется, приобретая негативные коннота-

ции, что также можно проследить на примере эмоционально-оценочных слов в сочетании с другими средствами. В том же рассказе, на стр. 56, встречаем гиперболизированную оценку состояния Адлеров (*todunglücklich*) в косвенной речи Мартины с использованием лексемы *Gewissheit* («уверенность») и последующим глаголом в форме конъюнктива, который придает данной лексеме противоположный оттенок, сомнения и неуверенности. Состояние неуверенности Мартины и впечатление сомнения в искренности чувств героини усиливается за счет использования словосочетания *noch immer*, с помощью которого автор создает своеобразный стилистический контраст (обыденная речь — возвышенная речь):

6) *Sie sind noch immer todunglücklich, berichtete Martina mit der Gewissheit, sie habe den wahren Sachverhalt wiedergegeben.* (стр. 56)

На той же странице погружаемся в мысли Мартины в форме несобственно-прямой речи, где Мартина сравнивает чету Адлеров с парой орангутангов. Подобное сравнение, на наш взгляд, не совсем подходит образу людей, горящих по умершему близкому человеку, и тем самым эксплицирует оттенок презрения в отношении героини к Еремиасу и Либи:

7) *Auch sehr sehr unglückliche Unglücksrabben, Pechvogel von Menschengröße, nahmen Nahrung zu sich, todtraurige Orang Utangs schwangen von einem Balken zum andern.* (стр. 56) В предложении два раза встречаются гиперболизированные эмоционально-оценочные слова, что свидетельствует о сильном эмоциональном напряжении героини.

С помощью эмоционально-оценочных слов автор передает самые разные эмоции в речи женских персонажей. Это может быть:

- — раздражение:

8) *...: Lasst mich bitte ziemlich weit weg vom Christbaum sitzen, der Christbaum ist mir zu radioaktiv.* (стр. 84) (Глория Хаман в рассказе „Ein Fest der Liebe“)

- возмущение:

9) *Ihr benehmt euch völlig idiotisch, schrie die Mami.* (стр. 88) (Глория Хаман в рассказе „Ein Fest der Liebe“)

- нервозность:

10) Der Sturm macht mich schrecklich nervös, werde ich als nächstes sagen, plante sie. (стр. 182) (Констанция Гримм в рассказе „Er saß in dem Bus, der seine Frau überfuhr“)

• скука:

11) Stinklangweilig, rief Cläre. (стр. 156) (Клэр в рассказе „Bald liegt Frankfurt am Meer“)

• недовольство:

12) Der Kaffee ist **verdammt stark**. (стр. 258) (Инга в рассказе „Ein Bündnisfall“) и т. д.

Как видно из выше перечисленных примеров, речь женских персонажей в рассказах Г. Воман изобилует эмоционально-оценочными словами в гиперболизированном виде, которые в сочетании с другими эмотивными средствами позволяют сделать вывод о склонности героинь к эмоциональному вербальному поведению.

* * *

БАКУШЕВА Е. М., 1995. Социолингвистический анализ речевого поведения мужчины и женщины. М.

БАРЫШНИКОВА Г. В., 2004. Гендерные различия эмоционального коммуникативного поведения художественных партнеров (на материале французской литературы 17–20 вв.). Волгоград.

ГОРОШКО Е. И., 1996. Особенности мужского и женского вербального поведения. М.

ЖИГАЙКОВА Е. А., 2004. Английская женская речь. М.

РУВИНШТЕЙН С. Л., 2005. Основы общей психологии. СПб.

СУРКОВА Е. В., 2005. Гендерные особенности авторской репрезентации эмоций художественных персонажей. Волгоград.

ШМУЛЬСКАЯ Л. С., 2003. Особенности женской языковой личности в сопоставлении с мужской. Кемерово.

Н. В. Григорьева

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ВЕЖЛИВОСТИ И К ВОПРОСУ О ЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ

В данной статье мы обсудим существующие в научной литературе теории и определения лингвистической вежливости и проблему ее универсальности. Теория лингвистической вежливости (ТЛВ) занимает ведущее место в исследованиях по прагматике трех последних десятилетий. Существует множество определений вежливости, которые заметно варьируются у различных авторов.

По словам Р. Уоттса и др., «одна из важнейших проблем, касающихся исследований в области вежливости заключается в том, что сам термин «вежливость» либо не имеет четкого определения, либо воспринимается как результат постановки таких рациональных социальных целей, как увеличение выгоды от общения для себя и собеседника, уменьшение ликоущемляющей природы социального акта, проявление адекватного владения общепринятыми стандартами социального этикета, избегание конфликта, попытки, направленные на «гладкое» протекание общения, и т. д.». [Watts et al., 1992: 11]

Одни из ведущих лингвистов, занимающихся проблемой лингвистической вежливости, П. Браун и С. Левинсон определяют вежливость как «основу социального порядка и главное условие кооперации между людьми...» и говорят, что «являясь универсальным принципом человеческих взаимоотношений, феномен вежливости по своей природе отражен в языке» [Brown and Levinson, 1987: xiii].

После выхода в 1987 году книги П. Браун и С. Левинсона «Politeness: Some Universals in Language Usage» появилось множество статей и книг, критикующих их модель вежливости как «реализацию смягчения угрозы лицу». Критика основывалась на том, что их подход не учитывает ни того, как понималась вежливость в англоязычных странах до второй половины XX века, ни того, как сходные лексемы используются в других языках

для описания подобных аспектов социального поведения. Несогласие вызывал рационалистский и индивидуалистский подход к вежливости как к набору стратегий для достижения социальных целей с минимумом социальных трений.

Р. Шмидт и Дж. Ричардс отзываются о понятии «вежливость», описанном Браун и Левинсоном, как о «слишком пессимистичном и весьма параноидальном взгляде на человеческие социальные взаимоотношения». [Schmidt, Richards, 1980: 104]

Выделяют четыре главных подхода к вежливости: (1) вежливость как социальная норма [Hill et al., 1986; Ide, 1989]; (2) вежливость как максимы общения [Lakoff, 1973, 1979; Leech, 1983]; (3) вежливость как защита лица [Brown and Levinson, 1978, 1987]; и (4) вежливость как соблюдение контракта общения (Fraser, 1990). Рассмотрим каждый из подходов подробнее:

(1) Подход к вежливости как к социальной норме предполагает, что «в каждом обществе независимо от возраста есть стандарты поведения, в соответствии с которыми говорящий либо вежлив, либо нет» [Watts et al., 1992: 4]. Б. Хилл и соавторы определяют вежливость как «одно из ограничений человеческого взаимодействия, целью которого является принятие во внимание чувств других людей, создание взаимного комфорта, и стремление к взаимопониманию и согласию» [Hill et al. 1986: 350]. С. Иде [Ide et al., 2005: 281] описывает вежливость как нейтральное понятие, которое используется для обозначения шкалы, варьирующейся от плюс до минус вежливости через нулевую вежливость, где “polite” относится к вежливости со знаком плюс, “impolite” к вежливости со знаком минус, и “non-polite” к нулевой или нейтральной вежливости. Термин «вежливость», однако, обычно относится к краю на шкале со знаком плюс. Сходную позицию занимает Лакофф [Lakoff, 1989], предлагая три типа вежливости: «polite», «non-polite», и «rude».

(2) Подходы Р. Лакофф и Дж. Лича опираются во многом на Принцип Кооперации (ПК) и максимы кооперации Грайса. П. Грайс сформулировал четыре максимы ПК, чтобы объяснить, как происходит «максимально эффективный обмен информацией» [Grice, 1975: 47]. Он утверждает, что люди сотрудничают во время общения и пытаются это делать в самой информативной, правдивой, релевантной и ясной форме. Дж. Лич [Leech,

1983] добавляет к ПК Грайса, свой Принцип Вежливости (ПВ), сходный с «правилами вежливости» Р. Лакофф (1973). Дж. Лич определяет вежливость как «стратегическое избегание конфликта» и утверждает, что вежливость «может измеряться степенью затрат, вложенных в избегание конфликтной ситуации» [Leech, 1980: 19]. Лакофф утверждает, что вежливость вырабатывается обществами для того, чтобы уменьшить трения в личном общении и определяет вежливость как «средство уменьшения риска конфронтации в дискурсе» [Lakoff, 1989: 102].

(3) Взгляд на вежливость как на защиту лица [Brown and Levinson, 1978, 1987] до сих пор является одним из самых влиятельных в лингвистике, он основан на понятии лица. Потребность произнести высказывание, угрожающее лицу адресата, и желание не нарушать прав лица адресата (и своего собственного лица) вступают в конфликт, который приводит к вежливому высказыванию, смягчающему силу ликоущемляющего акта (ЛЮА).

(4) Четвертой концепцией является подход к вежливости как выполнению «контракта общения» [Fraser and Nolen, 1981; Fraser, 1990]. Теория Фрейзера и Ноулена основывается на понятии Контракта Общения (КО), где утверждается, что каждый человек, вступающий в социальное взаимодействие, должен знать перечень прав и обязанностей, которые определяют его/ее поведение. Фрейзер и Ноулен определяют вежливость как «качество, ассоциирующееся с добровольным и сознательным действием» и говорят, что «быть вежливым — значит подчиняться правилам взаимоотношений. Человек становится невежливым, когда он нарушает одно или более условий контракта» [1981: 96].

Г. Каспер воспринимает коммуникацию как «опасное и враждебное стремление» и рассматривает вежливость как набор стратегий для «снятия опасности и уменьшения враждебности» [Kasper, 1990: 194].

Дж. Холмс описывает два понимания слова «вежливость»: всеобщее, принятое в повседневной жизни — «формальное поведение, проявление некой дистанции в отношениях, чтобы показать невмешательство и отсутствие навязчивости. Проявление уважения к собеседнику и избегание оскорбительных и обидных ситуаций». И более широкое определение: «поведение с явно выраженной заботой о других, проявление доброй воли и товари-

щества, так же как и стремление не быть навязчивым» [Holmes, 1995: 4–5].

А. Майер отмечает, что на протяжении уже почти трех десятилетий «вежливость определялась по-разному: как уважение, или почтительное отношение; как формальное поведение; как косвенная, или уклончивая речь; как речь, отмеченная определенными формами; как уместное, или подходящее речевое поведение, и т. д.» [Meier, 1995: 387]. Именно понимание вежливости как уместного речевого поведения кажется нам наиболее удачным.

С. Иде также отмечает, что во всех определениях вежливости сходной является идея уместного использования языка для «гладкого» протекания коммуникации. «Гладкость» коммуникации достигается «с одной стороны через использование говорящим стратегий, которые позволяют его высказываниям быть благосклонно воспринятыми слушающим, и с другой стороны тем, что говорящий использует ожидаемые и предписываемые обществом нормы речи» [Ide, 1989: 240].

Исходя из определения вежливости как уместного или подходящего речевого поведения, по словам Майер (1995), о вежливости можно судить только в связи с определенным контекстом, определенными ожиданиями адресата, и сопутствующей интерпретацией. Таким образом, вежливость является частью значения высказывания, а не значения предложения. Например, определенные формы обращения не будут восприниматься как более или менее вежливые по сравнению с другими, но внутри определенного языкового сообщества они будут нести в себе определенную степень почтительности и уважения, которая может быть либо уместной (вежливой) либо неуместной (невежливой) для данной ситуации. Например, слишком большая степень почтительности в определенной ситуации может быть воспринята, как сверх-вежливость, где «сверх» предполагает неуместное использование речевой формы.

Также нелогичной в свете данной теории будет являться точка зрения Холмс, что «извиняться — значит вести себя вежливо» [Holmes, 1990: 156]. Извинение, или любой другой предположительно «вежливый» речевой акт, может быть воспринят как неуместный (невежливый), если он употреблен неверно для какой-то определенной ситуации, или вследствие того, как, с каким подтекстом он был сказан.

Таким образом, не представляется правильным ставить знак равенства между вежливостью и определенными речевыми актами, а также просодическими, прагматическими, синтаксическими или лексическими маркерами. Ни какой-то определенный язык, ни его носители не могут считаться априори вежливыми или невежливыми по своей природе. У каждого языкового сообщества есть средства для выражения уважения и почтительности, смягчения речевого акта, прямоты и уклончивости и т. д. Мы не можем, однако, утверждать, что эти средства являются универсальными и имеют функциональные эквиваленты в различных языках и культурах. «Бытовое» представление о том, что одна культура является более вежливой по сравнению с другой можно объяснить тем, что в разных языках и языковых сообществах используются лингвистические формы, которые ассоциируются с совершенно разными значениями в сходном контексте.

Вежливость может считаться универсальной только в том смысле, что в каждом обществе есть нормы подходящего поведения, хотя эти нормы и различаются для разных культур. Это верно и для культур, где групповое и общественное берет верх над индивидуальным (как во многих восточных культурах), и для культур, где индивидуум стоит над группой (западные страны). Таким образом, вежливость становится неотмеченным (unmarked) состоянием, не заслуживающим особого внимания, так как она является ожидаемым, уместным поведением [Meier, 1995: 388].

Лингвисты, работающие в области межкультурной коммуникации, отмечает Майер, должны сравнивать языковое поведение носителей различных культур в схожих контекстах и определять модели их восприятия уместного и подходящего поведения. Это поможет избежать использования одного языка и культуры как линейки, с помощью которой измеряются все остальные языки и культуры и тем самым поможет снизить риск этноцентризма. Важно анализировать речевые акты в совокупности с системой социального взаимодействия, рассматривать цели, лежащие в основании использования определенного речевого акта.

В литературе о речевых актах разговорные стратегии английского языка часто интерпретируются как выражение универсальной «естественной логики» [Gordon, Lakoff, 1975], универсальной «логики общения» [Grice, 1975] или универсальных «правил

вежливости» [Searle, 1975]. Такая интерпретация представляется нам крайне этноцентричной. Серль, например, утверждает что “ordinary conversational requirements of politeness normally make it awkward to issue flat imperative sentences (e.g., Leave the room) or explicit performatives (e.g., I order you to leave the room), and we therefore seek to find indirect means to our illocutionary ends (e.g., I wonder if you would mind leaving the room). In directives, politeness is the chief motivation for indirectness” [Searle, 1975: 64]. По словам Вежбицкой [Wierzbicka, 1991: 60], комментирующей данную мысль, «иллюзией было бы считать, что “обычные требования к вежливости в общении делают неловким использование прямых побудительных высказываний”». Это не обычные требования, а требования, уместные в английском языке. Подобным образом, правило о том, что неуместным было бы использовать эксплицитные перформативы, так же является правилом английского языка, а не универсальным правилом». Вежбицкая идет еще дальше, приводя два следующих примера косвенных просьб, которые не являются вежливыми, даже учитывая английские нормы общения и противоречат утверждению Серля, что «вежливость является главной мотивацией для уклончивости»:

Will you bloody well hurry up?
Why don't you shut your mouth?

Из всего сказанного следует, что «говорить нужно не об универсальных правилах вежливости и даже не о правилах вежливости, свойственных английскому языку, а о стратегиях общения в английском языке и об англо-саксонских культурных ценностях» [Wierzbicka, 1991: 60].

* * *

BROWN, P., LEVINSON, S., 1987. *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge.

FRASER, B., 1990. Perspectives on politeness // *Journal of Pragmatics*, 14 (2), 219–236.

FRASER, B., NOLEN, W., 1981. The association of deference with linguistic form // Walters, J. (Ed.), *The sociolinguistics of*

deference and politeness. Special issue of the *International Journal of Language*, 27, 93–111. The Hague.

GORGON, D., LAKOFF, R.T., 1975. *Conversational postulates* // Cole, P., Morgan, J.L. (Eds.), *Syntax and semantics 3: Speech acts*. New York: Academic Press, 83–106.

GRICE, H.P., 1975. *Logic and conversation* // Cole, P., Morgan, J.L. (Eds.), *Syntax and semantics 3: Speech acts*. New York: Academic Press, 41–58.

HILL, B., IDE, S., IKUTA, S., KAWASAKI, A., 1986. *Universals of linguistic politeness* // *Journal of Pragmatics*, 10, 347–371.

HOLMES, J., 1995. *Women, Men and Politeness*. London & New York.

IDE, S., 1989. Formal forms of discernment: Neglected aspects of linguistic politeness // *Multilingua*, 8, 223–248.

KASPER, G., 1990. Linguistic politeness — current research issues // *Journal of Pragmatics*. 14 (2), 193–218.

LAKOFF, R.T., 1973. The logic of politeness; or minding your p's and q's. In *Papers from the ninth regional meeting of the Chicago Linguistic Society*. Chicago, 292–305.

LAKOFF, R.T., 1979. Stylistic strategies within a grammar of style // Orasanu, J., Slater, M., and Adler, L. (Eds.), *Language, sex and gender*. New York: Annals of the New York Academy of Science, 53–80.

LAKOFF, R., 1989. The limits of politeness: Therapeutic and courtroom discourse. *Multilingua*, 8, 101–129.

LEECH, G. N., 1980. *Explorations in Semantics and Pragmatics*. Amsterdam.

MEIER, A. J., 1995. Passages of politeness // *Journal of Pragmatics*, 24, 381–392.

SCHMIDT, R., RICHARDS, J. C., 1980. Speech acts and second language learning // *Applied Linguistics*, 1/2, 129–157.

SEARLE, J.R., 1975. *Indirect speech acts* // Cole, P., Morgan, J.L. (Eds.), *Syntax and semantics 3: Speech acts*. New York: Academic Press, 59–82.

WATTS, R., IDE, S., EHLICH, K., 1992. *Politeness in Language: Studies in its History, Theory and Practice*. Berlin.

WIERZBICKA, A., 1991. *Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction*. Berlin & New York.

К. С. Застёла

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
РАЗЛИЧНОЙ СТИЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА
А. ДЁБЛИНА «БЕРЛИН. АЛЕКСАНДРПЛАТЦ»)**

Вопрос о том, является ли художественная речь функциональным стилем, до сих пор еще вызывает споры. Одни исследователи ставят стиль художественной литературы в один ряд с функциональными стилями, другие считают его явлением иного, более сложного порядка [В. В. Виноградов, 1959: 71]

Э.Г. Ризель в книге „*Stilistik der deutschen Sprache*“ (1959) говорит о сложности выделения стиля художественной литературы как особого функционального стиля, хотя и не возражает против его признания [Riesel, 1959: 421]. По ее мнению определение закономерностей стиля художественной литературы требует специального исследования на материале различных жанров, литературных направлений и индивидуальных стилей.

В работе „*Deutsche Stilistik*“ [Riesel, Schendels, 1975: 19–21] авторы, обращая внимание на специфику стиля художественной литературы, говорят о том, что в систему художественно-изобразительных средств литературного произведения включаются и взаимодействуют в текстовой структуре элементы всех различных функциональных стилей.

Взаимодействие элементов нескольких функциональных стилей проявляется в разной степени и в различных формах в зависимости от жанровой принадлежности произведения и индивидуального стиля автора. Однако, как указывает Э.Г. Ризель, в языковой структуре конкретных текстов всегда можно выделить некую доминанту, характеризующую либо индивидуальный стиль, либо жанровую принадлежность текста. [Riesel, 1974: 21].

В немецкой прозе XX века находит свое место так называемая монтажная техника, пришедшая в литературу из кинематографа. В художественно-изобразительную структуру литературного произведения включаются фрагменты из официальных документов,

из текстов прессы, рекламные слоганы и т.п. Эти иностилевые элементы создают ассоциативный фон изображаемых событий, участвуют в создании художественного хронотопа и образов персонажей.

Роман Альфреда Деблина «Берлин. Александрплатц» представляет собой удачный пример ввода в структуру повествования фактов реальной действительности. Будучи невысокого мнения о форме традиционного романа, Дёблин требовал от литературы научности, вменяя автору в обязанность введение точных и полных наблюдений действительности. Поэтому он помещал в поток повествования множество аутентичных текстов (газетные заметки, письма, объявления и т. п.). Контрастируя с речью повествователя и персонажей, они способствуют реализации языковой полифонии текста, а на содержательном уровне вступают в имплицитный диалог с автором и его героями.

С помощью различного рода иностилевых включений А. Деблин выстраивает образ большого города. Берлин в этом романе не просто место действия, он является протагонистом наряду с главным действующим лицом. Образ города, а это именно художественный образ, создается с помощью фрагментов текстов повседневной коммуникации — названий газет, объявлений, сводок погоды, расписания движения трамваев, предвыборных речей, демографической статистики и др. Картину города дополняют 10 пиктограмм с их дальнейшей расшифровкой, различные вывески. Таким образом автор рисует разные стороны хаотичной жизни города, создавая эффект объективности в представлении города.

Различные документальные вставки имеют языковую и композиционную структуру, соответствующую их назначению в сфере повседневной коммуникации. Включенные в повествовательный контекст, они контрастируют со стилем авторского повествования и обуславливают речевую полифонию текста.

Вставки из нехудожественной коммуникации вводятся в текст по-разному:

✓ Их выкрикивают уличные торговцы, старающиеся привлечь покупателя: „*Zwölf Uhr Mittagszeitung*“, „*B. Z.*“, „*Die neuste Illustrierte*“, „*Die Funkstunde neu*“. Торговцы в данном примере являются второстепенными героями романа, в развитии

сюжета они не участвуют. Вводя их в повествования однажды, автор больше никогда к ним не возвращается. Не упоминаются больше в тексте и названия данных газет. И торговцы, и их зазывные выкрики помогают лишь создать картину города, его атмосферу.

✓ Реклама, объявления вводятся в текст словами главного героя. Франц Биберкопф, прогуливаясь по городу читает на доске объявлений газетные заметки. Это несобственно-прямая речь героя, она не предназначена какому-либо адресату сообщения. Таким способом автор создает картину города глазами главного героя романа. „An der Chausseestraßen-Ecke ist ein Zeitungsstand im Hausflur, da stehen welche, quasseln. — „Dämlack“. Reisebeilage. Wenn in unserem kalten Norden die unangenehme Zeit herangekommen ist, die zwischen schneeglitzernden Wintertagen und erstem Maiengrün liegt, zieht es uns — ein Jahrtausende alter Drang — nach dem sonnigen Süden jenseits der Alpen, nach Italien. Wer so glücklich ist, diesem Wandertriebe folgen zu können. Франц читает объявления, обдумывает их, высказывает свое мнение, давая читателю понять свое отношение, настроение.

Мысли, мнения героя включаются в элементы нехудожественной коммуникации, разрывают их. Таким образом может быть показано негодование героя, его несогласие, непринятие им каких-либо фактов. Например: „Franz liest, während Pums an seinem Schreibtisch herumarbeitet und nur mal was nachsehen will, in einer BZ, die auf dem Stuhl liegt: 3000 Seemeilen in einer NuЯschale vor Günther Plüschow, Ferien und Linienläufe, Lania ‚Konjunktur‘, Piscatorbühne im Lessingtheater. Piscator selbst hat die Regie. Was ist Piscator, was Lania? Was Enveloppe und was Inhalt, also Drama? Keine Kinderehen mehr in Indien, ein Friedhof für preisgekröntes Vieh. Kleine Chronik: Bruno Walter dirigiert sein letztes Konzert in dieser Saison Sonntag, 15. April, in der Städtischen Oper. Das Programm bringt die Es-Dur-Sinfonie von Mozart, der Reinertrag ist für den Fonds des Gustav-Mahler-Denkmal in Wien bestimmt. Kraftwagenfahrer verh., 32 Jahr, Fahrschein 2 a, 3 b, sucht Stellung auf Privatgeschäft oder Lastwagen. В данном примере несобственно-прямая речь разрывает интертекстуальную вставку. Вопросы «Was ist Piscator, was Lania? Was Enveloppe und was Inhalt, also Drama?» являются обо-

собленными предложениями с семантикой оценки, исходящей от персонажа.

В следующем эпизоде герой также читает газеты. Причем в данном примере, с помощью вставки из нехудожественной коммуникации, автор дает характеристику главному герою, рассказывая какие газеты ему больше всего нравятся и почему. Это также несобственно-прямая речь героя, но она так переплетена со словами автора, что при отсутствии каких-либо знаков препинания, вводящих прямую речь, лишь детальное и тщательное изучение отрывка позволяет обнаружить данный интекст. Автор словно вживается в образ героя, идентифицирует себя с ним, читает его мысли. „Franz liest friedlich die Mottenpost und dann die Grüne Post die ihm am besten gefällt, weil da nichts Politisches drinsteht. Er studiert die Nummer vom 27. November ... Da wird in der Zeitung der neue Schwager des Exkaisers getraut, 61 Jahr ist die Prinzessin, der Junge T. das wird sie eine Stange Geld kosten, denn Prinz wird er doch nicht. Kugelsichere Panzerwesten für Kriminalbeamte, daran glauben wir schon lange nicht“.

✓ Названия газет, газетных статей либо выдержки из них „произносят“ и другие герои романа. Силли, подруга героя, вышла на улицу и на площади встретила торговцев газетами. Она целенаправленно купила газету, чтобы убедиться в правдивости слов Франца. Несобственно-прямая речь героини переплетается со словами автора, который описывает ситуацию. „Am Alex riefen die Zeitungshändler den «Montag Morgen» aus, die «Welt am Montag». Sie kaufte sich von einem fremden Händler ein Blatt, sah selbst hin. Ob wo was passiert wäre, ob er recht gehabt hat heut nachmittag. Na ja, ein Eisenbahnunglück in den Vereinigten Staaten, in Ohio, und Zusammenstoß vor Kommunisten mit Hakenkreuzlern, nee, da macht Franz nicht mit, großes Schadenfeuer in Wilmersdorf“.

Повествователь документирует организацию города с помощью вывесок, плакатов: „Und dann ist es drei Uhr nachmittags, über die Straßen gehen Franz und Reinhold, Emailleschilder jeder Art, Emaillewaren, deutsche und echte Perserteppiche, auf 12 Monatsraten, Läuferstoffe, Tisch- und Diwandecken, Steppdecken, Gardinennen, Stores Leisner und Co, lesen Sie die Mode für Sie, wenn nicht, fordern Sie postwendend kostenlose Zustellung, Achtung,

Lebensgefahr, Hochspannung“, или „ ... Da war noch ein Kino. Jugendlichen unter 17 Jahren ist der Eintritt verboten. Auf dem Riesenplakat stand knallrot ein Herr auf einer Treppe, und ein duftendes junges Mädchen umfaßte seine Beine, sie lag auf der Treppe, und er schnitt oben ein kesses Gesicht. Darunter stand: Elternlos, Schicksal eines Waisenkindes in 6 Akten. Jawoll, das seh ich mir an. Das Orchestrion paukte. Eintritt 60 Pfennig“. В приведённых примерах интексты не маркированы. Речь повествователя переходит в рекламный текст или в несобственно-прямую речь героя. Повествователь как бы «растворен» в тексте и создает более «объективную», не связанную определённой точкой зрения, общую перспективу повествования.

Образ Берлина состоит из рекламных слоганов, газетных предписаний — всё, что образует текст города. Также и жизнь людей, обитающих в нем, представлена текстуально. Рассказчик, например, набрасывает будущую биографию некоего Макса Рюста вплоть до его смерти: „Der Junge, Max Rüst, wird später Klempner werden, Vater von 7 weiteren Rüst, wird sich an einer Firma Hallis und Co, Installation, Dacharbeiten bei Grünau, beteiligen, mit 52 Jahren wird er ein Viertel-Los in der Preußischen Klassenlotterie gewinnen, darauf sich zur Ruhe setzen und während eines Abfindungsprozesses mit der Firma Hallis und Co mit 55 Jahren sterben. Данный пример является элементом фикциональности, так как это не факт реальной действительности, а вымысел, фантазия автора. Но писатель так ярко описал жизнь данного персонажа, что некролог о смерти, следующий далее, представлен как элемент реальной действительности. Seine Todesanzeige wird lauten: Am 25. September verschied plötzlich an einem Herzschlag mein inniggeliebter Mann, unser lieber Vater, Sohn, Bruder, Schwager und Onkel Paul Rüst im noch nicht vollendeten Alter von 55 Jahren. Dies zeigt tief betrübt an im Namen der Hinterbliebenen Marie Rüst“. Повествователь предлагает читателю даже дословный текст изъявления благодарности названному берлинцу — таким, каким он появится в газете: „Die Danksagung nach der Beerdigung wird folgenden Text haben: Danksagung! Da es uns nicht möglich ist, jedem einzelnen für die Beweise usw., sprechen wir hiermit allen Verwandten, Freunden, sowie den Mietern des Hauses Kleiststraße 4 und allen Bekannten unsern herzlichsten Dank

aus. Ganz besonders danken wir Herrn Deinen für seine innigen Trostworte.“ Хотя и некролог и текст изъявления благодарности фикциональны, они обладают стилистическими характеристиками объявлений. С помощью подобного приема изображения: через аналогию городской жизни и ежедневной газеты, — Дёблин даёт возможность Городу самому «рассказывать» о себе и обо всём, что в нем происходит ежедневно.

Таким образом, вставки из нехудожественной коммуникации «произносят» как главный герой романа, его друзья, так и уличные торговцы, и случайные прохожие, которые озвучивают то, что они видят, проходя мимо магазинных витрин, кинотеатров, торговых лавок, рекламных стендов или просто находясь дома и читая газету. Практически ни к одному из таких иностилистных включений, упомянув однажды, автор больше не возвращается. Они лишь создают картину города, помогают лучше понять атмосферу того времени, позволяют читателю окунуться в события реальной действительности, происходившие в то время.

* * *

ВИНОГРАДОВ В. В., 1959. О языке художественной литературы. М.

ВАЛГИНА Н. С., 2003. Теория текста. М.

ГОНЧАРОВА Е. А. ШИШКИНА И. П., 2005. Интерпретация текста. М.

ШИШКИНА И. П., 2005. Между документальностью и фикциональностью (К межстилистическому взаимодействию в современной немецкой прозе) // *Studia Linguistica*, XIII. Когнитивные и коммуникативные функции языка.

RIESEL E., 1959. *Stilistik der deutschen Sprache*. М.

RIESEL E., 1974. *Theorie und Praxis der linguostilistischen Textinterpretation*. М., Verlag „Hochschule“.

RIESEL E., SCHENDELS E., 1975. *Deutsche Stilistik*. — М., Verlag „Hochschule“.

Н. В. Константинова

СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПУНКТУАЦИОННО-ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТАМИНАЦИИ РЕЧИ АВТОРА И ПЕРСОНАЖА

В соответствии с теорией текста художественного произведения он состоит из текста рассказчика и текста персонажа. Текст персонажа подчиняется тексту рассказчика и является цитатой внутри него. Несмотря на подчиненное отношение между этими текстами, границы между авторской и персонажной речью могут быть не очевидными. В современной литературе известны различные языковые средства контаминации речи автора и персонажа. К ним, прежде всего, относится намеренное нарушение правил построения авторской и персонажной речи, их графического и пунктуационного выделения.

Джон Максвелл Кутзее, лауреат Нобелевской премии (2003 г.), двукратный лауреат Букеровской премии, получил всемирное признание как писатель «способный выразить невыразимое». Среди лингвостилистических особенностей его прозы можно выделить полифонию текста, где «голос» автора и персонажа сливаются в языковой игре, создаваемой за счет контраста между содержанием высказывания и его синтаксическим и пунктуационно-графическим оформлением.

На смысловом уровне игра строится на основе противопоставления субъективной и объективной информации, передаваемой различными композиционно-речевыми формами. Объективность свойственна речи автора, которая вводит речь персонажа и несет повествовательный, описательный характер. Субъективность передается через язык персонажа, стилистические особенности его речи, обусловленные психологией, биографическими данными, родом деятельности героя, особенностями его восприятия, которые проявляются в случаях однозначного толкования: диалогах, внутренней речи, авторских описаниях.

На языковом уровне происходит соположение данных видов информации посредством асиндетической связи на уровне предложения или смешения различных композиционно-речевых форм на уровне сложного синтаксического целого.

Такую языковую игру можно проследить в романе “Life and Times of Michael K”, отмеченном в 1993 году престижной Букеровской премией. В центре сюжета — судьба молодого южно-африканца Майкла К. В условиях гражданской войны, не имея документов, Майкл вместе со своей матерью покидает разрушенный Кейп Таун и отправляется в Принц Альберт. Скрываясь от полиции, совершая побеги из концентрационных лагерей, главный герой пытается найти смысл существования, занимаясь садоводством на заброшенной ферме, но после уничтожения фермы он вынужден вернуться обратно в Кейп Таун. Книга, написанная в период апартеида, стала мощным протестом против насилия над человеком в лице главного героя, осознающего необходимость достойной духовной жизни.

Синтаксические и пунктуационно-графические средства в произведении служат контаминации авторского и персонажного планов, как на уровне предложения, так и на уровне сложного синтаксического целого.

В тексте произведения проявляется характерное для современной литературы отсутствие принятых пунктуационно-графических маркеров «чужой» речи:

Now was the time. No sooner had they returned to the room than he came out with the plan he had been pondering ever since building the first barrow. They were wasting their time waiting for permits, he said. The permits would never come. And without permits they could not leave by train. Any day now they would be expelled from the room. Would she therefore not allow him to take her to Prince Albert in the cart? She had seen for herself how comfortable it was [Coetzee, 1985: 7].

В качестве пунктуационно-графического разделителя авторской и персонажной речи на уровне предложения выступают запятая, точка с запятой и двоеточие.

Можно выделить ряд приемов синтаксической организации текста, позволяющих соединить авторский и персонажный планы:

1) Повторение слова, конструкции, перифраз мысли, сопровождаемые субъективизацией объективной информации.

2) Асиндетическая связь простых предложений, относящихся к разным видам информации: субъективной и объективной.

3) Частотное чередование авторского и персонажного планов в тексте на уровне предложения или сложного синтаксического целого. Речь персонажа может вводиться пунктуационно и графически немаркированной прямой речью, внутренней речью или несобственно-прямой речью, прерываться речью автора или прерывать ее.

В следующих примерах для наглядности речь автора подчеркнута, а речь персонажа выделена нами курсивом. Первый пример можно представить в виде схемы, где «А» — речь автора — открывает предложение, отмечена заглавной буквой, «ch» — графически и структурно немаркированная речь персонажа — вводится со строчной буквы, так как отделена от авторской речи точкой с запятой в сложносочиненном предложении:

A; ch.

1. He could lie all afternoon with his eyes open, staring at the corrugations in the roof-iron and the tracings of rust; his mind would not wander, he would see nothing but the iron, the lines would not transform themselves into pattern or fantasy; he was himself, lying in his own house, the rust was merely rust, all that was moving was time, bearing him onward in its flow [Coetzee, 1985: 115].

Подчеркнутая часть предложения представлена речью автора. Часть предложения, выделенная курсивом, является несобственно-прямой речью персонажа, передающей его размышления и ощущения.

Второй пример из двух предложений можно изобразить в виде схемы:

A; ch. Ch.

2. He piled the thirty pumpkins in a pyramid near his burrow; it looked like a beacon. They could not be buried, they needed warmth and dryness, they were creatures of the sun [Coetzee, 1985: 118].

Предложение *it looked like a beacon* в позиции между авторской речью и внутренней речью персонажа становится элементом двойного толкования, служащим переходом от объективной информации к субъективной. Такое чередование авторской и персонажной мысли может охватывать целые синтаксические единства, создавая авторско-персонажные структурные параллелизмы:

A: ch. A: ch. A: ch.

3. It was these wild goats, which not only threatened his crop but by their presence rendered the acre conspicuous, that decided him: henceforth he would rest by day and stay up at night to protect his land and till it. At first he could work only on moonlit nights: in the dense blackness when there was no moon he would stand rooted, stretching out his hands, fearful of the looming shapes he imagined about him. But as time passed he began to acquire the confidence of a blind man: with a switch held before him he would make his way along the track he had worn between his house and the field, release the brake on the pump, open the cock, fill his can, and carry water to one vine after another, folding the grass aside to find them [Coetzee, 1985: 103].

Особый интерес представляют случаи совмещения авторской речи, внутренней и прямой речи (в схеме выделяется жирным шрифтом) персонажа.

Ch. A (Ch, a), ch. Ch.

4. Parasite was the word the police captain had used: the camp at Jakkalsdrif, a nest of parasites hanging from the neat sunlit town, eating its substance, giving no nourishment back. Yet to K lying idle in his bed, thinking without passion (What is it to me, after all? he thought), it was no longer obvious which was host and which parasite, camp or town. If the worm devoured the sheep, why did the sheep swallow the worm? What if there were millions, more millions than anyone knew, living in camps, living on alms, living off the land, living by guile, creeping away in corners to escape the times, too canny to put out flags and draw attention to themselves and be counted? What if the hosts were far outnumbered by the parasites, the parasites of idleness and the other secret parasites in the army and the police force and the schools and factories and offices, the parasites of the heart? Could the parasites then still be called parasites? Parasites too had flesh and substance; parasites too could be preyed upon. Perhaps in truth whether the camp was declared a parasite on the town or the town a parasite on the camp depended on no more than on who made his voice heard loudest [Coetzee, 1985: 116].

Размышления Майкла разрываются речью автора, которая подтверждается ремаркой — прямой речью героя, данной в скобках.

Использование несобственно-прямой речи в сочетании с другими речевыми формами само по себе создает сложности разграничения авторского и персонажного планов, так как, в ней происходит совмещение субъектных планов автора и героя. Несобственно-прямая речь может прерываться прямой маркированной автором речью:

Ch. Ch, a. Ch.

5. He sat up feeling stiff and exhausted. Let him not steal my first day from me! he groaned to himself. I did not come back to be a nursemaid! He has looked after himself all these months, let him look after himself a while longer! Wrapped in the black coat he clenched his jaw and waited for dawn, aching after the pleasures of digging and planting he had promised himself, impatient to be through with the business of making a dwelling [Coetzee, 1985: 99].

Ch. Ch, a. Ch. Ch, a.

6. K allowed this utterance to sink into his mind. Do I believe in helping people? he wondered. He might help people, he might not help them, he did not know beforehand, anything was possible. He did not seem to have a belief, or did not seem to have a belief regarding help. Perhaps I am the stony ground, he thought [Coetzee, 1985: 48].

Речь автора может так же вводиться в речь персонажа в скобках, как авторская ремарка: Ch. Ch (a) - ch.

7. In a vast country across whose face hundreds of thousands of people were daily following their cockroach pilgrimages in flight from the war, why should he be alarmed if some refugee or other hid away in an empty farmhouse in a desolate strip of country? Surely he, or they (K had a vision of a man pushing a barrow loaded with household goods, and a woman trudging behind him, and two children, one holding the woman's hand, the other seated on top of the pile in the barrow clutching a mewling kitten, all dead tired, the wind blowing dust in their faces and sending grey clouds scudding across the sky) — surely such people had more cause to fear him, a wild man all skin and bone and rags rising up out of the earth at the hour of batflight, than he had to fear them [Coetzee, 1985: 94]?

Как видно из данных примеров, часто такая синтаксическая организация предложения и чередование различных композиционно-речевых форм создает эффект обманутого ожидания, так как

авторская речь с относительно нейтральной оценочностью, сменяется эмоциональными переживаниями героя, выражаемыми метафорическими образами или синтаксическими повторами.

Переход от автора к персонажу происходит органично, почти незаметно, потому что, во-первых, смысловые отношения, объединяющие отдельные предложения в сложное синтаксическое целое при этом не нарушаются; во-вторых, отсутствуют внешние, графические показатели границ авторского и персонажного поля, в-третьих, используются графико-синтаксические средства сочинительного типа.

За счет такой синтаксической организации отдельных предложений и предложений на уровне сверхфразового единства, сопровождающейся сменой фокуса от субъективной информации к объективной, создается эффект взаимопроникновения двух планов - авторского и персонажного.

* * *

ГОНЧАРОВА Е. А., 1984. Пути лингвистического выражения категории автор — персонаж в художественном тексте. Томск.

КОЖЕВНИКОВА Н. А., 1977. О соотношении речи автора и персонажа // Языковые процессы современной русской художественной литературы. Проза. М.

МАКСИМОВА Н. В., 2005. «Чужая речь» как коммуникативная стратегия. М.

СОКОЛОВА Л. А., 1969. Несобственно-авторская (несобственно-прямая) речь как стилистическая категория. Томск.

ШМИД В., 2003. Нарратология. М.

СОЕТЗЕЕ J. M., 1985. Life and Times of Michael K. USA.

В. В. Меняйло

**КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ,
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ КОНЦЕПТ,
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ —
К УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЙ**

Системное описание сущности концепта и выявление его базовых характеристик является одной из основных задач наиболее перспективного лингвистического направления — когнитивной лингвистики. В последние годы в отечественной когнитивной лингвистике все больше внимания уделяется культурным концептам, вербализованным в текстах художественных произведений, поскольку они обладают специфическим набором характеристик, выделяющих их из среды этноспецифических концептов.

В целом, осмысление понятия «концепт» в лингвистике проводится в рамках двух основных направлений — лингвокогнитивного (Н. Д. Арутюнова, Н. Н. Болдырев, С. Г. Воркачев, В. З. Демьянков, М. Джонсон, Р. Джекендофф, Дж. Лакоффа, Р. Лэнкер, М. В. Никитин, Н. С. Попова, Ю. Д. Стернин, В. Н. Телия, Р. М. Фрумкина) и лингвокультурного (С. А. Аскольдов, Л. Г. Бабенко, А. Вежбицкая, Ю. В. Казарин, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, Д. С. Лихачев, Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов).

Концепт как лингвокогнитивное явление — это «единица ментальных и психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [Кубрякова 1994: 35]. Как полевое образование концепт включает ядерную, приядерную и периферийную зоны (Л.Г. Бабенко, Н.Н. Болдырев, Н.С. Болотнова, З.Д. Попова, И.А. Стернин), как «слоистое» образование — «буквальный смысл» (внутреннюю форму) слова, «исторический» (пассивный) и актуальный («новейший») слои. [Степанов 1997: 55].

Культурный (или реже *лингвокультурный*) *концепт* — это семантическое образование высокой степени абстрактности, ве-

дущим отличительным признаком которого является этнокультурная отмеченность. Под культурным концептом зачастую понимают условную ментальную единицу, используемую в комплексном изучении языка, сознания и культуры. Соотношение культурного концепта с тремя названными сферами может быть сформулировано следующим образом: сознание — область пребывания концепта; культура детерминирует концепт; язык и/или речь — сферы, в которых концепт опредмечивается [Карасик, Слышкин 2001: 76].

Понимание культурного концепта как структуры представления знаний об определенном объекте или явлении действительности, отмеченном этнокультурной спецификой, свойственно большинству современных ученых (Н. Н. Болдырев, В. И. Карасик, Е. С. Кубрякова, Н. С. Попова, Ю. С. Степанов). В. И. Карасик определяет культурный концепт как трехмерное (как минимум) образование, включающее предметно-образную, понятийную и ценностную составляющие.

В концепте находит отражение как коллективный опыт народа (объективная, этническая ментальность; общезначимые признаки), так и индивидуальный опыт его отдельного представителя (субъективная ментальность; индивидуально значимые признаки). Таким образом, можно говорить о коллективных и индивидуальных концептах. Под *индивидуально-авторским концептом* понимается «единица индивидуального сознания, авторской концептосферы, вербализованная в едином тексте творчества писателя» (что не исключает возможности эволюции концептуального содержания от одного периода творчества к другому) [Тарасова 2004], или «единица сознания поэта или писателя, которая получает свою репрезентацию в художественном произведении или совокупности произведений и выражает индивидуально-авторское осмысление сущности предметов или явлений» [Беспалова 2002: 6].

Вместе с тем следует отметить, что в настоящее время термин «индивидуально-авторский концепт» не является устоявшимся. В некоторых работах для обозначения этого явления используют термин «художественный концепт», введенный в терминологический аппарат современной лингвистики С. А. Аскольдовым. Художественный концепт зачастую понимают как составную часть культурного концепта, который также может включать в свое

ядро концептуальные признаки, свойственные всем носителям языка. В работе О. Е. Беспаловой предлагается разграничение понятий художественного и культурного концептов по следующим параметрам: 1) связь с формами речевого / внеречевого художественного мышления; 2) ориентация относительно концептосферы литературы как подсистемы культуры / ориентация относительно всего ментального пространства культуры; 3) перераспределение ядерных и периферийных признаков в содержании концепта у разных авторов / устойчивое соотношение ядра и периферии концепта в сознании среднестатистического носителя языка; 4) декодирование содержания концепта на основе художественной / культурной пресуппозиции [Беспалова 2002: 6].

Положение о том, что художественный концепт связан с формами художественного мышления, приводит исследователей к выводу о том, что он, в отличие от культурного концепта, репрезентируется только вербальными средствами языка. Однако такое определение представляется слишком узким, поскольку, по мнению, большинства лингвистов в языке фиксируется только понятийная сторона концепта [Карасик 2002: 151–154]. Язык — лишь один из способов формирования концептов в сознании человека. Для его эффективного формирования недостаточно одного языка — необходимо привлечение чувств, опыта, необходима наглядность и предметная деятельность с тем или иным предметом или явлением. Только в таком сочетании разных видов восприятия формируется концепт. Н. Д. Арутюнова отмечает, что для того, чтобы оценить объект, человек должен «пропустить» его через себя. Этот момент «пропускания» и оценивания и является моментом первичного образования концепта в сознании носителя культуры. Применимость в процессе общения на данном языке оценочных предикатов к тому или иному элементу действительности можно считать показателем существования в рамках данной культуры концепта, основанного на этом элементе действительности [Арутюнова 1998: 181].

Индивидуальные концепты отличаются от коллективных наличием иных признаков и иным их сочетанием, поскольку коллективное сознание и коллективный опыт есть не что иное, как условная производная от сознаний и опыта отдельных индивидов, входящих в коллектив. Эта производная образуется «путем

редукции всего уникального в персональном опыте и суммирования совпадений» [Слышкин 2000], причем этом концептосферы отдельных индивидов могут включать в себя большое количество оригинальных элементов, не разделяемых в данном социуме.

Являясь динамичным компонентом культуры, индивидуально-авторский концепт, как правило, формируется в результате трансформации существующего культурного концепта с аналогичным именем в соответствии с личным мироощущением писателя. Однако в рамках художественного произведения возможно и создание нового, индивидуально-авторского концепта, отсутствующего в данной концептосфере, и присвоение ему собственного имени [Клебанова 2005: 4].

Однако наиболее многочисленную группу составляют индивидуально-авторские концепты, создаваемые за счет трансформации концептов, уже функционирующих в национальной лингвокультурной среде.

Для создания индивидуально-авторского концепта путем трансформации существующего культурного концепта писатель дополняет, варьирует, актуализирует те или иные характеристики концепта или наделяет его новыми характеристиками, иногда функционирующими только в рамках конкретного текста. Таким образом «индивидуально-авторским концепт становится за счет всегда уникального комплекса признаков» [Клебанова 2005: 18], выделяемых в том или ином произведении.

Вместе с тем, в ряде художественных текстов могут быть представлены концепты, которые объединяются константным инвариантным личностным компонентом, выражающим знание, представление, мнение автора о каких-либо реалиях действительности. Такие компоненты можно считать смысловыми универсалиями определенной концептуальной системы. Наряду с ними возможно выделение и доминантных смыслов художественного текста [Пищальникова 2002: 37].

Важным при рассмотрении индивидуально-авторских концептов является тот факт, что индивидуально-авторские концепты, создаваемые в рамках художественных произведений, могут впоследствии проникнуть в культуру и стать её действующим компонентом, в том случае если будут представлять значимость и ценность для данной лингвокультуры.

* * *

АРУТЮНОВА Н. Д., 1998. Язык и мир человека. / Н. Д. Арутюнова. М.

БЕСПАЛОВА О. Е., 2002. Концептосфера поэзии Н. С. Гумилева в ее лексическом представлении: АҚД. СПб.

КАРАСИК В. И., 2002. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград.

КАРАСИК В. И., СЛЫШКИН Г. Г., 2001. Лингвокультурный концепт как единица исследования // Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж.

КЛЕБАНОВА Н. Г., 2005. Формирование и способы репрезентации индивидуально-авторских концептов в англоязычных прозаических текстах. АҚД. Тамбов.

КУБРЯКОВА Е. С., 1994. Начальные этапы становления когнитивизма. Лингвистика — психология — когнитивная наука // Вопросы языкознания. №4.

ПИЩАЛЬНИКОВА В. А., 2002. Мышление и речь / В. А. Пищальникова // Психоллингвистика: Хрестоматия. — М. Барнаул.

СЛЫШКИН Г. Г., 2000. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Г. Г. Слышкин. — М.

СТЕПАНОВ Ю. С., 1997. Константы. Словарь русской культуры: Опыт исследования. М.

ТАРАСОВА И. А., 2004. Категории когнитивной лингвистики в исследовании идиостиля / Вестник Самарского государственного университета. №1. — www.ssu.samara.ru/~vestnik/

О. С. Муранова

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ АДРЕСОВАННОСТИ В ТЕКСТЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ СТАТЬИ

Как известно, основной формой реализации языковой картины мира является текст. Текст лежит в основе человеческой коммуникации, то есть человек познает окружающий его мир, получает и сообщает информацию о действительности в форме текстов. Таким образом, текст — это, прежде всего, результат коммуникативно-речевой деятельности, а также структура, которая возникает в ходе этой деятельности и которая имеет свои внутренние закономерности [Стилистический энциклопедический словарь русского языка, 2003: 528]. Следовательно, он не может изучаться изолированно от субъектов его порождения и восприятия. А. А. Залевская также указывает на то, что при анализе текста необходимо учитывать наличие автора (или продуцента) и адресата (то есть реципиента), так как в противном случае текст перестает функционировать как речевое произведение [Залевская, 2001: 25; 21]. В связи с этим можно говорить о том, что изучение специфики выражения категорий текста, основанных на коммуникативно-ориентированной модели текстуальности, имеет большое значение при изучении того или иного типа текста или речевого жанра. Особый интерес представляет изучение языковых средств, реализующих такие критерии текстуальности как информативность, адресованность, модальность, эмотивность и др. в текстах научно-популярных произведений, совмещающих в себе лингвостилитические особенности научного, художественного, разговорного и публицистического стилей. Анализ языковых средств, реализующих эти текстовые категории, на примере конкретных научно-популярных текстов позволяет выявить специфические особенности отражения языковой картины мира и ее взаимодействия с научно-популярной картиной мира в различных жанрах научно-популярных произведений.

Примером адаптации научного объяснения к специфике научно-популярного изложения является жанр научно-популярной

статьи. Автор статьи, с одной стороны, старается передать научную информацию в компактной и доступной форме, а с другой, — вызвать у адресата (то есть у массового читателя) определенное отношение к сообщаемому. Наличие адресата, а именно широкого круга читателей, влияет не только на сущность, но и на форму речи. Все это позволяет сделать вывод о том, что адресованность текста влияет также на выбор языковых средств, реализующих коммуникативно-прагматические цели автора. Очевидная ориентация на потенциального читателя становится прагматической доминантой всего текста научно-популярной статьи: из многообразных вариантов автор вынужден выбирать такие, которые являются общими для его речевого опыта и речевого опыта адресата, иначе, как отмечает Г. Я. Солганик, информация не дойдет до читателя и коммуникация не состоится [Солганик, 2005: 15]. В этом проявляется специфика реализации **категории адресованности** в тексте статьи.

Рассмотрим особенности реализации этой категории на примере статьи “Water Colour”, опубликованной в журнале “The Architectural Review” [February, 2007]. Автор статьи — Роб Грегори (Rob Gregory) — анализирует проект пешеходного моста, разработанного португальским дизайнером Сэилом Балмондом (Cecil Balmond). В статье подробно описывается процесс постройки моста, а также его структурные и декоративные элементы, при этом сравнивается сам проект и то, что получилось в действительности. В конце статьи отмечается, что конструкция моста, разработанная португальским дизайнером, отличается продуманностью и практичностью ее структурных элементов. В то же время, по мнению автора, в данном проекте проявляется творческий замысел дизайнера. В связи с этим автор приходит к выводу о том, что проект имеет не только чисто утилитарное значение, но и несет в себе определенную философскую идею, реализует ряд архитектурных решений.

Как известно, употребление разговорной лексики способствует сближению автора с читателем, заставляет читателя поверить в то, что предлагаемый ему текст статьи не так уж сложен и вполне доступен его пониманию. В частности, характеризуя работу португальского дизайнера над описываемым в статье проектом, а также оценивая его подход к данной работе, автор пишет сле-

дующее: “In person he has an energy and optimism that supports his *can-do* attitude, and with his team’s more measurable ability to rationalize and resolve, Balmond and the AGU have won the respect and loyalty of many so-called signature designers”. Как видно из примера, автор полагает, что работа С. Балмонда отличается продуманностью, исполнительностью и практичностью. Употребление разговорного слова “*can-do*” в данном контексте позволяет автору конкретизировать идею, сделать ее более понятной и убедительной для широкого круга читателей. Далее автор описывает взаимоотношения С. Балмонда с другими архитекторами и дизайнерами: “As the conceptual author of this bridge, Balmond describes his relationship with Fonseca as ‘relaxed and trusted’, giving him some distance from the *nitty-gritty* of undertaking detailed engineering calculations”. Подчеркивая творческий подход С. Балмонда к своей работе, автор использует выражение “*nitty-gritty*”, присущее преимущественно разговорной речи. Употребление этого выражения свидетельствует о положительном отношении автора к проекту, разработанному португальским дизайнером. Вероятно, использование разговорной лексики, несущей определенную оценочность, связано здесь с тем, что автор статьи не просто передает факты, но и выражает свою оценку описываемой в статье работы С. Балмонда. При этом автор стремится убедить адресата в обоснованности своей точки зрения и привлечь его внимание читателя к характеристикам, которые, по мнению автора, отличают данный проект от других подобных разработок.

Другим важным средством, позволяющим автору привлечь внимание читателей к каким-либо фактам, и способствующим более точному выражению авторской мысли в научно-популярных статьях, являются индивидуально-авторские новообразования и неологизмы. Так, описывая отдельные элементы моста, автор говорит следующее: “While these elements could be seen as whimsical and overdesigned, particularly in relation to the elegance of the structure that skips gracefully over the river with an incredibly shallow arch, when seen together these finer elements allow the tempo of the three bay *hop-skip-and-jump* superstructure to be moderated”. Рассуждая о противоречивости впечатлений, которые производят элементы моста как по отдельности, так и в

совокупности, автор дает, в частности, собственную характеристику надстройки моста. Использование авторского новообразования “hop-skip-and-jump”, основанного на сложении трех слов, имеющих сходное значение («прыгать, скакать»), позволяет убедить читателя в обоснованности утверждения о том, что в целях достижения гармоничности конструкции моста его надстройку следовало бы оформить несколько скромнее. Вместе с тем, включение новообразования помогает автору отделить свои собственные мысли, убеждения, оценочные суждения и т. д. от фактической информации и общепризнанных идей, не вызывающих сомнения или разногласия в современной науке. Следовательно, использование неологизмов и авторских новообразований также способствует лучшему усвоению основного содержания статьи.

Любой текст научной коммуникации, в том числе текст научно-популярной статьи, характеризуется наличием определенной внутренней логики, а также четкой связи между различными композиционными звеньями и смысловыми фрагментами текста. Зачастую связь между отдельными идеями, высказываемыми автором статьи, обеспечивается с помощью вводных слов: “*Remarkably*, despite his 40 year career with Arups, this is the first bridge that Balmond has built”. В данном случае использование вводного слова “*remarkably*” помогает автору отделить рассказ о подходе дизайнера к выполняемой им работе от описания самого проекта и его особенностей и в то же время привлечь внимание читателей к определенным фрагментам последующего повествования.

Поскольку автор научно-популярной статьи стремится наладить диалог с читателем и, соответственно, приблизить повествование к речевому опыту массового читателя, текст статьи характеризуется использованием ряда грамматических конструкций, присущих в основном разговорной речи. Так, в анализируемой статье автор употребляет как имена собственные, так и нарицательные существительные в притяжательном падеже. В частности, описывая отдельные элементы конструкции моста, разработанной португальским дизайнером, автор пишет: “As he recalls decisions (or feelings) in sequence, the explanation begins with *Balmond's* so-called impossible sketch of a bridge of two halves that never quite meet”. В то же время далее автор отмечает: “With two

sweeping curves that seem to repel each other, Balmond wanted to create an elevated public space mid-stream above the river; a place that would become somewhere to pause and to appreciate the River Mondego and the beautiful setting of *Coimbra's* citadel”. Как видим, автор использует притяжательный падеж географического названия “*Coimbra*”, что также свойственно прежде всего разговорной речи. В связи с этим можно говорить о том, что, как и использование лексики, использование существительных (прежде всего — нарицательных) в притяжательном падеже способствует сближению авторской и читательской картины мира, делает повествование более доступным для широкого круга читателей.

При необходимости выделить определенные свойства и признаки изображаемого предмета автор научно-популярной статьи зачастую прибегает к повтору отдельных слов и даже отдельных фраз. Для того чтобы показать, что отдельные утверждения, содержащиеся в статье, имеют место только при определенных условиях, автор употребляет одну и ту же синтаксическую конструкцию в нескольких предложениях: “When considering the view along the bridge ...”, “When describing the bridge ...”, “... when visiting the bridge in person”. Повтор конструкции в нескольких предложениях свидетельствует о том, что основной целью статьи является анализ описываемого проекта с точки зрения различных аспектов и что представленные утверждения основаны прежде всего на выводах, сделанных автором в результате своих собственных наблюдений и дальнейшего анализа особенностей проекта.

В связи с тем, что предметом научно-популярной статьи является описание научных фактов и явлений, в них, так же как и в чисто научных текстах, используются различные языковые средства, делающие научное изложение объективным и логичным. Для обеспечения связи между отдельными высказываниями автор статьи использует большое количество инверсий. Например, анализируя архитектурный облик моста, автор отмечает: “*From the south*, the effect of sunlight animates the structure”. Далее он добавляет: “*From the east*, the asymmetry becomes more evident”. Использование инверсии помогает автору отделить описание различных характеристик моста и указать читателю на различные особенности его конструкции, которые, по мнению

автора, становятся очевидными при восприятии моста со стороны. В отдельных случаях инверсия используется также для привлечения читательского внимания к каким-либо деталям повествования: “*On this project, however, Balmond was not working in collaboration with a Koolhaas or an Ito*”. Здесь автор подчеркивает, что проект С. Балмонда заметно отличается от его предыдущих разработок, и делает вывод о том, что его изучение представляет определенный научный интерес. Наличие большого количества инверсий в тексте статьи позволяет также привлечь и удерживать внимание читателя на протяжении всего повествования.

Другим синтаксическим средством привлечения внимания читателя к идеям, развиваемым в тексте статьи, является использование парцелированных и эллиптических конструкций: “*With two sweeping curves that seem to repel each other, Balmond wanted to create an elevated public space mid-stream above the river ...*”. Использование эллиптической конструкции в процитированном предложении помогает автору убедить читателя в том, что С. Балмонд творчески подходил к разработке своего проекта, тщательно продумывая как назначение, так и внешний вид каждого элемента конструкции.

Как известно, наибольший успех у массового читателя имеют те произведения, которые увлекают красотой описания, говорят о науке художественно ярким языком. Для того чтобы вызвать у читателя интерес к предмету сообщения, а также показать свое отношение к описываемому, автор научно-популярной статьи прибегает к использованию различных языковых средств образности (таких, как сравнения, метафоры, персонификация, гиперболы, аллегории и т. д.). Примечательно, что, в отличие от разговорных элементов, призванных создать впечатление доступности, многие образные средства языка служат непосредственному разъяснению того или иного научного факта. В частности, в анализируемой статье автор сравнивает данный проект с другими архитектурными разработками С. Балмонда: “*Like many of the buildings he has worked on, its rationale flits between conceptual clarity and complex layered metaphorical reference*”. Как было отмечено ранее, новый проект португальского дизайнера заметно отличается от его предыдущих работ. Тем не менее, как видно из вышеприведенного примера, автор обнаруживает и

характеристики, присущие всем разработкам дизайнера. Все это дает читателю возможность получить более полное представление о проекте С. Балмонда. Далее автор подробно анализирует эскиз моста, подготовленный С. Балмондом в самом начале работы над проектом. При этом он отмечает: “*As he recalls decisions (or feelings) in sequence, the explanation begins with Balmond’s so-called impossible sketch of a bridge of two halves that never quite meet*”. Наличие метафоры указывает читателю на то, что в процессе дальнейшей работы над проектом творческий замысел дизайнера претерпел значительные изменения. Примечательно, что в дальнейшем автор повторно использует эту метафору: “*The ‘impossible’ halves gain stability and balance by leaning against its partner*”. Использование слова ‘impossible’ в кавычках свидетельствует о том, что, несмотря на последующие изменения, отдельные элементы первоначального эскиза, подготовленного С. Балмондом, были использованы в его дальнейшей работе над проектом. Таким образом, использование метафоры позволяет автору акцентировать идею, заложенную в первом предложении. В то же время и первое, и второе предложение характеризуются персонификацией, которая, как известно, выражается в перенесении свойств, присущих человеку, на неодушевленные предметы. В данном случае персонификация проявляется прежде всего в валентности, характерной для существительных-названий лица: глаголы ‘to meet’, ‘to gain’ и ‘to lean’, которые, как правило, обозначают действия, свойственные людям, употребляются при описании структурных элементов моста. То же относится и к “partner” во втором предложении. Все это позволяет сделать вывод о том, что использование таких стилистических средств, как метафоры, аллегории, сравнения при описании известных вещей и явлений и т. д. делает научное изложение более доступным, и, следовательно, способствует оптимизации понимания фактической информации, содержащейся в статье.

Следует отметить, что, наряду с различными языковыми средствами, повышающими доступность научного изложения, для текстов журнальных статей характерны разнообразные паралингвистические средства, способствующие более полному усвоению текстовой информации. Текст журнальной статьи зачастую сопровождается различными средствами иконического языка (в

частности, схемами, диаграммами, таблицами, фотографиями и другими иллюстрациями), которые дополняют и поясняют информацию, выраженную вербально, и, таким образом, служат в основном научно-познавательным целям, поскольку являются основой адекватного понимания текста. Характерно, что иллюстрации, используемые в научно-популярной статье, как правило, сопровождаются подробными вербальными объяснениями, которые в отдельных случаях могут быть оформлены с помощью отдельного предложения или двух-трех полных предложений. В частности, в анализируемой статье приводится фотография моста, построенного по проекту С. Балмонда, она сопровождается следующим вербальным пояснением: "The form of the bridge is accentuated by shadow, with the central deck almost disappearing from sight". Автор, как видим, указывает на одну из особенностей моста, которая, по его мнению, имеет большое значение при восприятии со стороны. Употребление эмфатической конструкции во второй части предложения усиливает эту идею, делая ее более убедительной и очевидной для читателя. Зачастую, однако, пояснения к иллюстрациям, формулируются с помощью эллиптических и назывных предложений, например: "Coimbra's picturesque citadel" или "The high point: where geometries shift and trajectories change", что характерно для многих жанров научной коммуникации. В то же время, как показывают вышеприведенные примеры, такие пояснения могут включать и различные элементы, присущие прежде всего разговорному дискурсу (в частности, эмоционально-оценочную лексику, лексические усилители, притяжательный падеж географических названий и т. д.). Это также способствует взаимодействию авторской и читательской картины мира.

Все лингвостилистические средства, описанные выше, в той или иной мере присутствуют в тексте журнальных статей, посвященных проблемам различных областей науки. Нами было проанализировано около 40 статей по архитектуре и дизайну, опубликованных в англоязычных журналах "The Architectural Review", "Design and Management" и "Frame. The Great Indoors". В результате анализа было установлено, что для повышения доступности текста статьи авторы прибегают к лингвостилистическим средствам, которые не свойственны чисто научным произ-

ведениям, но характерны для художественных, разговорных и публицистических текстов (в частности, разговорная лексика, неологизмы, фразеологизмы и образные выражения, вопросительные предложения, параллельные конструкции, развернутая система союзной связи, различные элементы речевой образности и т. д.). Их употребление связано с необходимостью адекватно представить достоверную научную информацию в максимально доступной и увлекательной форме. Вместе с тем, наличие вышперечисленных лингвостилистических средств в тексте статьи помогает автору наладить диалог с читателем, привлечь и удерживать его внимание на протяжении всего повествования. В этом заключается специфика взаимодействия языковой и научно-популярной картины мира в тексте научно-популярной статьи.

* * *

ЗАЛЕВСКАЯ А. А., 2001. Текст и его понимание. Тверь.

СОЛГАНИК Г. Я., 2005. Стилистика текста. М.

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ, 2003. М.

А. Н. Резанова

КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСФЕМИЗМОВ ПО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ

Решение проблемы классификации единиц, отнесенных в состав дисфемистического словаря, следует начать с краткого диахронического экскурса в те процессы, происходившие в языке, сознании, мышлении людей, которые повлияли на его создание. Это вновь возвращает нас к понятию табу. Действительно, в силу тех или иных религиозных или нравственных причин, временно или навсегда, согласно строгим предписаниям и традициям, всеми или некоторыми членами языкового коллектива, во всех или особых ситуациях определенные табуированные слова и выражения должны исключаться из речевого обихода. Соответственно, дисфемия возникает именно на основе этих табуированных языковых форм.

Несомненно дисфемизация в прошлом и в современном мире имеет различную когнитологическую основу. В наше время дисфемизации подвергаются лексические единицы, преимущественно обозначающие физические и умственные недостатки, человеческие пороки, физиологические функции, а также обозначения расовой принадлежности, т. е. те сферы жизни, упоминания которых большая часть сообщества старается избегать.

Важным представляется отметить, что в разных лексико-семантических разрядах, как будет показано на примерах, может обнаруживаться одна прагматика, и наоборот, что в свою очередь свидетельствует о полифункциональности дисфемии в речевом дискурсе.

Итак, резюмируя все сказанное и принимая во внимание социо-психические факторы, указанные выше, можно соответственно выделить следующие понятийные сферы и лексико-семантические разряды, в которых чаще всего встречаются дисфемизмы, как неизбежный антиподальный спутник эвфемии.

1. Лексико-семантический разряд: дисфемизмы, обозначающие понятия «смерть», «болезнь», физические и умственные недостатки, а также артефакты, связанные с этими состояниями.

В современном английском языке дисфемизмы данной категории составляют обширнейшие синонимичные ряды, которые постоянно обновляются. В XX веке в связи с мировыми войнами они пополнились новыми выражениями.

Достаточно обширным является и количество дисфемизмов из области умственных и физических дефектов, то есть того, что всегда, увы, не находило должного сочувственного понимания в обществе. Поэтому намеренное использование этих дисфемизмов приводит к нарушению нормы обозначения, при этом цели, преследуемые говорящим, могут быть совершенно различными.

Одним из часто встречающихся дисфемизмов, относящихся к этой подгруппе, является употребление слова “meatwagon” в значении “ambulance”. Его многократное использование в прессе и в современной литературе обуславливается частотностью событий в мире, связанных с террористическими актами, высоким уровнем преступности, приводящими к человеческим жертвам. Все это заставляет говорящего независимо от его статуса в обществе и классовой принадлежности прибегать к употреблению столь грубых слов. Следует отметить, что наиболее высокий «интерес» к слову «meatwagon» наблюдался в период терактов в 2001 году в США и в начале военных действий в Ираке в 2003 году. В прессе лексема “ambulance” практически повсеместно подменялась словом “meatwagon”. Вполне очевидно, что во время войн и различных катастроф пресса изобилует дисфемизмами, связанными с происходящими событиями. Проиллюстрируем это на примере:

«An Iraqi battalion had blundered badly, sending thinly armored personnel carriers across the border into a meat grinder, where Saudim and American missiles had all but demolished the invaders” [New York Times, ODMS, 2003]. Описывая ситуацию, сложившуюся во время операции «буря в пустыне», журналист старается подчеркнуть трагичность событий и бессмысленность войны.

Анализ примеров этой весьма употребительной группы дисфемизмов приводит к общему выводу, что этот лексический разряд имеет чрезвычайно большой потенциал и обнаруживает тенденцию дальнейшего роста в связи с историческими и культурными предпосылками, среди которых наиболее явными являются следующие:

1. Повышенное эмоциональное состояние возмущения, негодования в обществе, обусловленное определенными социальными и политическими событиями в мире;

2. Отсутствие духовности в широких общественных массах.

1. Лексико-семантический разряд: дисфемизмы, относящиеся к широкому кругу криминальной сферы.

В это объемное понятие входят дисфемизмы, денотаты которых связаны с различными сферами преступной деятельности: наркотики, проституция, денежные махинации, убийства и т. п.

Часть дисфемистического словаря, включающая вышеупомянутые понятия, начала развиваться давно, поскольку эти проблемы всегда беспокоили общество, являлись предметом осуждения и оценивались как область постыдной деятельности. Но раньше по понятным причинам среди людей культурных, принадлежащих к элитным кругам, подобные понятия при выражении делались приемлемыми посредством эвфемистических субститутов. В настоящее время ситуация меняется в связи с общей тенденцией к «называнию вещей своими именами».

Подобная ситуация наблюдается и с проблемой наркомании, ставшей бичом современности. Как результат, в английском языке появилось множество вульгаризмов, обозначающих названия наркотиков, процесс их приема и, естественно, самих лиц, находящихся в наркотической зависимости.

“Lacerated hands, the hands of junkies, scarred where needles had searched for veins.” [Brown, 1992, ODMS, 1993: 117]. В первичном значении слово “junk” означает «ненужный, хлам, отбросы», и в устах человека, не употребляющего наркотики, оно является дисфемизмом. Цель, которую преследует говорящий, можно определить следующим образом: осуждение наркозависимого знакомого.

В подгруппе многочисленны дисфемизмы, образованные от слов, обозначающих деньги, добытые нечестным способом. Проиллюстрируем это на конкретном примере:

“He said one day, “If I’d any luck, I’d marry her and she’d die in about a year and leave me all the boodle.” [Christie, 1987: 269–270].

В этом примере дисфемизмом является сленгизм “boodle”, которому The Oxford Dictionary of Modern Slang дает следующее

определение: “Money acquired or spent illegally or immorally.” Этот дисфемизм употребляется персонажем, принадлежащим к привилегированному классу общества, образованному человеку, который впоследствии замышляет и совершает убийство своей богатой жены. Использование этого слова характеризует личность человека, склонного к преступным действиям.

Как можно видеть, круг дисфемизмов этого рода с каждым годом пополняется все новыми сленгизмами, вульгаризмами. Разряд оказывается весьма продуктивным.

2. Лексико-семантический разряд дисфемизмов, обозначающих пороки и недостатки характера людей.

Этот лексический разряд в той или иной степени перекликается с ранее перечисленными, так как к порокам и недостаткам могут относиться и глупость, и проявления криминальной контркультуры. Но в этом лексическом разряде акцент лежит на отрицательных чертах характера, а также на сексуальной сфере: нетрадиционные ориентации, порочные сексуальные связи и т. п.

В связи с тем, что личная жизнь все меньше ограничена от вторжения и часто становится публичным достоянием, в прессе и в повседневной речи появляются множество дисфемистических выражений.

Начать следует, пожалуй, с наиболее распространенной части дисфемистического словаря этого рода, а именно, сексуальных отношений:

“The Chief Rabbi ... is very sound in ... things like cracking down on the arsebandits.” [Private Eye, 1999]. Это выдержка из статьи журнала Private Eye, само название журнала возвращает нас к только что указанной практике современных СМИ. Выражение “Arse-bandit - a male homosexual” является вульгаризмом и не должно быть использовано в публичной литературе, поэтому может быть классифицировано как дисфемизм.

Вот еще один пример, продолжающий тему нетрадиционных сексуальных отношений: “Old Cheever, crowding seventy, has gone Gay. Old Cheever has come out of the closet.” [Literary Review, 1985].

В этом случае следует говорить о двух дисфемизмах: во-первых, “gay”, а во-вторых, “to come out of the closet”, что означает “to admit openly one’s homosexuality”, оба понятия равно как

языковые формы их обозначающие, являются нежелательными в употреблении с позиций литературной нормы, а в массовых изданиях даже табуированными, поскольку ущемляют права сексуальных меньшинств. Тем не менее, несмотря на все запреты, журналист пренебрег установленными правилами и в иронической, высмеивающей форме описывает известного человека.

Пьянство — еще одна сфера общественных пороков, вызывающая оживленные обсуждения и, естественно, неодобрение «трезвенников» социума.

Пример, иллюстрирующий тенденцию на обнажение данного порока: “Guillaume Appollinaire talks of distillation, of reality cyphered through shimmery experience. Not a mention of being a rat-arsed French git.” [Guardian, 1990].

“Rat-arsed” — вулгаризм, носящий следующее значение — “intoxicated or incapacitated by drink; drunk”. Несмотря на объяснимую повышенную эмоциональность говорящего, ему следовало бы избежать грубости в адрес известного французского поэта.

Рассмотренный выше лексико-семантический разряд, безусловно, может считаться количественно самым обширным из всех перечисленных, поскольку сама природа человеческой психологии, черт характера неисчерпаема. И всякий раз, когда индивидуум произвольно или намеренно обнажает, выставляет на показ «темные» стороны своей натуры, провинившийся тут же предстает перед судом социума, который в свою очередь готов идти на самые крайние меры — употребление табуированных языковых форм и понятий, жертвуя своим стилем в пользу истины и эффекта воздействия.

5. Лексико-семантический разряд дисфемизмов из области обозначений национальной принадлежности.

Распространенность означенной выше группы в современном английском языке не оставляет сомнения. В связи с нарастающей популярностью движения за политическую корректность, любое «ненормативное» упоминание какой-либо национальности является чем-то «наказуемым», строго порицаемым обществом. Поэтому, рассматривая дисфемизмы этого лексического разряда, мы вынуждены принимать тот факт, что подобное табу распространяется на всех членов общества без исключения, т. е. при нарушении нормы, правил, принятых в данном обществе, слова говорящего можно расценивать как дисфемизм.

Вообще, несмотря на множество запретов, прописанных нормой и практикой речевого общения, по-прежнему наблюдается частое употребление расистской лексики в тех источниках, которые должны, напротив, это пресекать, а именно в прессе. Так, в Washington Post появляются следующие дисфемизмы (журналист цитирует высказывание одного политического деятеля — националиста): «He’s obsessed with hatred for the geechees, those he feels are holding back the race». «Geeches» является прямым оскорблением, указывающим на принадлежность к африканской расе. Этот пример является свидетельством того, как часто общественные деятели забывают и о политической корректности, и о простых моральных и этических принципах для того, чтобы подчеркнуть резкость своих взглядов и отстоять свою позицию.

Впрочем, следует иметь в виду, что дисфемизмы могут быть направлены не только на расовые меньшинства, но и на, так называемое, титульное большинство, например:

“Delegates ... sat in shocked silence when an Indian leader accused them of being “white-arsed Liberals.” [Daily Columnist, 1975]. “White-arsed” бесспорно, является дисфемизмом, поскольку произнесен высокопоставленным лицом в официальной обстановке.

6. Лексико-семантический разряд: обозначения Бога, дьявола, слова, связанные с различными религиозными ритуалами, проклятия.

В современном английском языке трудно установить, когда слова и выражения, связанные с религиозными понятиями, являются дисфемизмами, поскольку их использование очень распространено в современном английском языке. В некоторых ситуациях употребление слов подобного круга считается, если не запретным, то нежелательным. Примером может послужить выдержка из речи, произнесенной в 1962 году одним из государственных деятелей США: “A ring-a-ding God-box will go over big with the flat bottomed latitudinarians” [ODMS, 1993: 85].

Слово “god-box” имеет следующее толкование, предлагаемое The Oxford Dictionary of Modern Slang — “a church or other place of worship”. Таким образом, это явное богохульство, сравнимое с пренебрежительным русским словом «церквушка», и его использование официальным лицом перед публикой является недопустимым.

Другими наиболее употребительными дисфемизмами этого круга являются следующие выражения: “damn”, “dammed”, “God-damned”, “not worth a damn”, “not to care a damn”, “not to give a damn”, “damn all”. Все эти выражения являются в большинстве случаев дисфемизмами, независимо от того, кем и при каких обстоятельствах они были произнесены, поскольку чаще всего и денотат, и коннотат содержит отрицательную оценку. Например, “It was obvious...that he didn’t give a damn — and so they were enraged.” [Cary, 1959, ODMS, 1993: 49].

“I’ll tell you my story as shortly as I can, and you see I know damn all about it.” [Sayers, ODMS, 1993: 49].

“I shrugged again. “I just wanted to know if you really meant everything.”

Maisie banged the table and screamed, “Damn you! Why are you always trying me out? Why don’t you say something real?” [McEwan, 1978: 29].

Во всех примерах ведущим коннотативным компонентом является чувство раздражения у говорящих, которое обуславливает употребление этих выражений, но, тем не менее, является неуместным в данных коммуникативных ситуациях, противоречащих общей тональности высказывания и общей лексической наполняемости речи.

Подводя итог анализа дисфемизмов религиозной семантики по теологическому разряду дисфемизмов, можно констатировать, что их употребление в большинстве случаев вызвано двумя причинами:

1. эмоциональным состоянием автора высказывания, обусловленного чувствами отчаяния, ярости, раздражения и другими отрицательными переживаниями;

2. намеренное богохульство ради порицания, высмеивания и отрицания существования Бога. Говорящий бросает вызов, ставит себя в оппозицию религии и самому Богу и тем, кто ему (Богу) поклоняется.

Дисфемистический словарь исследованных выше лексико-семантических разрядов отражает своеобразную иерархию социальных отношений внутри общества и на данный момент является наиболее табуированным в связи с набравшим силу движением за политическую корректность. Особенно это касается предпос-

леднего лексико-семантического разряда из области обозначений национальной принадлежности, что наглядно показывает остроту переживания чувств национальной идентичности в современном поликультурном мире. Неосторожные высказывания в адрес какого-либо народа могут привести к серьезным последствиям: в некоторых развитых странах за подобные выражения, произнесенные публично, может быть наложен штраф. Но, тем не менее, всякий раз находятся причины, побуждающие говорящих прибегать к дисфемии. Чаще всего эти причины обусловлены спецификой острого эмоционального переживания. Прагматика употребления в каждом случае разная, так как она подчиняется интенциям говорящего и конкретной контекстно-дискурсивной ситуации.

Необходимым представляется отметить, что рассмотренный перечень лексико-семантических разрядов дисфемизмов не является исчерпывающим: по мере того, как общество развивается и меняется, будут появляться новые табу, и по-новому будут корректироваться этические, а соответственно и речевые нормы, из чего следует, что и дисфемистический словарь будет непрерывно расширяться.

* * *

АРНОЛЬД И. В., 1990. Стилистика современного английского языка. СПб.

КАЦЕВ А. М., 1991. Эвфемизмы и просторечия. Семантический аспект // Актуальные проблемы семасиологии. СПб.

КАЦЕВ А. М., 1988. Языковое табу и эвфемия. СПб.

КУДРЯВЦЕВ А. Ю., КУРОПАТКИН Г. Д., 1993. Англо-русский словарь-справочник табуированной лексики и эвфемизмов. М.

НИКИТИН М.В., 2000. Заметки об оценке и оценочных значениях — 1 // Studia Linguistica 9. Когнитивно-прагматические и художественные функции языка. СПб.

НИКИТИН М.В., 1996. Курс лингвистической семантики. СПб.

AYTO J., SIMPSON J., 1993. The Oxford Dictionary of Modern Slang. London.

The Concise Oxford Dictionary of Quotations, 1981. London.

MCEWAN I., 1978. First Love Last Rites. London.
CHRISTIE A., 1987. Death on the Nile. London.

Источники и принятые сокращения

AYTO J., SIMPSON J., 1993. The Oxford Dictionary of Modern Slang. London. (ODMS)

О. С. Сачава

**ИНСЦЕНИРУЕМАЯ ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТЬ
И ЕЕ ПЕРСУАЗИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
В РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ**

В данной статье мы рассмотрим персуазивный потенциал инсценируемой интердискурсивности на примере текстов современной немецкоязычной рекламы. Предлагаемый в статье анализ следует рассматривать в рамках актуальных для современной лингвистики дискуссий, центром преломления которых является исследование речевых манипуляций на лингвистическом и экстралингвистическом уровне. Как один из способов речевой манипуляции мы рассматриваем принципиально новое для лингвистики явление — *инсценируемое интердискурсивное взаимодействие* в тексте.

Как известно, дискурс в современной науке представляет собой сложный, многоаспектный феномен, предмет исследований в философии, социологии, культурологии, психологии. В целом дискурс можно охарактеризовать как ограниченную на основании тех или иных критериев сферу человеческих знаний и коммуникации. Соответственно, в лингвистике дискурс — совокупность текстов, репрезентирующих ту или иную исторически сложившуюся сферу человеческого познания и коммуникации.

В лингвистической плоскости «за каждым дискурсом стоит особая системность и упорядоченность языковых единиц, стратегий и правил их употребления». [Чернявская, 2003:34] Такое явление упорядоченности языковых единиц в текстах находит свое отражение в наличии закрепленных за определенными дискурсами типов текста. Под типами текста понимаются модели речепорождения, совокупности типичных лингвистических и экстралингвистических признаков текста, соотносимые в сознании носителя языка с повторяющимися в культуре коммуникативными ситуациями. [Sandig, 1986: 173] Типологическая интертекстуальность, соотносящая каждый отдельный текстовый экземпляр с другими текстами данного типа, рассматривается на современном этапе развития текстовой культуры как «обязатель-

ное условие производства и восприятия текстов, т. е. как критерий текстуальности вообще». [Чернявская, 2003: 31]

Следуя концепции В. Е. Чернявской, наряду с *текстовой* категорией интертекстуальности целесообразно говорить о *когнитивной* категории интердискурсивности, отражающей «взаимодействие различных систем знаний, культурных кодов, когнитивных стратегий». [Чернявская, 2007: 22] «Интердискурсивными являются по определению все языковые элементы, структуры, отношения, стратегии, характеризующие многие дискурсы». [Чернявская, 2003: 36] Вышесказанное позволяет рассматривать спонтанную, коммуникативно обусловленную интердискурсивность в качестве одного из критериев текстуальности.

Наряду с такого рода спонтанной, коммуникативно обусловленной интердискурсивностью, отдельные текстовые экземпляры могут демонстрировать *целенаправленно инсценируемую смену дискурса*. Типичная для типа текста функция выражается в данном случае не типичной для него формой. Например, рекламная статья, репрезентирующая рекламный дискурс, оформляется как научная статья, относящаяся, соответственно, к научному дискурсу. Маркером такого инсценируемого интердискурсивного взаимодействия является привнесение в текстовое произведение типичных текстообразующих лингвистических признаков другого типа текста, репрезентирующего другой дискурс. Иными словами, формой выражения и средством актуализации интердискурсивного взаимодействия является интертекстуальное взаимодействие типов текста, эксплицитно выраженное в текстовой ткани.

При этом необходимо еще раз подчеркнуть, что по своей сути интердискурсивность не тождественна интертекстуальности. [Чернявская, 2007: 23] Это явление качественно иного, экстралингвистического уровня. Интердискурсивность, — когнитивная категория, и в отличие от интертекстуальности как текстовой категории «характеризует когнитивные процессы, предшествующие конкретной текстовой реализации». [там же, с. 22] Персуазивный потенциал такого целенаправленно инсценируемого интердискурсивного взаимодействия в тексте рассмотрим на конкретных примерах.

Die Erfolgscreme gegen Falten! (1)

Das Drama beginnt schon mit 30: die Haut verliert Feuchtigkeit, Fett und Bindegewebsfasern (Kollagen) (2). Sie trocknet aus, sackt

zusammen. (3) Ergebniss: sichtbar mehr Falten. (4) Viele waren mit den bisher angebotenen Lösungen für dieses Problem nicht wirklich zufrieden. (5)

Experten allerdings meinen: Es gibt durchaus Cremes, die prima gegen Falten wirken. (6) Immer wieder genannt: „Celyoung Antiagingcreme“ (Apotheke, 50 ml ca 30 Euro). (7) Arzt und Antiagingmediziner Dr. Med. Peter Jackisch (Foto unten) hat es nachgeprüft: „In dieser Spezialcreme sind Intensiv-Wirkstoffe enthalten, die den Kollagenaufbau fördern, das Hautgewebe festigen und Falten reduzieren können.“ (8)

Klinische Untersuchungen mit Celyoung Antiaging-Creme bestätigen: nach 4 Wochen: (9) 83% sagten: gut bis sehr gutes Hautgefühl. (10) / 77% sagten: elastischere bis deutlich elastischere Haut (11) / Bis zu 54 % meßbar geringere Faltentiefe. (12) / Hautfeuchtigkeit stieg meßbar um 28%! (13)

Kein Wunder, dass die Celyoung-Creme inzwischen über eine Million mal verkauft wurde! (14)

Klinische Untersuchungen beweisen, dass Celyoung die Faltentiefe nachweislich um bis zu 54% in nur vier Wochen verringert. (15) Sie macht die Haut elastischer, lässt sie praller, feiner und glatter aussehen. (16) Dr. Jackisch: „Das Geheimnis des Celyoung-Erfolgs sind drei der wichtigsten Antifalten-Wirkstoffe. (17) Jeder einzelne wirkt der Faltenbildung entgegen, alle drei zusammen bringen wirklich optimale Ergebnisse: die Zeichen der vorzeitigen Hautalterung werden nachweislich reduziert. (18) Selbst tiefere Fältchen werden glatter. (19) Die Haut wirkt jünger und gepflegter! (20)“

Das hat einen einfachen Grund: Celyoung Antiagingcreme wurde speziell gegen die vorzeitigen Zeichen des Alterns entwickelt! (21) Sie enthält hochintelligente technologische Trägerstoffe, die speziell auf die Bedürfnisse reifer Haut abgestimmt sind. (22)

Celyoung Antiagingcreme ist klinisch getestet, allergiegetestet und hervorragend verträglich. (23) Selbst bei äußerst problematischer Haut, wie z.B. Neurodermitis. (24) Die Creme wird morgens und abends aufgetragen, ist Tag- und Nachtcreme in einem. (25)

Fazit: Celyoung Antiagingcreme unterscheidet sich deutlich von gewöhnlichen Pflegecremes! (26) Am besten Sie kaufen sich gleich einen Tiegel. (27) Ihre Apotheke (in Deutschland, Österreich und

der Schweiz) hat die Creme entweder im Regal oder in der Schublade vorrätig. (28) Falls ausverkauft, kann die Apotheke die Creme schnell für Sie nachbestellen. (29) Weitere Infos unter Tel. 06229-7875 und www.celyoung.de (30) [Bunte, № 49, 09.11.2006, S.139]

(Здесь и далее выделение жирным шрифтом в оригинале, нумерация предложений наша — *О. С.*)

Анализируемый пример является рекламным текстом, а именно — рекламной статьей. К типу текста «рекламная статья», репрезентирующему рекламный дискурс, в данном текстовом произведении отсылают следующие лингвистические и экстралингвистические признаки текста: вербально выраженный призыв к действию (см. предложение № 27), контактная информация (№ 30), основная цель коммуникации — достижение персуазивного эффекта, наличие данного текстового экземпляра в неизменном виде в нескольких выпусках журнала.

К типу текста «научная статья», репрезентирующему научный дискурс, отправляет характерная для научного текста композиция: заголовок, представленный номинативным предложением (№ 1), постановка проблемы с указанием на предшествующие попытки ее решения (№ 2-5), описание предлагаемого нового способа решения проблемы (№ 6-25), выводы (№ 26) и отсылки к иным источникам информации по данной теме (№ 30).

Наряду с вышеописанным композиционным оформлением рекламной статьи эффект квазинаучности создается посредством привнесения в текст на лексическом уровне медицинских терминов (Bindegewebfasern, Neurodermitis) и лексических единиц, терминологических по своей словообразовательной форме (Antiagingcreme, Intensiv-Wirkstoffe, Antifalten-Wirkstoffe, Kollagenaufbau). При этом наблюдается четко выраженное противопоставление функций терминов в рамках научного и рекламного дискурса. Если в научном тексте термин является средством сообщения нового знания в семантически компрессированной форме, то в квазинаучном рекламном тексте вышеназванные лексические единицы не играют соответствующей роли при дешифровке информации, а служат лишь одним из формально выраженных отсылок к научному дискурсу.

Как и в научной статье, в приведенном квазинаучном тексте наряду с терминологией активно используются количественные

данные — результаты измерений, подсчетов и т.д. (ср. предложения № 10-13, 15). Эффект научной точности представляемой информации создается посредством привнесения в текст не только количественных данных, но и представленных с учетом принципа «шкальности» качественных показателей (№ 10-13). Однако и количественные и качественные показатели используются в рамках приведенного текста не для передачи фактической информации, а выступают с целью создания эффекта наукообразности, престижности текста, воспринимаемого читателем как серьезное сообщение.

Анализируемый рекламный текст демонстрирует инсценируемые интертекстуальные отношения с другими текстами в форме цитат (№ 8, 17-20). При этом интертекстуальность, являющаяся основным текстообразующим фактором в научной коммуникации, в псевдонаучном рекламном тексте утрачивает свои основные функции как средство текстообразования и служит лишь для создания эффекта научной подтвержденности, достоверности предлагаемой информации посредством инсценируемой ссылки на авторитет.

Основная содержательная информация приведенного текста в действительности — высокая оценка качества рекламируемого продукта и сам призыв купить его. Такая оценка качества рекламируемой продукции, привносимая посредством типичных для рекламы лексических единиц с позитивной оценочностью (prima, fein, optimal, wichtig, gut, hochintelligent и др.) усиливается эффектом инсценированной научной доказанности, точности, объективности, достоверности предлагаемой вниманию читателя информации. Сам же призыв купить рекламируемый продукт представлен как логично следующий из всего вышесказанного в тексте научный вывод (№ 27), что придает ему большую значимость, усиливая персуазивный эффект рекламы.

Таким образом, мы видим, что основные текстообразующие признаки научной статьи при привнесении их в иной, рекламный, дискурс, являются в этом случае каждый в отдельности «функционально пустыми» единицами. А именно: привнесенные в иной, рекламный дискурс, характерные для научной статьи композиция, термины, инсценированные интертекстуальные включения и т. д. не реализуют своих типичных, закреплённых

за этими языковыми средствами в коммуникативной культуре функций. В совокупности же эти лингвистические маркеры являются отсылками к иному типу текста — научной статье, репрезентирующей научный дискурс. Научный дискурс, в свою очередь, представляет собой сложное, многоаспектное явление культуры, ассоциируемое носителем языка с доказанностью, достоверностью, убедительностью, престижностью, что обуславливает усиление персуазивного эффекта рекламного текста посредством опоры на авторитет науки.

Иными словами, воздействующим потенциалом в данном случае обладают прежде всего не те или иные, взятые в отдельности лингвистические средства, — признаки иного, научного дискурса, привнесенные в рекламный текст, а само целенаправленно инсценируемое взаимодействие научного и рекламного дискурсов как явлений экстралингвистического уровня, уровня культуры. Лингвистическая же форма маркированности интердискурсивного взаимодействия такого рода может быть различной. В качестве доказательства этого утверждения приведем и проанализируем еще один пример псевдонаучного текста рекламной статьи.

Die richtige Anlagestrategie. (1)

Die Produktivität im Büro ist bei 19 C optimal. (2) Steigt die Temperatur, sinkt die Leistungsfähigkeit: bei 33 C bis auf 50%! (3) Die richtige Klimaanlage ist also mehr als ein angenehmer Luxus: Motivation und eine Investition, die sich ganz klar rechnet. (4) Mit Airwell entscheiden Sie sich für die Spitzenklasse. (5) Und für den erfahrensten Hersteller für Klimatechnik in Europa. (6) [Wirtschaftswoche, № 14, 28.03.2002, S. 133]

В отличие от предыдущего примера, композиционно научная статья как тип текста не охватывает всей структуры приведенного текстового произведения. В основе текстовой ткани отсутствует система постановки проблемы, выдвижения гипотезы и доказательств, как это было в проанализированном выше примере. Приводятся лишь отдельные факты, в частности, количественные данные, представленные как научнообразные (№ 2, 3), и выступающие как аргументы в пользу принятия читателем решения о покупке прибора. Сам призыв купить рекламируемое изделие (№ 4-6) представлен как не как решение обозначенной в

начале статьи проблемы, а как вывод, сделанный на основе отдельно взятых «научных» данных.

На лексико-грамматическом уровне маркеры интердискурсивности количественно ограничены и представлены лишь в начале статьи. В этой роли выступают лексические единицы, обозначающие научные понятия (Produktivität, Temperatur, Leistungsfähigkeit), терминообразные по своей словообразовательной форме слова (Anlagestrategie), типичные для научного текста условные предложения взаимозависимости (№ 3). В отличие от предыдущего примера отсутствует инсценируемая интертекстуальность — характерная черта научного текста.

Однако, несмотря на меньшее количество отсылок к научному дискурсу и иное пропорциональное соотношение лингвистических маркеров исходного и привнесенного типов текста, интердискурсивность как взаимодействие надтекстового уровня, уровня фрагментов культуры, дискурсов, в приведенном тексте, как и в предыдущем примере, способствует усилению персуазивного эффекта посредством опоры на авторитет науки.

Таким образом, проведенный в статье анализ показывает, что инсценируемая интердискурсивность является средством персуазивного воздействия качественно нового, надтекстового, экстралингвистического уровня. В основе персуазивного эффекта лежит не воздействие на читателя отдельных лингвистических средств, эксплицитно представленных в тексте, а взаимодействие в сознании носителя языка, обладающего определенной коммуникативной компетенцией, целых фрагментов культуры, сфер коммуникации — дискурсов. А средством актуализации такого рода интердискурсивного взаимодействия является целенаправленно инсценируемое с помощью различных лингвистических средств интертекстуальное взаимодействие типов текста, репрезентирующих соответствующие дискурсы.

* * *

ГОНЧАРОВА Е. А., 2001. Персуазивность и способы ее языковой реализации в дискурсе рекламы // Studia linguistica. СПб. № 10.

ЧЕРНЯВСКАЯ В. Е., 2003. Интертекстуальность и интердискурсивность// Текст, дискурс, стиль. Коммуникации в экономике. СПб.

ЧЕРНЯВСКАЯ В. Е., 2006. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия. М.

ЧЕРНЯВСКАЯ В. Е., 2007. Открытый текст и открытый дискурс: интертекстуальность — дискурсивность — интердискурсивность// Лингвистика текста и дискурсивный анализ: традиции и перспективы. СПб.

KEßLER CHR., 1998. Diskurswechsel als persuasive Textstrategie// Band 26. Beiträge zur Persuasionsforschung. Frankfurt am Main.

SANDIG B., 1986. Stilistik der deutschen Sprache. Berlin.

Д. В. Филимошина

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В ТЕКСТЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО АНЕКДОТА

Любая наука, по справедливому замечанию Н. Н. Болдырева, существует, прежде всего, для того, чтобы объяснить, как устроен мир и сам человек, каковы причины и последствия тех или иных физических, физиологических и психических явлений и процессов. «Лингвистические исследования сегодня должны носить междисциплинарный характер», поскольку чтобы объяснить, как устроен язык и как он используется, необходимо выйти за пределы самой языковой системы и связать ее с тем, что мы знаем о восприятии, памяти, поведении человека и т.д. [Болдырев, 2000: 12, 13].

В настоящее время эмотиология как лингвистическое направление, изучающее эмоции, довольно успешно развивается в русле современной когнитивно-дискурсивной парадигмы научного знания, которая отражает всю многогранность нашего мышления, в том числе и эмоционального, в богатой палитре и многообразии языкового выражения. Мы согласимся с С. В. Ионовой, что без эмотиологии, без «кодирования многообразной сферы психических переживаний человека средствами языка» становится невозможным и «описание самого человека и его коммуникативного поведения» [Ионова, 2003: 5]. Особенно плодотворным в изучении отображения эмоциональных состояний человека в языке является концептуальный подход, позволяющий выявить специфику каждой конкретной эмоции и разнообразные способы и средства ее отражения в языке.

В текстотипе «анекдот» на разных уровнях широко представлены различные концепты эмоций. Выявление их спектра и функций позволит определить составляющие эмоциональной комической картинны мира в анекдоте, проследить, какие из эмоциональных концептов участвуют непосредственно в текстообразовании анекдота, а также выделить концепты, за счет которых актуализируется комический эффект.

Основной эмотивный фон многих анекдотов составляет эмоция страха. Главная особенность репрезентации концепта «страх» в тексте анекдота заключается в том, что этот концепт не только несет текстообразующую функцию, но и, актуализируясь на когнитивном уровне текста, участвует в создании комического эффекта. В англоязычном анекдоте реализация концепта «страх» наиболее продуктивно осуществляется через представление эмоциональной ситуации.

Определенную роль играют в таких анекдотах и второстепенные, сопутствующие эмоции, которые выполняют сюжетобразующую функцию и помогают воссоздать основной эмотивный фон анекдота. Языковая эксплицитная репрезентация второстепенных эмоций образует свой собственный сценарий, в то время как эффект от их актуализации является одной из составляющих общей прагматической установки анекдота, заключающейся в реализации комического эффекта. Рассмотрим этот механизм на следующем примере.

David received a parrot for his birthday. The parrot was fully frowned with a bad attitude and worse vocabulary. Every other word was an expletive.

Those that weren't expletives, were to say the least, rude. David tried hard to change the bird's attitude and was constantly saying polite words, playing soft music, anything he could think of to try and set a good example... Nothing worked.

He yelled at the bird and the bird yelled back.

He shook the bird and the bird just got angrier and ruder. Finally in a moment of desperation, David put the parrot in the freezer. For a few moments he heard the bird squawk and kick and scream — then suddenly there was quiet. Not a sound for a half a minute. David was frightened that he might have hurt the bird and quickly opened the freezer door. The parrot calmly stepped out onto David's extended arm and said, "I believe I might have offended you with my rude language and actions. I will endeavour at once to correct my behaviour. I really am truly sorry and beg your forgiveness." David was astonished at the bird's change in attitude and was about to ask what had made such a dramatic change when the parrot continued, "**May I ask what the chicken did?**"

В анекдоте развитие эмоциональной ситуации происходит по сценарию «накал эмоций». Данный сценарий характеризуется

следующими чертами: развитие интенсивности различных эмоций идет по нарастающей, достигает пика, а затем наблюдается спад эмоциональной напряженности текста. Хотя ситуация продолжает оставаться эмоциональной, интенсивность испытываемых персонажами чувств уже не несет языковой экспликации, т.е. не выражена внешними маркерами эмотивности. Обычно подобные сопутствующие эмоции наблюдаются у персонажей, которые участвуют в образовании внешнего события для главного субъекта эмоции страха.

В анализируемом анекдоте подобным «второстепенным» персонажем выступает Дэйвид. В начале он находится под действием положительных эмоций, его поступками движет желание изменить дурное поведение своего любимца (David tries hard to change the bird's attitude and was constantly saying polite words, playing soft music, anything he could think of to try and set a good example... Nothing worked.). Но по мере приложения им усилий и отсутствия видимого результата, позитивные эмоции персонажа постепенно сменяются негативными. Лингвистически это выражено при помощи образующих параллельные конструкции фоначем и кинем: He yelled at the bird and the bird yelled back. He shook the bird and the bird just got angrier and ruder. Интересно, что по мере того, как герой испытывает все более сильные отрицательные эмоции к попугаю, последний отвечает ему взаимностью, о чем свидетельствуют лексические единицы the bird yelled back, the bird just got angrier and ruder. Эмоции второго персонажа как бы зеркально отражают эмоции первого. Передать это помогают параллельные конструкции.

Интенсивность испытываемых эмоций возрастает, пока, наконец, не достигает пика (Finally in a moment of desperation, David put the parrot in the freezer. For a few moments he heard the bird squawk and kick and scream). Это подтверждает номинация сильного эмоционального состояния desperation, и радикальное действие-реакция героя put the parrot in the freezer.

Далее наступает момент кульминации и разрядки ситуации (... then suddenly there was quiet. Not a sound for a half a minute.), которые создают определенный эффект неожиданности как для адресата, так и для самого персонажа: эмоции последнего меняются на противоположные, и вместо гнева на своего любимца

персонаж испытывает страх за него (David was frightened ... and quickly opened the freezer door). Страх Дэвида выражается путем прямого указания на эмоцию с помощью формы прошедшего времени глагола to be и причастия frightened. Эмоции второго персонажа также кардинально меняются (ср.: the bird squawk and kick and scream vs The parrot calmly stepped out ... and said, "...I will endeavour at once to correct my behaviour. I really am truly sorry and beg your forgiveness."). Такое изменение поведения одного персонажа, который из вульгарного, дикого и крикливого чудовища превратился в существо полное самообладания и хороших манер, вызывает удивление другого персонажа (David was astonished) и адресата, для которого перемена в действиях участника ситуации также неожиданна. Однако у адресата, воспринимающего ситуацию в игровом ракурсе, удивление проявляется скорее в напряжении, вызванном ожиданием разрешения возникшего противоречия в кульминационном моменте анекдота. Таким образом, концепт «удивление», воплощаясь на когнитивно-дискурсивном уровне анекдота, также имеет особое влияние на психическое восприятие текста адресатом. Созданию же комического эффекта способствует реплика-кульминационный момент **"May I ask what the chicken did?"**, по которому адресат выявляет трактовку персонажем безобидной ситуации как несущей опасность и, соответственно, декодирует его эмоцию страха. Возникновение комического эффекта зависит от того, на каком этапе анекдота появится и будет распознана адресатом эмоция страха, а также каким способом она будет представлена (эксплицитным или имплицитным).

Комический эффект анекдота вызывает у адресата эмоцию удивления (некоторые авторы называют ее «изумлением»), что зачастую является результатом не оправдавшегося вероятностного прогноза реципиента. Присутствие языковых маркеров концепта «удивление» в тексте анекдота создает предварительный настрой у адресата, усиливая эту эмоцию во время кульминационного момента, что способствует более успешной реализации авторской интенции, т. е. созданию комического эффекта.

* * *

БОЛДЫРЕВ Н. Н., 2000. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. Тамбов: Изд-во Тамб. ун-та.

ИОНОВА С. В., 2004. Лингвистика эмоций: основные проблемы, результаты и перспективы. // Эмотивный код языка и его реализация: Кол. монография / ВГПУ. Волгоград: Перемена.

И. В. Фролова

СОПОСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ

При овладении произношением второго иностранного языка (ИЯ2) в условиях субординативного трилингвизма основную сложность для учащегося представляет фонетическая интерференция со стороны первого иностранного (ИЯ1) и родного (РЯ) языков. Следовательно, важнейшими условиями успешного обучения произношению ИЯ2 традиционно являются определение зон положительного переноса и интерференции, выявление возможных фонетических трудностей на основе сопоставления ИЯ2, ИЯ1 и РЯ на фонетическом уровне.

С целью более полного и системного выявления сходств и различий трёх контактирующих в процессе обучения языков нами был проведён контрастивный анализ фонологических и ритмико-интонационных систем французского (ИЯ2), английского (ИЯ1) и русского (РЯ) языков [Фролова, 2007:178-185]. Объектами сопоставления стали фонологические (релевантные) и фонетические (нерелевантные) признаки гласных и согласных, словесное и фразовое ударение, слогоделение, ритм, интонация. При этом мы ограничились до четырёх количество сравниваемых интонационных моделей (интонация повествования, побуждения, общего и специального вопроса), руководствуясь тем фактом, что начальный этап обучения ИЯ2 в рамках комплексного вводного курса предусматривает овладение высказыванием на уровне простого предложения.

Описание фонологических и ритмико-интонационных систем проводилось нами на основании данных отечественной и зарубежной литературы [Гак, 1989; Голубев, Смирнова, 2005; Коголова, 2005; Матусевич, 1976; Рапанович, 1980; Delattre, 1966]. При определении инвентаря фонем мы пользовались данными А. Н. Рапанович [1980] для французского языка, Е. М. Меркуловой [2002] для английского языка и М. И. Матусевич [1976] для русского языка. За основу нами были взяты критерии срав-

нения, предложенные В. Г. Гаком [1989], А. П. Голубевым и И. Б. Смирновой [2005], однако они были частично обобщены, сгруппированы иначе и дополнены новыми критериями. Т. о. сопоставление языков на фонетическом уровне проводилось нами на основе следующих критериев:

- 1) принадлежность к языковой группе;
- 2) количественный состав фонем;
- 3) общая характеристика артикуляции;
- 4) активность органов речи при произнесении звука;
- 5) фонологические признаки гласных: подъём, ряд, лабиальность, открытость/ закрытость, назальность, бифонемность, долгота (длительность);
- 6) фонетические признаки гласных: долгота (длительность) и тип слога, качественная редукция, виды адаптации;
- 7) фонологические признаки согласных: место образования, способ образования, звонкость/ глухость, аспирация, палатальность, долгота (длительность);
- 8) фонетические признаки согласных: виды адаптации, удлинение звука при удвоении согласной буквы, наличие призвука на конце слова;
- 9) характеристика ритмико-интонационной системы: слог, слогоделение, характеристика ударения и его типы, характер ударения (словесного, фразового, эмфатического), непрерывность речевого потока и единица его членения, выделение ударного слога в слове и фразе, ритм слова и фразы, мелодический рисунок, интонация (повествования, общего и специального вопроса, побуждения).

Результаты сопоставления французского (ФЯ), английского (АЯ) и русского (РЯ) языков свидетельствуют о том, что сходство их фонологических и ритмико-интонационных систем незначительно. Это объясняется рядом факторов.

1. Принадлежность к разным генетическим группам языков.
2. Разный количественный состав фонем.

Количественные сравнения гласных и согласных в трёх языках показывают, что их номенклатура весьма разнообразна, существуют расхождения по вопросу их классификации. Система французского вокализма (15) значительно более развёрнутая по сравнению с русской (5/6), но менее развёрнутая по сравнению

с английской (20); система французского консонантизма (20) по числу фонем немного уступает английской (24) и значительно — русской (32/37).

3. Несовпадение объёма фонологических и фонетических признаков.

Сопоставление релевантных (фонологических) признаков фонем трёх языков показало, что они имеют помимо ряда общих признаков (для гласных — подъём, ряд, лабиальность; для согласных — место и способ образования) целый ряд специфических признаков.

Заметим, что некоторые общие релевантные признаки имеют разную трактовку в сопоставляемых языках. Например, в ФЯ в основу классификации гласных по подъёму положена не только степень подъёма языка, но и положение нижней челюсти; поэтому различаются гласные закрытые, полузакрытые, полуоткрытые и открытые. В РЯ и АЯ по степени подъёма языка принято различать гласные низкого, среднего и высокого подъёма. В АЯ классификации гласных по ряду и согласных по месту образования более дробные, чем в других языках. Для РЯ характерно наличие сопряжённых признаков.

Французскому вокализму дополнительно свойственны такие релевантные признаки, как назальность, оппозиция открытость/закрытость, отсутствующие в АЯ и РЯ. В тоже время, релевантные признаки гласных фонем АЯ — дифтонгизация, долгота — отсутствуют в ФЯ.

Французскому консонантизму дополнительно свойственен только один релевантный признак — всегда соблюдаемая оппозиция по звонкости/ глухости; данный признак также типичен для АЯ; в РЯ данная оппозиция нейтрализуется на конце слова. Аспирация свойственна глухим смычным согласным только в АЯ.

Среди нерелевантных (фонетических) признаков гласных и согласных в трёх сравниваемых языках также наблюдается большое разнообразие.

К нерелевантным признакам гласных ФЯ и РЯ можно отнести их длительность, которая, в отличие от АЯ, является позиционной, а не смыслоразличительной. Гласным ФЯ не свойственна качественная редукция, типичная для АЯ и в особенности для РЯ. Всем трём языкам присуща адаптация гласных в потоке речи,

но в разных проявлениях и в разной степени. В ФЯ в оппозиции открытый/ закрытый гласный [e - ε] присутствует явление гармонизации: влияние ударного закрытого звука на предыдущий безударный открытый и наоборот. В АЯ и РЯ распространены явления аккомодации гласных.

Нерелевантным признаком согласных только для ФЯ является наличие призвука на конце слова: при замедленном темпе речи может появляться огласовка (окраска) на [ə] в словах, оканчивающихся на гласную «e». Для всех трёх языков характерна ассимиляция по глухости/ звонкости, но различного типа: для ФЯ — частичная регрессивная, для АЯ — регрессивная и прогрессивная, для РЯ — регрессивная. В АЯ и РЯ в потоке речи возможно удлинение согласного, при этом долгота согласных является позиционной. Только РЯ свойственно явление геминации — удлинение звука при удвоении согласной в середине слова и на стыке префикса и корня.

Сопоставление релевантных и нерелевантных признаков фонем в трёх языках показало, что фонемы ФЯ, имеющие полную аналогию с фонемами АЯ и РЯ отсутствуют. Вместе с тем у некоторых позиционных вариантов гласных и согласных звуков АЯ и РЯ прослеживается частичная аналогия со звуками ФЯ. Это позволило нам выделить следующие группы фонем:

1) фонемы ФЯ, имеющие частичную аналогию с фонемами двух языков (РЯ и АЯ): [a, □, j, m, n, l, ʃ, □, □];

2) фонемы ФЯ, имеющие частичное сходство с фонемами только одного из языков:

РЯ — [e, ε, u, i, p, b, t, d, k, g, f, v, r], АЯ — [œ, □, ə, s, z, w];

3) безэквивалентные фонемы ФЯ: [ø, y, å, ð, ε, œ, □].

4. Разные характеристики просодических средств.

Разница заключается в ином характере отдельных компонентов интонации: ударения, мелодики, ритма, движения тона.

Во всех трёх языках формантным элементом слога является гласный, но в АЯ слогообразующими могут также быть сонанты [m-n-l], стоящие в конце слова после шумного согласного. Однако только в ФЯ слоговое деление происходит не только внутри отдельного слова, но и внутри ритмической группы во фразе. Подобное слоговое деление обусловлено наличием таких явлений, как

сцепление, связывание, слияние гласных на стыке слов. Именно спецификой французского слога деления объясняется непрерывность речевого потока.

Ударный слог во всех трёх языках произносится более отчётливо. Однако в АЯ и РЯ ударный слог значительно отличается от безударного по качеству, силе и длительности; в АЯ неударные гласные более краткие и обычно редуцируются. В ФЯ все слоги произносятся отчётливо, хотя ударные гласные и являются чуть более напряжёнными.

Все три сопоставляемых языка различаются характером словесного и фразового ударения. В ФЯ ударение связанное и падает на последний слог изолированного слова или слова в конце ритмической группы; отдельные слова дезакцентируются, входя в состав ритмической группы. В АЯ и РЯ ударение подвижное и зависит от количества слогов в слове (АЯ) или от морфологии слова (РЯ).

Во всех трёх языках схожий принцип фразового ударения — ударным бывает знаменательное слово, но разные единицы членения речевого потока: ритмическая группа (ФЯ) и синтагма (АЯ, РЯ).

Всем сравниваемым языкам присуще выделение одного или нескольких слов, важных по смыслу для говорящего (логическое ударение), и только ФЯ и РЯ свойственно выделение слова в связи с эмоциями говорящего (эмфатическое, или эмоциональное ударение).

При схожести мелодического рисунка четырёх типов фраз (повествование, побуждение, общий и специальный вопрос), во всех трёх сравниваемых языках наблюдается различие в уровне подъёма или падения тона.

Контрастный анализ фонологических и ритмико-интонационных систем ФЯ, АЯ и РЯ позволил нам выявить следующие особенности французского произношения (общие и по сравнению с английским и русским):

1) напряжённость и чёткость артикуляции, которые достигаются благодаря энергичной работе органов речи, их неизменному укладу во время произнесения звука. Как следствие, отсутствие дифтонгизации и редукции гласных, незаметные различия между ударными и безударными гласными; чёткость размыкания и отсутствие оглушения конечных согласных, что помогает избежать смешения слов или искажения смысла;

2) проникновение гласного в произнесение согласного: при произнесении согласного органы речи принимают положение, необходимое для произнесения последующего гласного, что обусловлено преобладанием передней артикуляции гласных звуков;

3) преобладание передних гласных: при их произнесении язык всегда находится впереди, а кончик языка — у нижних зубов; задние гласные имеют передний резонанс;

4) преобладание огубленных гласных; при их произнесении губы вытягиваются вперёд и округляются;

5) преобладание открытых гласных; различают 4 степени открытости гласных; для трёх пар фонем признак открытости/ закрытости является дифференциальным;

6) наличие носовых гласных;

7) преобладание звонких согласных (11 из 17);

8) наличие фонологической оппозиции по звонкости/ глухости для 6 пар фонем; отсутствие оглушения конечных согласных;

9) частичная регрессивная ассимиляция по глухости/ звонкости: звонкий согласный оглушается, но не переходит в соответствующий парный глухой, оставаясь слабым, и наоборот;

10) отсутствие палатализации; согласные произносятся твёрдо, исключение составляют [l - □]; для [k-g] палатализация позиционная;

11) наличие полугласных фонем [j - w - □], которые являются промежуточной ступенью между гласными и согласными;

12) долгота (длительность) гласных не является фонетической и не имеет смысловозначительного характера; она позиционная и ритмическая, проявляется в ударной позиции перед удлиняющимися согласными [r, v, z, □]; полудолгими являются носовые гласные, которые произносятся немного «на распев»;

13) ударение связанное, падает на последний слог изолированного слова или слова, стоящего в конце ритмической группы; при этом отдельные слова, входящие в состав ритмической группы, дезакцентируются;

14) единицей членения речевого потока является ритмическая группа, в состав которой могут входить: служебное + знаменательное слово; определяемое + определяющее слово; устойчивые словосочетания;

15) непрерывность речевого потока достигается за счёт слога деления, которое осуществляется не внутри каждого слова, а

внутри ритмической группы, и наличия явлений сцепления (enchaonement), связывания (liaison), слияния гласных (confluence vocalique);

16) ритм отдельного слова восходящий; ритм фразы бинарный или тернарный; наивысшая артикуляторная напряжённость в конце ритмической группы;

17) мелодический рисунок фразы схематичен; уровень тона преимущественно ровный, без резких скачков; интонаемы располагаются на четырёх высотных уровнях;

18) интонация повествования, специального вопроса и побуждения — нисходящая, интонация общего вопроса — восходящая.

На основании вышеизложенного можно предположить, что интерференция АЯ и РЯ затронет в разной степени все стороны французского произношения: отдельные звуки, ударение в слове и фразе, интонацию.

* * *

ГАК В. Г., 1989. Сравнительная типология французского и русского языков. М.

ГОЛУБЕВ А. П., СМИРНОВА И. Б., 2005. Сравнительная фонетика английского, немецкого и французского языков. М.

КОГАЛОВА Е. А., 2005. Роль фонетических средств в формировании культуры устной речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале современного французского языка) // Дисс. к. ф. н. М.

МАТУСЕВИЧ М. И., 1976. Современный русский язык: Фонетика. М.

МЕРКУЛОВА Е. М., 2002. Английский язык для студентов университетов. Введение в курс фонетики. СПб.

РАПАНОВИЧ А. Н., 1980. Фонетика французского языка. Курс нормативной фонетики и дикции. М.

ФРОЛОВА И. В., 2007. Оптимизация процесса формирования слухопроизносительных навыков у студентов 2 курса педагогического вуза (французский язык как второй иностранный после английского) // Дисс. к. п. н. СПб.

DELATTRE P., 1966. Dix intonations de base du français // The French Review, v.40, N°1.

Е. В. Шевчук

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ РЕЛЯТИВНО-ОЦЕНОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ

Неоспорим тот факт, что результаты деятельности человека реализуются в языковом знаке. Языковая картина мира репрезентируется посредством ментальных образов, образующих в сознании человека систему или целостную структуру, состоящую из организованного посредством языка множества отдельных элементов опыта (концептов) и множества схем типовых ситуаций их организации (когнитивных структур). Язык отражает действительность в своих формах с помощью фонетических, словообразовательных, семантических и синтаксических моделей.

Глагол как центр высказывания и центр организации структуры предложения, так сказать, «отражает» поля тех слов, которые соединяются с ним, что включает в себя и лексический и грамматический аспект. Глагол, с одной стороны, репрезентирует себя, а с другой стороны, предопределяет ситуацию в целом. Эти свойства глаголов рассматривались целым рядом лингвистов: так, А. А. Потебня называл их проективностью [Потебня, 1941: 45].

С. Д. Кацнельсон и Л. Теньер называли эти присущие глаголам свойства валентностью, [Кацнельсон, 2001], А. А. Холодович называет данные свойства семантической валентностью [Холодович, 1979: 19]. Ю. С. Степанов отмечает, что «имена и глаголы могут быть классифицированы на основании одних и тех же принципов» и, следовательно, можно говорить о «соответствии разрядов имен разрядам глаголов и об их естественной предрасположенности сочетаться друг с другом в рамках одной синтагмы» [Степанов, 1981: 56]. Такое семантическое согласование Степанов называет «длинным семантическим компонентом». Ю. Д. Апресян определяет семантические валентности слова анализом обозначаемой данным словом ситуации [Апресян, 1995: 73]. Исходный семантический потенциал в сфере синтаксиса в виде системы «актантов» предлагается также В. Г. Гаком [Гак, 1998: 34].

В зависимости от своего семантико-синтаксического потенциала выделяются одно-, двух- и многоместные предикаты, однако, имеются и глаголы, у которых такого рода потенциал отсутству-

ет [Кобрина, 2007: 69]. Кроме такой способности к полисемантизации глагольная лексика отличается большим количеством категорий, что осложняет ее систематизацию.

Слово в своем лексическом значении содержит и некие признаки общего плана, определяющие его грамматический потенциал и признаки, отражающие коммуникативный план, в частности, интенцию автора. Так, концепт **релятивность** передает знание о признаках объектов, обнаруживаемых в их сопоставлении относительно друг друга [Фурс, 2004: 267], а концепт **оценка** регистрирует взгляда человека на степень связанности сущностей, выявляет мнение, суждение о качествах, характере кого-либо или чего-либо [Ефремова, 2006: 108].

Рассматриваемые релятивно-оценочные глаголы включают в себя две большие группы глаголов. С одной стороны, это глаголы, передающие компаративные двусторонние отношения равенства/неравенства, соизмеримости/несоизмеримости, подобия/отличия, эквивалентности, превосходства, более широкой соотносимости или зависимости [Кобрина, 2007: 69]. Центральными глаголами, в данном случае будут являться такие глаголы, как *relate* (иметь отношение), *associate* (объединять), *coincide* (соответствовать), *connect* (соединять), *equal* (соответствовать), *match* (подходить по какому-л признаку), *fit* (подходить, быть впору), *apply to* (применяться), *contrast* (противопоставлять), *correlate* (сопоставлять), *correspond* (соотноситься), *resemble* (походить на), *suit* (подходить, быть к лицу), *differ* (отличаться), *depend* (зависеть), *surpass* (превосходить), *excel* (превышать), *exceed* (превосходить), *include* (включать в себя), *involve* (вовлекать) etc.

Приведем примеры:

It's obvious that pollution and heavy car use are related.

Are you connected with this firm?

My car equals yours in speed.

These colours don't match.

This part of the country resembles England.¹

С другой стороны, к релятивным глаголам можно отнести группу глаголов, передающих сугубо оценочные отношения, которые, в свою очередь, подразделяются в зависимости от наличия допол-

¹ Данный и все последующие примеры взяты из словаря Collins English Dictionary. 8th Edition first published in 2006 © HarperCollins Publishers.

нительных компонентов значения на: 1) глаголы, выражающие эмоциональные отношения или состояния, положительные и отрицательные, среди которых наиболее частотными, а потому центральными, являются: *admire* (восхищаться), *detest* (питать отвращение), *hate* (ненавидеть), *like* (нравиться), *love* (любить) etc;

Приведем примеры:

They all admired his behaving in that manner.

Turner was a rebel from the start: he hated the authority and he hated the law.

He was the only man she had ever loved.

2) глаголы, выражающие отношения в логически обоснованном плане, такие, как одобрение/неодобрение, согласие/несогласие, мнение, которые требуют особой раскрывающей структуры в форме пропозиционального дополнения, так называемые фактивные глаголы. В данном случае наиболее частотными центральными будут являться глаголы: *comprehend* (осознавать, понимать), *care about* (проявлять интерес), *forget about* (забывать о чем-л), *grasp* (понимать) etc

Приведем примеры:

They did not comprehend how hard he had struggled.

I really care about the students in my class.

She forgot all about their anniversary.

At that time we didn't fully grasp the significance of what had happened.

Следует оговориться, что распределение признаков даже внутри глагольной лексики довольно неоднородно, поэтому ее классификация и категоризация представляют собой довольно сложную проблему; кроме того, полисемия самих глаголов также затрудняет данную задачу. Поэтому центральными глаголами мы будем считать те, в которых значение релятивности либо оценочности выражено двумя-тремя основными семами. Что же касается периферийных глаголов, то в эту группу попадают те глаголы, у которых значение релятивности и оценочности выражено как дополнительное, например, *amalgamate* (объединять), *confederate* (соединять), *affiliate* (присоединяться), *wed* (сочетать), etc.

Приведем примеры:

His speech wed sophisticated matter and elegant manner.

They are affiliated with the national committee.

Еще одна особенность рассматриваемой группы глагольной лексики состоит в следующем: данные словарей позволяют утверждать, что большая ее часть была заимствована из латыни в период позднего средневековья (14–16 вв). Часть лексики заимствована из старофранцузского языка, однако, это опосредованные заимствования, которые, по сути, являются словами латинского происхождения. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно проследить этимологию слова. Большая часть глаголов подобного рода обозначает довольно сложные категории и понятия, так что факт их заимствования именно в это время может свидетельствовать о развитии уровня культуры и общества в целом.

Согласно мнению Л. А. Фурс, активизация концепта «релятивность» сопровождается реализацией характеристики «ориентированность на релятивное свойство» [Фурс, 2004: 267]. Эта характеристика репрезентируется двухактантной схемой с опорой на лексико-семантические и лексико-синтаксические характеристики релятивных глаголов. Их лексико-семантические характеристики указывают на соотносимые свойства, а лексико-синтаксические — на наличие двух объектов в структуре предложения. В ряде случаев говорящий может усилить значение релятивности посредством введения еще одного актанта в структуру предложения.

Н. А. Кобрин отмечает тот факт, что в ряде случаев категориальное значение глаголов таково, что значение определенной грамматической формы несовместимо с ним и не может поэтому придаваться глагольной лексеме, поскольку собственно глагольные характеристики, отражающие внутренние денотативные признаки, таковы, что они препятствуют этому [Кобрин, 2007: 69] т.е. не все глаголы в одинаковой степени могут выразить все категориальные значения. Это связано со спецификой релятивного значения.

По мнению Л. А. Фурс, востребованными оказываются лишь пространственные характеристики и качественные конкретизаторы релятивности, а концепт «релятивность» относится к зоне статичности в картине мира [Фурс, 2004: 169].

Поскольку глаголы, представляющие данный класс, двусторонне ориентированы, позиции подлежащего и дополнения у таких глаголов с легкостью взаимозаменяемы и поэтому пассив для таких глаголов исключен, хотя и не совершенно (форма

пассива допустима при некотором изменении в значении). Но в вышеописанных предложениях пассивная конструкция просто потеряет смысл, т. к. благодаря двусторонней ориентированности глагола позиции подлежащего и дополнения взаимозаменяемы без ущерба для смысла. Конечно, логика высказывания при такой перемене частей предложения не страдает, но при этом безусловно нарушается интенция автора.

Приведем примеры:

This story, set in a large city, contrasted to the one, which told of a life in a lonely farm.

The one [story], which told of a life in a lonely farm, contrasted to this story, set in a large city.

Подводя итоги, можно сформулировать следующие выводы: рассматриваемая группа глаголов имеет определенные ограничения в использовании; в первую очередь это касается форм пассивного залога, которые, как уже было отмечено, возможны лишь при определенном изменении в значении глагола. Обычно же такими глаголами выражается ситуация, где отсутствуют деятель и объект действия и, следовательно, подлежащее и дополнение могут легко поменяться местами без ущерба для смысла. Также при использовании релятивно-оценочных глаголов не привлекаются формы прогрессива и будущего времени. Дело в том, что эти формы указывают на динамику развития ситуации, однако при актуализации концепта «релятивность» говорящий фокусирует внимание на постоянных характеристиках объектов, находящихся в отношениях соотносимости друг с другом. Таким образом, рассмотрев специфику данного класса глагольной лексики, мы можем прийти к выводу, что этот класс имеет лакуны в парадигме.

* * *

АПРЕСЯН Ю. Д., 1995. Избранные труды, том 1. Лексическая семантика: 2-е изд., испр. и доп. Школа «Языки русской культуры», РАН, М.

ГАК В. Г., 1998. Языковые преобразования. Школа «Языки русской культуры». М.

ЕФРЕМОВА Т. Ф., 2006. Большой современный толковый словарь русского языка. М.

КАЦНЕЛЬСОН С. Д., 2001. Категории языка и мышление: Из научного наследия. Языки славянской культуры. М.

КОБРИНА Н. А., Болдырев Н. Н., Худяков А.А., 2007. Теоретическая грамматика английского языка, М.

СТЕПАНОВ Ю. С., 1981. Имена. Предикаты. Предложения. Высшая школа. М.

ФИЛЛМОР Ч., 1981. Дело о падеже // Новое в зарубежной лингвистике. Вып 10. Лингвистическая семантика. М.

ФУРС Л. А., 2004. Синтаксически репрезентируемые концепты. Тамбов.

ХОЛОДОВИЧ, А. А., 1979. Проблемы грамматической теории. Наука. Л.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ ИРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ АРНОЛЬД.	4
СЛОВО ЮБИЛЯРУ	6
И. В. Арнольд. МОЯ СЕМЬЯ — XX ВЕК В ПЕТЕРБУРГЕ, ПЕТРОГРАДЕ, ЛЕНИНГРАДЕ, ПЕТЕРБУРГЕ (фрагменты из рукописи)	6
И. В. Арнольд. КВАНТЫ ЖАНРА В РОМАНЕ ГР. ГРИНА «МОН-СИНЬОР КИХОТ».	17
И. В. Арнольд. ЭПИГРАФ И ЭПИТАФИЯ.	23
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.	29
И. К. Архипов. О КОННОТАЦИЯХ И КОННОТАТИВНОЙ ПРИРОДЕ ЯЗЫКА. РОЛЬ ЯЗЫКОВОГО КОНТЕКСТА	29
Е. С. Кубрякова. О КОНВЕРСИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ	39
М. В. Никитин. К РАЗРАБОТКЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО АППАРАТА КОГНИТИВНОЙ СЕМАНТИКИ.	45
СЛОВО В КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНОМ И СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ	52
А. Г. Гурочкина. СЛОВАРЬ ПОЛИТКОРРЕКТНЫХ НОМИНАЦИЙ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ПРАГМА-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ	52
С. В. Киселёва. МНОГОЗНАЧНОСТЬ ГЛАГОЛОВ ПАРТИТИВНОЙ СЕМАНТИКИ С КОГНИТИВНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ	58
Т. А. Клепикова. ИМПЛИЦИТНАЯ ПЕРФОРМАТИВНОСТЬ: A Claim on Disclaiming	67
Е. А. Пескова. О КАТЕГОРИИ РОДА СЛОВА AMOUR (НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕЦИОЗНОГО СТИЛЯ).	76
О. Д. Прокопчик. СТРУКТУРА ОЦЕНКИ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОЦЕНОЧНОГО ПРОЦЕССА	84
Н. А. Пузанова. СТАНОВЛЕНИЕ СИНОНИМИИ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ (на примере глаголов)	90
Т. В. Радыгина. ОСОБЕННОСТИ ЭВФЕМИЗМОВ И ДИСФЕМИЗМОВ КАК РЕЗУЛЬТИРУЮЩИХ НАИМЕНОВАНИЙ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИСХОДНОЙ НОМИНАЦИИ	95
И. Г. Серова. ГЕНДЕРНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДВИЖЕНИЯ ЗА ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ	100
С. В. Сквородина. КОММУНИКАТИВНЫЕ ТИПЫ АДРЕСАТОВ УСТНОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА	110
Н. Е. Тюкалова. АРТИКЛЬ И ИМЯ СОБСТВЕННОЕ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ	115

Е. В. Яковлева. ОСОБЕННОСТИ КВАНТИФИКАЦИИ В ЕСТЕСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ	122
ЯЗЫК В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР	128
Н. Н. Бочегова. ОСОБЕННОСТИ ОБЪЕКТИВАЦИИ КАТЕГОРИИ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СВОЕОБРАЗИЯ В ИММИГРАНТСКОМ ДИСКУРСЕ ЛИТЕРАТУРЫ США	128
Н. А. Бондарева. СМЫСЛОВОЙ ХАРАКТЕР ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОСИСТЕМ ПРИ ПЕРЕВОДЕ	138
Г. В. Елизарова. МЕЖКУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК ГУМАНИТАРНОЕ	143
В. В. Кабакчи. ВСТУПАЯ В КРУГ ДРУГОГО ЯЗЫКА (ЗЮСКИНД, НАБОКОВ, РУБИНА)	155
Н. А. Кобринна. LANGUAGE AND CULTURE	167
Е. Н. Михайлова. ПРАКТИКА РАННИХ ОПИСАНИЙ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ РЕНЕССАНСНОЙ КУЛЬТУРЫ	171
С. Л. Пшеницын. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПЕРЕВОДНОГО ТЕКСТА В СВЕТЕ ТЕОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ	179
Ю. В. Сергаева. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ЛИНГВОКРЕАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (на примере английских имен групп)	188
И. А. Щирова. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И «ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»	198
ТЕКСТ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ЛИЧНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАТОРА	207
В. А. Андреева. МОТИВ КАК КАТЕГОРИЯ АНАЛИЗА ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОГО ТЕКСТА	207
Т. И. Воронцова. КОНЦЕПТ «СОБЫТИЕ» КАК ОСНОВА БАЛЛАДНОГО ДИСКУРСА	215
Ю. П. Вышенская. ЭЛЕМЕНТЫ ГОТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ	222
Е. А. Гончарова. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТЕКСТА В СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ: ТРАДИЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ	227
О. Н. Кузьменко. СИМВОЛИКА ЧИСЛА ТРИ (на материале старофранцузских текстов)	237
А. К. Лобанова. ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ДИАЛОГИЗМА В РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ	245
А. Е. Лукина. ВРЕМЕННАЯ И МОДАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СТАРОФРАНЦУЗСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ РУКОПИСЕЙ ФАБЛИО)	250

А. В. Рубцова. О ПОНЯТИИ «ПРОДУКТИВНОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ЧТЕНИЕ»	257
Н. В. Сигарева. ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	261
Т. Ю. Смирнова. ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ КАК ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ ТЕКСТА	267
А. О. Тананыхина. ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ СКАЗОК РОАЛЬДА ДАЛЯ (НА ПРИМЕРЕ СКАЗОК «THE WITCHES» И «THE BFG»)	274
З. М. Тимофеева. ИГРА КАК ТЕКСТООБРАЗУЮЩИЙ ФАКТОР МЕТАПРОЗЫ	281
О. Е. Филимонова. ЛИЧНОСТНЫЕ ЭМОТИВНЫЕ СМЫСЛЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИРИКЕ	291
И. Н. Хольмстрем. CATEGORIE DU MOTIF COMME FACTEUR DE L'ORGANISATION DU TEXTE	302
И. П. Шишкина. К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ И ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТИ В ТЕКСТЕ ДРАМЫ (НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ДРАМАТУРГИИ XX ВЕКА)	307
Т. В. Юдина. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛИНГВИСТИКИ ТЕКСТА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА	316
ГОЛОСА МОЛОДЫХ	325
А. Г. Ахиярова. О ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ РАЗРЯДАХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ	325
Е. А. Варлакова. ДЕТЕКТИВНЫЙ РОМАН VS ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РОМАН (СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)	332
И. С. Вацковская. ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ИМЯ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ	338
Н. И. Горбунова. ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СЛОВА КАК ЭМОТИВНОЕ СРЕДСТВО В РЕЧИ ЖЕНСКИХ ПЕРСОНАЖЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ЖЕНСКОЙ ПРОЗЕ	343
Н. В. Григорьева. К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ВЕЖЛИВОСТИ И К ВОПРОСУ О ЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ	349
К. С. Застёла. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РАЗЛИЧНОЙ СТИЛЕВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. ДЁБЛИНА «БЕРЛИН. АЛЕКСАНДРПЛАТЦ»)	356
Н. В. Константинова. СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПУНКТУАЦИОННО-ГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТАМИНАЦИИ РЕЧИ АВТОРА И ПЕРСОНАЖА	362

В. В. Меняйло. КУЛЬТУРНЫЙ КОНЦЕПТ, ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ КОНЦЕПТ, ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОНЦЕПТ — К УТОЧНЕНИЮ ПОНЯТИЙ	368
О. С. Муранова. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ АДРЕСОВАННОСТИ В ТЕКСТЕ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ СТАТЬИ	373
А. Н. Резанова. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИСФЕМИЗМОВ ПО ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИМ РАЗРЯДАМ	382
О. С. Сачава. ИНСЦЕНИРУЕМАЯ ИНТЕРДИСКУРСИВНОСТЬ И ЕЕ ПЕРСУАЗИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В РЕКЛАМНОЙ КОММУНИКАЦИИ	391
Д. В. Филимошина. ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ В ТЕКСТЕ АНГЛОЯЗЫЧНОГО АНЕКДОТА	399
И. В. Фролова. СОПОСТАВЛЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОГО, АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ НА ФОНЕТИЧЕСКОМ УРОВНЕ В МЕТОДИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ	404
Е. В. Шевчук. К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ДИАПАЗОНЕ РЕЛЯТИВНО-ОЦЕНОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ	411